Сергей Званцев

БЫЛИ

ДАВНИЕ И НЕДАВНИЕ






ергей
ванцев

Были давние и недавние

Советский писатель
Москва
1974

Р2
З 42

Ростовский писатель, драматург, прозаик и юморист, Сергей Званцев (1893—1973) известен своими рассказами о старом Таганроге, о чеховских современниках.

В книге «Были давние и недавние» собраны рассказы о прошлом Таганрога (дореволюционном, а также времен гражданской и Отечественной войн), о нравах, обычаях, быте таганрожцев — русских, украинцев, армян, греков.

Приметы дореволюционного городского быта, остроумно и живописно показанные в книге, характерны не только для старого Таганрога, но и для других городов царской России.

В книгу вошла также сатирическая повесть «Омоложение доктора Линевича».

З $\frac{70302-289}{083(02)-74}$ 78—74



От Автора

Первое произведение Чехова, прочитанное мною еще мальчиком, был рассказ «Житейские невзгоды». Мне показалось совсем не смешным, а печальным и странным, что Лев Иванович Попов, купивший сторублевый выигрышный билет в рассрочку, в конце концов заплатит банкирской конторе Кошкера колоссальную сумму 1 347 821 руб. 92 коп. и что «если вычесть отсюда выигрыш в двести тысяч, то все же останется убытку больше миллиона».

Может быть, мне и не пришло бы в голову читать сборник «Невинные речи», лежавший в отцовском кабинете на круглом столике, крытом бархатной вытертой скатертью, но в доме царило волнение, связанное с приездом в Таганрог Чехова.

Тогда я почему-то считал, что Чехов — маленького роста. Ясно припоминаю: когда раздался звонок и открывать вышел сам отец, а я усердно заглядывал в щелку, в дверях показался высокий, именно высокий, и худой человек, в черном пальто и черной шляпе, несмотря на лето.

Отец сказал дрогнувшим голосом: «Здравствуй, Антон!» — и я удивился и этим неизвестным мне ноткам и тому, что старые люди называют друг друга по имени, а не доктором, например: я знал, что Чехов тоже врач, как и мой отец. А в кабинете, куда вход был непосредственно из передней, уже сидел консилиум: доктор Шимановский и доктор Лицын, оба с пышными бородами. Консилиум собрался, чтобы решить, можно ли Чехову остаться в Таганроге, на чем Антон Павлович стал снова настаивать: время от времени писатель возвращался к этой мысли. Еще в 1895 году он писал Г. М. Чехову:

«Жаль, что я не богатый человек и живу только на заработки, а то бы я непременно купил себе в Таганроге

домишко поближе к морю, чтобы было где погреться к старости...»

И позже Чехов все собирался поселиться в родном городе и купить для этого домик на Митрофаниевской или Михайловской улице. Под конец речь стала уже идти не только об уютном уголке, но и о климатически здоровом месте. Не годится ли для этого Таганрог, приморский южный город?

Консилиум решил: нет, не годится. Восточные ветры, зимние холода...

Я по-прежнему стоял за дверью и смотрел в щелку. Первым из кабинета показался осанистый Лицын, за ним шел Антон Павлович. Мне почудилось, что он смущен или испуган. Возможно, так оно и было. Кажется, его коллеги высказались слишком откровенно...

Обычно таганрожцы расставались со знакомыми витиевато и многословно: «Будьте здоровеньки, не забывайте нас». Или: «Как жаль, что вы уже уходите!» Ничего подобного на этот раз не говорилось. Антон Павлович попрощался вежливо, но коротко: «До свидания». Врачи ответили нестройно, как новобранцы на смотру. Дверь захлопнулась...

Помню, отец грустно сказал моей матери:

— Я удивляюсь, как может дышать человек такими легкими...

Прошло много лет. В 1935 году в Таганрог приехали артисты МХАТа отметить семидесятипятилетие со дня рождения Чехова. Ставили «Дядю Ваню». Заглавную роль играл Вишневский. Серебрякову — Книппер-Чехова, так же как на первом представлении пьесы в Москве, 26 октября 1899 года. А днем в театре мой отец, врач Исаак Яковлевич Шамкович, когда-то сидевший в восьмом выпускном классе гимназии с Чеховым за одной партой, выступал с воспоминаниями о гимназических годах писателя.

Слушая рассказ о затхлой атмосфере гимназии семидесятых — восьмидесятых годов прошлого столетия, я узнавал в мрачных насадителях триединства («православие, самодержавие, народность») известные мне фигуры «господ учащих». Я ведь еще застал в гимназии чеховских «педагогов»: инспектора Дьяконова, по прозвищу Сороконожка, прообраз человека в футляре, злобного учителя латыни Урбана, гимназического надзирателя

Павла Ивановича Вукова, прозванного «депутат» или «дипломат».

Павел Иванович Вуков служил классным надзирателем в местной мужской гимназии. В его обязанности входили, как было сказано в инструкции министерства просвещения, «помощь и споспешествование г. инспектору в деле воспитания юношества как в стенах учебного заведения, так и вне таковых». На деле все сводилось к слежке и доносительству. Гимназисты младших классов боялись Вукова смертельно. Его высокий рост, черный сюртук, ловкость, с которой он сплевывал через губу, даже вошедшее в привычку поддергивание брюк, когда Вуков резким движением прижимал обе ладони к животу, а плечи высоко поднимал,— все вместе наводило страх на «мартышек».

Особенно устрашающе на них действовал грозный окрик:

— Што ви делаете?!

Павел Иванович слегка шепелявил, а «ы» произносил по-таганрогски мягко, как «и»,— «ви», «ми».

Антон Павлович на всю жизнь запомнил Вукова. В феврале 1893 года в переписке с братом Александром он шутливо вспоминает своего классного надзирателя:

«Скажи Рогозину, что если к 1-му марта он не пришлет мне паспорта, то я напишу в Таганрог Вукову».

Павел Иванович Вуков, «воспитатель» гимназистов, умело маневрировал между Сциллой инспекторского гнева и Харибдой ненависти учеников. Он отлично знал, что вторая стóит первой. Недаром столь плачевно пострадал от мщения восьмиклассников ненавистный учитель латыни Урбан, взорванный на пороге собственного дома динамитным патроном. Неважно, что динамит оказался ненастоящим и что взрыв последовал лишь в виде зловещего шипения и густого дыма, повалившего из-под ног Урбана. Урбан был «взорван», хотя ни один седой волос не упал с его квадратной головы старого злого бульдога: скандальный слух вышел за пределы Таганрога, дошел до попечителя учебного округа, и Урбана перевели в Торжок.

Все это случилось позже, а в чеховские времена Урбан, не встречая явного сопротивления, властвовал над ненавидящими его учениками, изводя их «экстемпоралиями», то есть переводами русского текста на латинский язык.

«Рука всевышнего отечество спасла»,— диктовал Урбан, высокий, с черной бородой угрюмый человек, медленно шагая по классу. На одной из парт, у окна, сидел коренастый юноша Антон Чехов (отец подчеркивал, что в юности у будущего писателя был здоровый, даже цветущий вид!) и пытался перевести эту фразу на язык Вергилия...

А «воспитатель» Вуков заглядывал в дверное окошечко: смотрел за порядком.

И должность-то у Вукова была тюремная: надзиратель!

Директорами, инспекторами, а по возможности и преподавателями, не говоря уже о попечителе учебного округа, назначались охранительно настроенные чиновники. Не был исключением и инспектор А. Ф. Дьяконов. Чехов гениально подметил в обычном гимназическом инспекторе культивируемые царским строем черты человека без души. Я и сам немного помню этого Дьяконова: маленький человечек, с мочальной бородкой, в странной одежде с фалдочками, именовавшейся вицмундиром.

Когда я был уже в третьем классе, Дьяконов умер. Для гимназистов это был праздник: по случаю похорон нас отпустили со второго урока.

* * *

...В 1903 году в Таганроге на главной улице, против входа в чудесный городской сад, устанавливали бронзовую статую Петра Первого и долго спорили, в какую именно сторону должен быть повернут лицом Петр: в сторону ли уходящей вдаль прямой, как стрела, Петровской улицы или же навстречу въезжающим в город гостям, то есть в сторону знаменитого таганрогского шлагбаума с двумя остроконечными столбами с позеленевшими шарами на верхушках.

В конце концов городская управа решила в пользу первого варианта, оставив много недовольных.

Городская дума пригласила Антона Павловича на открытие памятника, и таганрожцы заранее гордились и хвалились тем, что он приедет в Таганрог полюбоваться памятником, безвозмездно вылитым в бронзе Антокольским по его же, Чехова, просьбе. Но Чехов не приехал. Здоровье его было уже окончательно подорвано... Через год Антона Павловича не стало...

* * *

Я снова приехал в Таганрог, в город моей юности, в шестидесятом году, к столетнему юбилею со дня рождения Чехова. Наверно, думал я, мне будут показывать современников Чехова, а сами современники станут в очередь, чтобы поведать свои воспоминания. Я ошибся! Таганрожцы, и старые и молодые, оказались одержимыми совсем другой идеей. По их мнению, чуть ли не все творчество Чехова — это описание таганрогской действительности!

— «Лошадиная фамилия»? — запальчиво говорил таганрожец.— Рассказ пошел от анекдотической встречи в таганрогской гостинице двух местных богачей — Жеребцова и Кобылкина. «Свадьба»? Кондитер Дымба — это таганрогский грек Стамати. Он частенько заходил в лавку Павла Егоровича Чехова и уговаривал отдать Антошу в местную греческую школу, неумеренно восхваляя Грецию. «У нас, в Греции, все есть»,— это его фраза. Что, не верите?

— Да нет же, верю. Я уже об этом слыхал.

— Ах, слыхали! А что «Маска» — таганрогская быль, это слыхали? А «Огни» и «Степь»?

— Пожалуй, слыхал.

— А «Три сестры» — как? Слыхали?

— Но позвольте! В «Трех сестрах» речь идет, например, о березах, а в Таганроге березы не растут!

— Березы не растут, а артиллерийская бригада здесь при Чехове стояла. Подполковник Вершинин — типичный таганрожец!

И мне (я ведь тоже таганрожец!) уже начинало казаться, что и в самом деле единственный рассказ Чехова, написанный не о Таганроге,— это «Дама с собачкой», да и то из-за категорического упоминания там Ялты как места действия. Я прерываю своего собеседника и сам перечисляю известные мне от отца «таганрогские» сюжеты рассказов Чехова:

— «Лев и Солнце» помните? В русский город приехал персидский сановник, и у него выпрашивает орден «Льва и Солнца» городской голова. Так вот, все это случилось с таганрогским городским головой Фоти. Приводимые Чеховым насмешливые стихи: «Я сам себя б разрезал, как барана, но, извините, я — осел» — действительно были по-

сланы честолюбивому Фоти, написал стишки секретарь городской управы. А «Хирургия»?

Я увлекаюсь все больше:

— Знаменитая сцена с неудачным вырыванием зуба разыгрывалась Чеховым-гимназистом и его братом! У меня записана фамилия таганрожца, прототипа фельдшера-хирурга,— Довбило. Незадолго до первой мировой войны он был еще жив и очень гордился тем, что его «прописал» Чехов...

Так мы, дополняя друг друга, беседовали много раз. А в результате... Мои земляки помогали мне дописать не одну правдивую историю о Таганроге, о прототипах чеховских персонажей и о людях, которые могли бы стать этими персонажами.

Перечтя написанное, я, однако, убедился, что меньше всего это мемуары о Чехове. Ряд рассказов имеет едва заметное отношение к Чехову, другие совсем не имеют. Но все они — о Таганроге, городе, который любил Чехов. В некоторых из них еще жива и неприкосновенна атмосфера чеховского города (например, «Чудо Иоанна Кронштадтского», «Дуэль», «Миллионное наследство»), в иных уже появляются новые люди («Номер «Правды»). А в рассказе «Инженер Свиридов» чеховский Таганрог вырастает в арену смертельной классовой вражды. События происходят в девятнадцатом году — через много лет после смерти Чехова. Но мне кажется, что история благородного русского инженера Свиридова, честного и смелого патриота, как-то перекликается с историей инженера Должикова, стяжателя и нечистоплотного дельца (рассказ Чехова «Моя жизнь»). Разве не о таких людях, как Свиридов, мечтал Чехов, создавая своего Должикова? А ведь это тоже «таганрогский» рассказ...

Итак, что же это, в конце концов? Мемуары? Нет, путевые заметки об увлекательном путешествии по пути из Старого Таганрога в Новый...

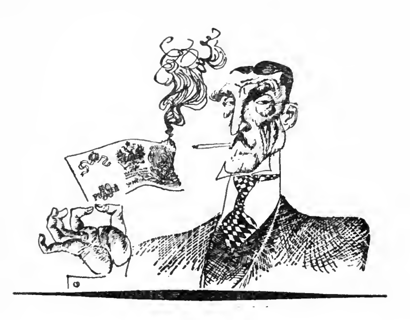




Старые знакомые



Рассказы



Дело Вальяно

Похождения таганрогского миллионера-контрабандиста Вальяно попали в поле зрения молодого Чехова. В его раннем рассказе «Тайна ста сорока четырех катастроф, или русский Рокамболь» есть упоминание о нашумевшем в русской и заграничной прессе деле Вальяно. Вот какая история легла в основу этого чеховского рассказа.

В восьмидесятых годах прошлого столетия Таганрог бойко торговал с заморскими странами. Вывозилась главным образом пшеница, ввозились вина, шелка, кофе в зернах, прованское масло.

В долгий период навигации таможенным чиновникам некогда было вздохнуть: то и дело приходилось спешно плыть в баркасе на рейд, за двадцать верст от берега, на глубокую воду, где только что бросил якорь заграничный пароход, и проверять, считать, мерить и взвешивать драгоценный груз, начислять пошлины и сборы...

Частенько чиновники, услышав призывный гудок парохода, встречали в порту скромного молодого человека с черными усиками и изящной курчавившейся бородкой.

Молодой человек угодливо раскланивался, снимая за несколько шагов соломенную шляпу-панаму, и любезно откликался на любую речь: французскую, итальянскую, греческую, турецкую. Это был Вальяно, портовый маклер, рыскающий с утра до вечера по накаленным от летнего жара плитам набережной в поисках покупателя, товара и продавца — все равно! — лишь бы заработать «комиссию».

Потом, как-то вдруг, неожиданно и загадочно, Вальяно превратился из суетливого комиссионера в солидного купца. В его адрес стали приходить морем небольшие партии духов из Франции, маслин и прованского масла из Греции («барабанского», как его здесь называли). Вальяно потолстел и стал медлителен в речи и в походке. При встрече с ним таможенные кланялись первыми.

А еще немного позже получилось так, что имя Вальяно стало значиться чаще других в морских коносаментах. Поставщики слали ему грузы уже целыми пароходами и баржами.

Вальяно сказочно быстро богател, но никто очень долго не мог понять, каков источник его богатств.

А когда это стало ясным, Вальяно был так богат, что уже не боялся разоблачений.

И до Вальяно были крупные контрабандисты. Они ввозили шелка и пряности в двойных чемоданах, в бутылях с фальшивым дном, даже в головных уборах.

Но Вальяно был контрабандистом особого рода: он ввозил запрещенные товары целыми пароходами вовсе не для того, чтобы их продать, обойдя запрет, а для того, чтобы потопить на самом законном основании.

Существовало таможенное правило: после того как чиновники проверят груз и исчислят пошлину, грузовладелец был вправе или, оплатив пошлину, забрать с парохода товар, или же, отказавшись от оплаты, потопить весь груз на рейде. Акт о потоплении груза подшивался к делу, и пароход, погудев на прощание, уходил в обратный рейс.

Каждый раз, когда хлопотливые таможенные чиновники, проверив груз, адресованный Вальяно, объявляли ему сумму пошлин и сборов, Вальяно неизменно заявлял об отказе выкупать груз.

— Топить? — деловито спрашивал ко всему готовый капитан.

— Топите,— равнодушно отвечал Вальяно.

Тотчас заполнялся «бланк отказа грузовладельца от принятия груза». А ночью производилось потопление. Ночью, а не днем: в благоразумно составленной инструкции топить в море ценные грузы рекомендовалось «затемно, дабы местные рыбаки не покусились на потопляемые товары».

Надо ли пояснять, что в действительности никакого «потопления» не было и что, сэкономив на каждом пароходе тридцать — сорок тысяч рублей пошлины, Вальяно уделял две-три тысячи загребущим таможенным, а груз извлекал не со дна Азовского моря, но получал сполна с борта парохода!

У Вальяно была зафрахтована целая флотилия турецких фелюг — плоскодонных вместительных лодок, незаменимых на этот случай. По ночам бесшумно скользили они по морской глади с рейда, а потом — по мелководью в тихую заводь, где глубоко сидящему судну не пройти, как раз к тому месту у берега, откуда начинался подкоп — туннель, ведущий в гулкие подвалы особняка Вальяно на Приморской улице.

Товар в подвалах не залеживался: оборотистый негоциант сбывал его с прибылью оптом местным крупным бакалейщикам Кулакову, Лысикову, Кумани... От каждого «потопления» Вальяно опускал в карман полсотни тысяч рублей. Далеко ли было от нищеты до двенадцатимиллионного капитала, скопленного им к моменту разразившейся катастрофы?

В Таганрог прибыл новый прокурор окружного суда, снедаемый жаждой быстрой, головокружительной карьеры. Очень скоро прокурор узнал все подробности о самом богатом таганрогском купце и о том, как он разбогател. Для этого прокурору вовсе не требовались особые таланты: любой мальчишка в городе отлично знал всю историю ночных потоплений и с закрытыми глазами мог указать место на берегу, где начинается подкоп в дом Вальяно. Летом, отправляясь на рыбную ловлю, загорелые полуголые сорванцы звонко перекликались:

— Ванька, сыпь до вальяновского подкопа!

Не заботился об особой конспирации и сам Вальяно: кто из купленного и перекупленного местного начальства

подымет на него руку? Руку, которая столько раз протягнвалась к его руке за «барашком в бумажке»?

А тут явнлся прокурор, неподкупный, как статуя Командора. Неподкупность его, как вскоре убеднлся Вальяио, была самого зловредного свойства. Не из бескорыстия и равнодушия к благам земным решительно отклоннл прокурор разговор о «займе иа ремонт дома», затеянный посланцем Вальяио, его адъютаитом и телохраннтелем Жорой Скарамангой, а из расчетливой надежды «громким процессом» быстро добиться служебного преуспевания.

— Не берет? — задумчиво спросил Вальяно у смущениого Жоры.

— Не берет, капитане,— вздохнул Жора.

Вальяно выругался по-курдскн н с силой дернул свою черную курчавую бородку.

Дело «о контрабаидном прнвозе на турецких фелюгах заграиичных товаров купцом Вальяио» двнгалось с необычайиой для тех времен быстротой. Страстиое честолюбие прокурора опрокидывало все препятствия. Уже заговорнлн столнчные газеты о «тагаирогской паиаме», уже были допрошены с десяток матросов и рыбаков, перевозившнх контрабаиду, уже пришлось припертому к стеие очными ставкамн Вальяно прнзнать всю фелюжную эпопею, уже наложеи был впредь до суда арест на товары, текущие счета н даже иа самый особияк Вальяио. Наступнл деиь суда... Приехал н остановился в лучшем номере гостиницы выпнсаииый Вальяию нз Петербурга нзвестный адвокат Пассовер.

В судейских кругах города уднвлялись выбору Вальяно. Пассовер? Почему, собствеиио, Пассовер? Средн столнчных уголовных защитииков гремелн Андреевский, Спасович, начинал свой блистательиый взлет Плевако. Да, конечно, прнсяжный поверенный Пассовер пользовался шнрокой известностью, но как специалист по гражданским нскам, а вовсе не как уголовный защитник! Почему же имеино Пассовер приглашен участвовать в этом уголовном деле по обвииению в контрабанде?!

Однако Вальяно отличио зиал, что делал. По той статье «Уложення о наказаиниях», по которой он должеи был предстать перед судом прнсяжных, ему угрожало три месяца тюрьмы — велико ли дело! Но одновремеиио

с признанием его виновным в контрабанде с него автоматически взыскивались бы двенадцать миллионов рублей штрафа за контрабанду: точный расчет был уже составлен неумолимым прокурором. Двенадцать миллионов — как раз все вальяновское состояние! Тут должен был помочь великий казуист и крючкотвор Пассовер, или никто и ничто уже не поможет... кроме прямого подкупа присяжных, конечно.

Накануне слушания дела Жора с ног сбился, выведывая засекреченный список присяжных заседателей на завтра. Присяжных должно было быть двенадцать, но приятели и маклеры перестарались, и, по добытым сведениям, получился фантастический список в сто фамилий. Однако тончайший нюх, свойственный Жоре, направил его по двум-трем правильным адресам, где разговор состоялся с глазу на глаз, не без пользы для обеих сторон. К вечеру Вальяно выслушал доклад «адъютанта» и чуть воспрянул духом. Но только чуть: два-три присяжных, а судьбу его будут решать двенадцать!

У большого здания окружного суда с раннего погожего сентябрьского утра собралась толпа. В восемь часов прискакал конный отряд полиции и, наезжая храпящими мордами взмыленных лошадей на толпу, оттеснил любопытствующих от главного входа, с Петровской улицы. Ровно в девять в здание суда вошел высокий, сухопарый прокурор с бритым невыразительным лицом. Подъехал в собственном экипаже председатель, пешочком пришли члены суда, за ними потянулись присяжные заседатели — местные купцы и мещане, бородатые, каменнолицые. Не здороваясь со знакомыми, в сознании своего особого положения, как бы отделяющего или даже отрешающего их от всего остального человечества невидимой преградой, они протискивались в узкую дверь. Потом, провожаемые завистливыми взглядами, чинно, не толпясь, стали заходить счастливые обладатели входных билетов, розданных вчера канцелярией председателя. Последним вошел сухонький, хилый старичок в цилиндре — петербургская знаменитость, присяжный поверенный Пассовер. В правой руке у его была тросточка с серебряной рукояткой в виде женской головки с распущенными волосами, а в левой он держал огромный, не по росту, портфель. Его провожал почтительный шепот толпы.

Обвиняемый важно сидел на монументальной скамье

подсуднмых, рассчнтанной, судя по ее размерам, на многолюдную шайку преступннков. Напротив на специальных скамьях с вндом жрецов восседалн прнсяжные, числом двенадцать: три нзвестных н девять ие известиых еще вчера и сегодня — увы, слишком поздно! — ставшнх известнымн подсудимому.

По правую н левую сторону судейского стола выснлись пюпитры прокурора н защнтннка. Усатый судебный пристав в белых перчатках строго посматрнвал на прнтнхший зал, заполненный до отказа.

Пока длился допрос свндетелей, суетлнвость проявлял один лишь прокурор. Он спрашнвал и переспрашнвал, с аффектацией проснл председателя занести в протокол полученные ответы, бросал иа защитннка победоносные взгляды. И в самом деле, свидетели-рыбаки, напугаиные непривычной обстановкой н строгнм председателем, в один голос прнзнавалн, что Вальяно много раз наинмал их перевозить контрабанду на турецких фелюгах.

— Да, на фелюгах,— подтверждал, вздыхая, н сам Вальяио.

Что касается Пассовера, то, к уднвленню всех прнсутствующих, ожидавших, что приезжая зиаменнтость станет сбивать н путать свндетелей, он упорно молчал. С равнодушным вндом откинувшнсь на спннку стула, адвокат скучающе посматривал по сторонам; моментами казалось, что он вот-вот заснет. На вопросы председателя: «Не нмеете ли, господин защитннк, спроснть свндетеля?» — он, вежливо приподнимаясь, иензменно отвечал:

— Нет, не имею.

Раз или два в публике перехватнлн при этом недоумевающие взгляды председателя, которыми он обменивался с членами суда. Однако дело шло своим чередом, судебная машина катилась по рельсам без толчков и остановок.

Вот уже начал обвинительную речь прокурор.

— Господа судьи, господа прнсяжные заседателн,— заметно волнуясь, сказал он,— доказано лн, что подсуднмый Вальяно снстематическн перевознл на турецкнх фелюгах ценную контрабанду? Да, доказано!

В дальнейшем прокурор нсчерпывающе обосновал

этот решающий тезис обвинения. Надо было отдать ему справедливость — его трехчасовая речь выглядела как хорошо построенная теорема: а) груз прибывал в адрес Вальяно; б) не оплаченный сборами груз перегружался на фелюги; в) груз на фелюгах подвозился к подкопу в дом Вальяно. Значит, Вальяно — контрабандист. Теорема доказана, садитесь, подсудимый, на три месяца в тюрьму и выкладывайте на стол двенадцать миллионов рублей. Присяжные внимательно и с явным сочувствием слушали обвинителя. А трое подкупленных являли вид неподкупности. Зритель, напрактиковавшийся в предугадывании решений присяжных, мог бы на этот раз не слишком напрягать свой талант: будущий обвинительный вердикт был написан на посуровевших лицах заседателей.

— Слово предоставляется защитнику подсудимого Вальяно, господину присяжному поверенному Пассоверу!

Председатель с опаской покосился на «этого выжившего из ума старичка»: может быть, он и на этот раз смолчит?!

Но нет! Пассовер поднялся, едва видимый за высоким пюпитром. Фалдочки фрака смешно свисали с его чересчур низкой талии.

У «старичка» неожиданно оказался звучный, хорошо, как у певца, поставленный голос, сразу заставляющий слушателей насторожиться. Впрочем, по сравнению с прокурором защитник был необычайно краток. Говорил он минут пять-шесть, не больше:

— Вальяно ввозил товары, не оплаченные сборами, на турецких фелюгах? Да, господин прокурор это блистательно доказал, и я, защитник, опровергать эти действия подсудимого не собираюсь. Но составляют ли эти действия преступление контрабанды, вот в чем вопрос, господа судьи и господа присяжные!

Тут Пассовер сделал чисто сценическую паузу «торможения», и все, затаив дыхание, замерли. Прокурор заметно побледнел. Пассовер поднял глаза к потолку и, точно читая на пыльной лепке ему одному видимые письмена, процитировал наизусть разъяснение судебного департамента сената с исчерпывающим перечислением всех видов морской контрабанды: лодки, баркасы, плоты, шлюпки, яхты, спасательные катера.

Упоминались в качестве средств для перевозки контрабанды даже спасательные пояса и обломки кораблекрушения, даже пустые бочки из-под рома, но о турецких плоскодонных фелюгах не упоминалось!

— Между тем, господа судьи и господа присяжные,— с вежливым вздохом по адресу обомлевшего прокурора сказал затем Пассовер,— вам хорошо известно, что разъяснения правительствующего сената носят исчерпывающий, да, именно исчерпывающий характер и распространительному толкованию не подлежат. А поэтому...

Он чуть-чуть повысил голос.

— ...поскольку подсудимый Вальяно перевозил свои грузы, на чем особенно настаивал господин прокурор, именно на турецких фелюгах, а не в бочках из-под рома, например, в его действиях нет, с точки зрения разъяснения сената, признаков преступления морской контрабанды, и он подлежит оправданию.

Перед тем как сесть, Пассовер в наступившей мертвой тишине добавил совсем смиренно:

— А если бы вы, господа,— чего я не могу допустить,— его не оправдали, ваш приговор все равно будет отменен сенатом, как незаконный и впавший в противоречие с сенатским разъяснением.

— Вам угодно реплику? — спросил прокурора ошеломленный председатель («Он чертовски прав, как я мог забыть это разъяснение?!»).

Бледное лицо прокурора залилось краской. Он вскочил и почти закричал дрожащим голосом:

— Вальяно — контрабандист! Если бы он им не был, он бы не мог заплатить своему защитнику миллион рублей за защиту!

В зале ахнули. Миллион рублей? Неслыханная цифра! Пятьдесят тысяч за уголовную защиту считались огромным, рекордным гонораром. Но миллион... Никто никогда и не слыхивал о подобном куше. Миллион рублей! Эта цифра оглушила, загипнотизировала весь зал. Председатель суда, уже готовивший в уме «краткое напутственное резюме» присяжным о неизбежности и даже, так сказать, неотвратимости оправдания, вдруг заколебался. Его малоподвижное воображение было захвачено волнующим словом «миллион». «Интересно, если золотом, сколько это будет пудов? Ах, каналья!..»

— Теперь адвокату — крышка,— свистящим шепотом сказал соседу сидевший в первом ряду отставной генерал с багровым лицом.

Но видавший виды адвокат держался бодро. Он еще не признал себя побежденным, он уже снова у пюпитра. Позвольте, но что он говорит?

— ...Тут прокурор заявил, что я получил за свою защиту миллион рублей,— раздался звонкий, молодой голос адвоката.— По этому поводу я должен сказать...

И — снова пауза. Черт возьми, можно ли так играть на нервах!

— ...я должен сказать, что это — сущая правда. Я действительно получил за свою защиту миллион рублей.

В зале пронесся вздох. Многим показалось — они потом клялись в этом друг другу,— что маленький, сухонький старичок, стоявший у пюпитра защиты, вдруг стал расти, расти, и седая голова его с жидкой бороденкой уже упиралась в потолок. И не голос, а звериный рык потрясал своды судебного зала:

— Да, я получил миллион. Значит, так дорого ценятся мои слова! А теперь посчитаем, сколько же стоят слова прокурора.

Тут Пассовер заговорил ласковой скороговоркой, как добрый учитель, задающий нарочито легкую задачу, и все вновь увидели, что у пюпитра и в самом деле лишь небольшого роста пожилой человек, кажется очень добродушный,— и вздохнули свободнее.

— В год прокурор получает три тысячи шестьсот рублей,— высчитывал вслух «добродушный» адвокат,— в месяц — триста, стало быть, в день, в том числе и сегодняшний день,— рублей десять. Произносил прокурор свою речь сегодня три часа, сказал за свои десять рублей сорок пять тысяч слов — сколько же стоит слово прокурора?

Пассовер вытянулся и крикнул:

— Грош цена слову прокурора!

От оглушительного хохота, казалось, сейчас обрушится потолок. На скамьях люди корчились от смеха, все более усиливающегося из-за комичных попыток прокурора: он яростно жестикулировал, открывал и закрывал рот — видимо, произносил горячую речь, но ни одного слова в общем шуме не было слышно. Казалось, прокурор без-

звучно пародировал мимикой и жестами какого-то неудачливого оратора. Председатель, давясь от смеха, тщетно звонил в колокольчик. Пассовер сидел с безучастным видом, поглядывая на часы. Какой-то даме стало дурно, судебный пристав выводил ее из зала, держа за талию растопыренной пятерней в белой перчатке.

Когда порядок был наконец восстановлен, прокурор, сбиваясь, с трясущимися губами, потребовал занесения в протокол «циничной выходки» адвоката. Однако председатель решил, что если уж сам Пассовер признал получение миллиона, цифры гомерической, то, значит, все враки.

— Не вижу никакого цинизма, господин прокурор, в приведенной справке о получаемом вами окладе содержания. Прошу быть осторожнее в выражениях!

— Но...— нервничая, запротестовал прокурор.

— И прошу не вступать со мной в пререкания! — прикрикнул на него председатель и подумал со злорадством: «Профукали вы дело, молодой человек. Выше разъяснения сената не прыгайте! Да, не прыгайте-с».

...Через час из зала суда Вальяно уходил оправданным.

— На фелюге выплыл,— едко сказал молодой человек в форме преподавателя гимназии.

* * *

После блистательного взлета Вальяно конец его кажется особенно печальным.

Отбив попытку посадить его в тюрьму и лишить миллионов, нажитых контрабандой, Вальяно вдруг охладел к ввозу в Таганрог лионских шелков и коньяка марки «Мартель». Не охватило ли контрабандиста раскаяние? И не раскаялся ли одновременно в своем бескорыстии прокурор, убедившись в тщете бескорыстия?..

С этим моментом совпало удивительное увлечение миллионера заграничными папиросами, тем более удивительное, что заграничные табачные изделия оплачивались очень высокими пошлинами и что Вальяно эти пошлины безропотно уплачивал. Импортеру французские папиросы обходились вдвое дороже русских, а русские, как всем было известно, с полным основанием считались лучшими в мире. Какой же смысл было выписывать из

Парижа штабеля ящиков с коробками парижских папирос?

Слов нет, таких толстых и длинных мундштуков не встречалось в изделиях российских табачных фабрикантов, но разве толщина папиросы и есть ее качество?

А купец первой гильдии Вальяно, раздобревший и растолстевший, продолжал получать в трюмах заграничных пароходов красивые ящики с маркой парижской табачной фирмы и по-прежнему безропотно оплачивал пошлину, делавшую явно невозможной всякую наживу.

К тому же никто не видел даже и попытки Вальяно сбыть дорогой товар. Он не продал ни одной папиросы из полученных сотен тысяч! И — о странность! — пустые ящики из-под папирос то и дело вывозились из портового склада Вальяно на лесопильный завод братьев Еракари. А куда девался груз?

— Он отсылает папиросы в подарок царю,— предполагали одни. Другие глубокомысленно намекали, что Вальяно придерживает папиросы, так как ему-де известно, что скоро будет война с турками. Вот когда он начнет продавать по двойной цене свои папиросы!

И вдруг все объяснилось самым неожиданным образом.

Однажды стивидор (грузчик) Петька Гусак, прозванный так за длинную шею, напился сверх обычной своей нормы, которая была значительно выше среднедушевой нормы в стране, и с ним случился при выгрузке с парохода заграничных папирос неслыханный для стивидора позор: он уронил ящик. Из расколовшегося ящика вывалились изящно упакованные картонные коробки. На мостовую густо посыпались белые папиросы, точно снег.

— Тю! — закричали стивидоры, выразившие этим исконно таганрогским выкриком насмешку над опростоволосившимся коллегой.— Тю на тебя!

И без того расстроенный Петька в бешенстве топтал тяжелыми, как крейсер, сапогами проклятые папиросы, которых — он знал — ему никогда не забудут насмешливые и острые на язык стивидоры. И все увидели, что из поврежденных мундштуков вылезли сторублевки!

Уже через час всем в Таганроге стало известно, что

бывший контрабандист Вальяно долгое время получал и сбывал фальшивые «катеринки». Началось было против Вальяно новое дело, но движения оно не получило. Оказалось, что никто из стивидоров видом не видывал расколовшегося ящика с папиросами. Такое запамятование случайно совпало с переходом Петьки и некоторых его товарищей по ремеслу в новые собственные домики на окраине города. А бывший недруг Вальяно, бескорыстный прокурор, тоже по случайному совпадению, тогда же приступил к возведению двухэтажного особняка на главной улице.

Больше Вальяно папирос из-за границы не получал и вскоре умер, отравившись осетриной. Его капитал к этому дню составлял шестьдесят миллионов рублей. Таганрожцы гадали: кто же унаследует огромное богатство Вальяно?

Тут-то и оказалось, что в дни его туманной юности им был брошен в Греции сын Коста, ныне торговец губками и кораллами в Афинах. Все это стало известным со слов таганрогского греческого вице-консула Диамантиди, к которому, оказывается, неоднократно, но тщетно обращался Коста с просьбой добиться от отца субсидии. Этот же Диамантиди и телеграфировал Коста о смерти Вальяно.

Молодой наследник миллионов купил в долг приличный костюм и зафрахтовал в кредит пароход, показав в обоих случаях телеграмму вице-консула. Коста прибыл в Таганрог на зафрахтованном судне, стареньком грузовом пароходике, и первый день посвятил оформлению своих наследственных прав. Затем он обратился к выполнению сыновнего долга.

Уже назавтра цинковый гроб с останками миллионера был погружен на пароход, и молодой, полный сил торговец губками, тщетно пытаясь изобразить скорбь на пышущем радостью лице, стал в театральную позу у гроба.

— Я похороню отца на земле предков! Это был лучший из отцов! — заявил на плохом французском языке Коста сотруднику «Таганрогского вестника», вечному студенту, подписывающему свои критические заметки псевдонимом «Зуб», а похвальные — «Кристалл». Бедняга явился на пароход в надежде заработать рубль за интервью. Он не понимал по-французски, но понимающе

кивал головой и говорил: «Вуй, вуй». Интервью явно не получилось.

Вскоре хриплый гудок траурно прокричал три раза, пароход стал отваливать, держа курс к родным греческим берегам.

Как ни почтенна была задача, она оказалась невыполнимой. Когда пароход подошел к берегам Греции и команда стала выносить по сходням цинковый гроб, местные усатые греки неожиданно подняли бунт и заставили матросов завернуть обратно.

— Миллион драхм, или везите эту падаль назад! — кричали разъяренные греки.— Живым этот дьявол не пожертвовал нам ни одной драхмы. Пусть раскошелится хоть мертвым!

Коста велел поставить гроб на прежнее место на палубе. Ночью тихо и незаметно он попытался снести контрабандой гроб с мертвым контрабандистом, но оказалось, что на берегу засели неумолимые пикеты.

Трижды Коста повторял попытки и днем и ночью, но толпа бездельников, которых всегда много в южных портах, крепко блокировала пристань. От оборонительных действий люди явно собирались перейти к наступательным. Кое-кто уже пытался перепрыгнуть с ялика на борт парохода. Положение становилось тревожным. Тогда Коста, твердо решивший не тратить денег попусту, скомандовал развести пары, и вскоре пароход с печальным грузом отчалил от стенки порта. Когда очертания берегов стали смутными, Коста выругался на все четыре моря и собственноручно сбросил цинковый гроб в воду.

История Вальяно мне стала известна, во-первых, из устных таганрогских преданий, во-вторых, из подробного рассказа моего отца и, в-третьих, из воспоминаний Кони — адвокат Пассовер предлагал ему защищать вместе с ним контрабандиста Вальяно.

«При этом,— писал Кони,— на мое заявление о том, что должность несменяемого судьи дает мне хоть и скромное, но верное ежегодное обеспечение в пять тысяч рублей, он сказал, что то же предложит и Вальяно.

— Но ведь это единовременно, а тут я обеспечен ежегодно,— сказал я, продолжая избегать указывать адвокату на несимпатичные мне стороны адвокатуры как служения частному интересу.

Пассовер сделал удивленные глаза, потом рассмеялся и сказал мне с расстановкой:

— В день подписания условия о принятии на себя защиты я уполномочен вручить вам чек на сто тысяч. Это и есть ваши пять тысяч ежегодно!» («Избранные произведения А. Ф. Кони», издание Госюриздата, Москва, 1956, стр. 637). Об этом читал я также во французских газетах «Фигаро» и «Матэн» за 1904 и 1905 годы. Обе эти газеты выписывала и давала мне читать и переводить моя преподавательница французского языка мадам де Перль, о которой я подробно рассказываю в новелле «Номер «Правды».

О дальнейшей судьбе богатства Вальяно я не знаю.





Миллионное наследство

Сто лет таганрожцы мечтали о водопроводе. Сменялись городские головы, умирали члены городской управы, а мечта оставалась мечтой.

Состоятельные таганрожцы, жившие в центре города в собственных домах, строили глубокие, бетонированные колодцы, так называемые цистерны, куда стекала по трубам дождевая вода с крыш. В рабочих же поселках — Касперовке, Камбициевке, Собачеевке — цистерн не было. Жителям окраин приходилось носить воду за три — пять километров из морского залива, где она была «почти пресная», но частенько с неприятным запахом. Когда же поднимался западный ветер, гнавший на берег волны из открытого моря, вода в заливе становилась к тому же горько-соленой.

Чехов в 1902 году писал: «Если бы в Таганроге была вода или если бы я не привык к водопроводу, то переехал бы на житье в Таганрог».

А годом позже Антон Павлович деликатно укоряет

таганрогского городского голову врача Иорданова за медлительность:

«Читаю обе Ваши газеты и никак не пойму, будут ли в Таганроге водопровод и канализация или нет».

«Когда в Таганроге устроится водопровод, тогда я продам ялтинский дом и куплю какое-нибудь логовище на Большой или Греческой улице».

Антон Павлович, неоднократно и упорно возвращавшийся к этой мысли, считал, что его родной город неизмеримо выиграет, получив наконец хорошую питьевую воду.

Но водопровод в Таганроге появился лишь после Октября. До революции же его «чуть было» не построили. В архиве городской управы сохранились письма и докладные, свидетельствующие об этом.

Однако в последний момент все дело провалилось.

Вот как это было.

В начале октября 1912 года таганрогский купец Запорожец сделал сенсационное заявление, что у него хранится духовное завещание миллионера Лободы, умершего год назад. Черным по белому в этом завещании было написано, что город получает почти весь капитал покойного, примерно два миллиона рублей, со специальным назначением: на постройку водопровода. Душеприказчиком, то есть распорядителем наследства, обнаруженный документ назначил того же Запорожца, которому за труды завещалось 50 тысяч рублей и три магазина. Это была чертовская неожиданность! Дело в том, что сразу после смерти Лободы, умершего бездетным и вдовым, никто не объявлял о наличии завещания. Наследники, конечно, нашлись: двоюродные или даже троюродные племянники покойного, два брата — Василий и Иван Лобода. Но было известно, что оба брата даже и не признавались одиноким и угрюмым старовером-дядей за родственников.

Старший, Василий, мужик крепкий, числился в лихачах, держал пару рысистых лошадей и пролетку на дутых шинах. По вечерам катал Василий по темным улицам Таганрога влюбленные парочки, взимая по трояку за час.

Младший, Иван, был обладателем клячи, запряженной в дребезжащую старую пролетку. «Извозчик!» —

кричали ему редкие прохожие, и он, усердно нахлестывая многострадальную клячонку, услужливо «подавал», радуясь перепавшему двугривенному. Но седоков было мало, и долгими часами Иван понуро сидел на козлах, согреваясь в морозный день особой, извозчичьей, гимнастикой: разведет широко руки в стороны и с размаху ударит ими крест-накрест, точно обнимая самого себя.

Братья по-разному отнеслись к внезапно пролившемуся над ними золотому дождю. Лихач Василий, получив на свою долю около восьмисот тысяч наличными, положил их в банк и образа жизни не изменил. Он лишь променял стареющего Красавчика на рысистую караковую кобылу Кулису 1, доплатив после недельного торга сто рублей, и отдал поникелировать спицы своего щегольского экипажа. Теперь за час прогулки он брал не три рубля, как раньше, а четыре и даже пять. Седоки перестали звать его Василием, а называли по батюшке: Василий Порфирьевич.

Жену свою, Дуньку, тихую, богомольную, рано состарившуюся женщину, Василий Порфирьевич, вернувшись из банка, выгнал со двора. Не плача и не прекословя, Дунька ушла, провожаемая хмурыми взорами молчаливых соседей; в руках у нее был узелок тряпья. Говорили потом, что она пошла жить к своим старикам, бедовавшим в близком селе Голодаевке.

Вскоре поселилась в тесном флигелечке Василия Порфирьевича бойкая девица Матильда Ивановна, пившая водку и знавшая несколько слов по-французски. Василий Порфирьевич катал ее по воскресным дням в своем блестевшем на солнце экипаже. В нарядной плисовой безрукавке поверх шелковой розовой рубахи он боком, залихватски, сидел на козлах, свесив с подножки ногу в наборном сапоге.

Кулиса 1 шла крупной рысью, огромная шляпа с перьями колыхалась на голове взвизгивающей от упоения Матильды, прохожие долго смотрели вслед и отплевывались...

А Иван — тот запил, хотя к водке и вину и не притронулся. Всю жизнь он мечтал вдоволь напиться пива, чудесного таганрогского пива, стоившего четвертак бутылка. С этой мечтой он дожил до сорока лет, облы-

сел, не обзавелся по бедности семьей и теперь, точно в сказке, достиг своей мечты.

Клячонку с пролеткой он подарил глухому деду — церковному сторожу, и тот на старости лет, кряхтя и охая, влезал на покривившиеся козлы и в драном армяке, также подаренном ему сердобольным Иваном, выезжал по утрам на извозчичью биржу у городского сада. А сам Иван, лежа в своей старой каморке на голом грязном тюфяке, окруженный пустыми бутылками из-под пива, тянулся, не вставая, к новому ящику.

Оба брата были, каждый по-своему, счастливы. Никто из них не ожидал, что суровая судьба в лице торговца галантереей Запорожца внезапно занесет над ними свою длань, потрясающую страшным документом — духовным завещанием «дорогого усопшего дяденьки» Ивана Лободы.

Завещание Запорожец представил по всей форме в окружной суд и потребовал принятия мер к охранению наследства. Толстый судебный пристав Попов, утверждавший, что расплодившиеся в таганрогских домах мелкие муравьи «весьма полезны для здоровья, будучи настояны на водке», явился в банк и наложил арест на текущий счет Василия, потом — на текущий счет Ивана. Оказалось, что за прошедший год Василий приумножил капитал на десять тысяч, а Иван растранжирил на пиво одну тысячу сто шестнадцать рублей и сорок копеек.

После этого Попов, надев нагрудную цепь с бляхой, появился во флигельке Василия и описал все до нитки, включив в опись новую наборную сбрую и Матильдину шляпу с перьями.

У Ивана Попов брезгливо покрутил толстым сине-красным носом и ограничился внесением в опись тщательно им пересчитанных пустых бутылок, каковых оказалось свыше двух тысяч семисот.

— Ты бы, братец, хоть форточку открыл,— сказал он на прощанье ошеломленному Ивану.

После ухода со двора пристава Василий в кровь избил Матильду и пошел к бывшему прокурору, а ныне адвокату Араканцеву.

А в городе началось ликование!

— Слава тебе, господи,— крестились таганрогские

мещане, сидя на завалинке у беленьких своих домов с палисадниками.— Туговат был покойник, не тем будь помянут, царствие ему небесное, а какую штуку выкинул!

— Быть теперь нам с водой! — радовались дебелые хозяйки, голосисто перекликаясь через низкие заборчики, отделявшие одно домовладение от другого.— Теперь и постираться и покупаться... Шутка ли — два миллиона!

В местной газете «Таганрогский вестник» появилась большая статья под заголовком «Благая весть». Автор ее, сам редактор-издатель газеты Козьма Дамианович Чумаченко, весьма красочно описывал благодеяние, оказанное городу покойным, именовавшимся в статье «щедрым дарителем», который, «взирая из райских кущ на водяное торжество в родном городе, прольет слезу умиления».

«Водяное торжество» придумал не сам Козьма (именно Козьма, а не Кузьма; за букву «у» в своем имени он жестоко обижался), а газетный хроникер, он же — рецензент, автор передовых и правщик, Вася Китаев, высокий малый из недоучившихся гимназистов. Редактор-издатель в пышном газетном слоге был не силен. В грамоте — тоже. В некие давние времена влюбилась в него, тогда маленького служащего станционной багажной конторы, перезрелая единственная дочка владельца газеты и типографии при ней (вернее, типографии и при ней газеты) Кокорева. После благополучной своей женитьбы, а затем кончины папаши Козьма стал единоличным владельцем и редактором «Таганрогского вестника», газеты, выходившей по вечерам «на завтра», с датой завтрашнего дня. Чумаченко повел газету бойко, с оттенком благородного либерализма, но и с духом достойного уважения к начальству.

Статью «Благая весть» читали и перечитывали. Значит, правда, если пропечатали в газетах! Значит, и в самом деле сжалилась судьба над городом, значит, и в самом деле будет здесь питьевая вода, которая, как заколдованный клад, ускользала от жаждущих уст столько десятилетий! Два миллиона, два миллиона!

Потом очень скоро по городу распространились слухи, что-де не так все просто, как некоторые думают. В кофей-

нях, забросив любимое домино, старые греки шептали друг друг на ухо:

— Стасу рэ! Подождите! Васька Лобода пошел до Араканцева. Он вам покажет водопровод!

— Кирие елейсон! Господи помилуй! — ужасался собеседник.— Но ведь мы выбрали господина Араканцева в Государственную думу потому, что он обещал нам водопровод!

— Араканцев — очень хитрый господин,— многозначительно покачивал лысой головой какой-нибудь умудренный опытом старик Попандопуло или Евстратиади.

Вскоре по городу поползли слухи совсем неприятные: говорили, что присяжный поверенный, член Государственной думы всех трех созывов, кадет Араканцев предъявил в окружном суде от имени братьев Лобода иск о признании завещания подложным. А еще через несколько дней Козьма Чумаченко, сделав поворот на сто восемьдесят градусов, напечатал грамотно написанное, явно не им самим, интервью с Араканцевым «Беседа с нашим избранником».

«Наш избранник» не отрицал принятия на себя защиты интересов «законных наследников усопшего», но — боже сохрани! — не из корысти, а во имя торжества вящей справедливости. Завещание явно подложное, утверждал автор интервью, едва ли не сам Араканцев. Чего бы ради купец Запорожец держал у себя завещание целый год, не предъявляя его тотчас после смерти наследователя? Как мог он забыть о столь важном документе? Не странно ли, что покойный Лобода, стоявший, как известно, столь далеко от мирских дел и помышлявший скорее о спасении души, оставил почти все свое состояние на столь мирские цели, как водопровод? Меньше всего он интересовался при жизни вопросами водоснабжения! И наконец, что уже совсем подозрительно, почему, из каких побуждений в завещании сделана оговорка о выделе 50 тысяч рублей и трех магазинов в пользу купца Запорожца — хранителя завещания?

Интервью кончалось красноречивым и многозначительным обещанием Араканцева «добиться ассигнований для таганрогского водопровода законодательным порядком в Государственной думе четвертого созыва, буде господа избиратели вновь почтят его своим высоким дове-

нем. Воду таганрожцы будут пить из чистого, не замутненного подлогами источника!»

Выборы в четвертую Думу предстояли в ближайшем будущем, и до настоящего дня единственным и бесспорным кандидатом таганрогской буржуазии был все тот же Михаил Петрович Араканцев, правый кадет, не проронивший за всю свою бытность в первых трех Думах ни одного слова. Интервью явно было на смягчение ажиотажа, который начался в городе вскоре после внезапно появившегося завещания, и — еще того больше — на смягчение вспыхнувшего недовольства Араканцевым, принявшим сторону «конкурентов» города.

Однако газетное интервью произвело на избирателей совершенно обратное действие.

Как известно, правом избирать и быть избранным в Государственную думу пользовались так называемые «цензовики», то есть лица, владевшие значительным имуществом. Люди, им не владевшие, вообще не почитались за людей. Член Таганрогской городской управы Рябенко, как сообщала ростовская газета «Приазовский край» в номере от 19 июня 1909 года, заявил публично и, так сказать, официально: «Человек, не имеющий имущественного ценза, не может почитаться гражданином».

Но в том-то и дело, что бунт против Араканцева из-за завещания — пусть бы и подложного, черт с ним! — произошел главным образом среди домовладельцев, то есть наиболее имущих, стало быть, бесспорно граждан и избирателей.

Что же, собственно, случилось? Почему проявили столь несвойственную им страстность и гражданскую ревность таганрогские торговцы?

Всю шумиху подняла и разожгла некая бельгийская концессионная фирма «Анри Лябриссер», давно подбиравшаяся к лакомому куску. Глава фирмы, а на самом деле коммивояжер на процентах, мосье Анри Лябриссер сразу смекнул, что два миллиона покойного Лободы вполне способны помочь ему договориться с членами управы. Но для этого надо было вырвать наследство из цепких рук племянников покойного и дискредитировать их влиятельного адвоката Араканцева.

Игра началась.

Сообразуясь с состоянием умов читателей, таганрогский журналист Тараховский, писавший в ростовской буржуазной газете «Приазовский край» еженедельные фельетоны («Арабески») под псевдонимом «Шиллер из Таганрога», поместил убийственный для Араканцева отклик на злополучное интервью:

«...Почему Запорожец держал целый год под спудом завещание? Да потому, господин Араканцев, что в самом тексте завещания изложена воля покойного: предъявить завещание именно через год. Вы это позабыли? Странно. Почему завещатель оставил магазины и 50 тысяч господину Запорожцу, своему душеприказчику, а не вам, господин Араканцев? А об этом сказано в духовной: «В воздаяние трудов и хлопот по приведению в должный порядок по смерти моей моего имущества». Изволили тоже запамятовать?»

Покончив с этой, чисто юридической стороной дела, Шиллер из Таганрога весьма ядовито рекомендовал Араканцеву не затруднять себя планами представительства интересов города в будущей, четвертой Государственной думе, поскольку «едва ли, едва ли гг. таганрогские избиратели положат белые шары сребролюбивому ходатаю, поднявшему руку на самую затаенную мечту земляков».

Фельетон кончался темпераментным призывом забаллотировать Араканцева: «Черняков ему, черняков!»

В городе творилось небывалое. Под давлением находчивого и любезного мосье Лябриссера городская управа срочно ассигновала из «мостовых средств» тридцать тысяч рублей для оплаты адвокатов на предстоящем судебном процессе. Были приглашены для борьбы с Араканцевым знаменитый столичный присяжный поверенный Малянтович (будущий министр юстиции в правительстве Керенского), екатеринославский златоуст Александров и таганрогский — Золотарев.

Попутно имя Араканцева предавалось анафеме. Таганрогские домовладельцы устроили совещание, на котором единогласно и с большим воодушевлением постановили: во-первых, отменить сделанный уже заказ типографии Чумаченко на печатные призывы выбирать Араканцева; во-вторых, внушить Козьме Дамиановичу, что если он и впредь желает быть «рупором отступника

М. П. Араканцева», то владельцы местных фирм прекратят печатание своих торговых объявлений в «Таганрогском вестнике»; в-третьих, наметить кандидатом в Думу вместо Араканцева присяжного поверенного Черницкого, с которым Лябриссер имел в тот же вечер длительную и содержательную беседу.

А дело шло своим чередом. Тараховский в очередных «Арабесках» назвал Араканцева «продажной и мертвой душой». Араканцев привлек Тараховского к суду за клевету, но мировой судья Кутейников подсудимого оправдал. Страсти разгорались.

Некто А. Е. Елисеев, таганрогский домовладелец и обладатель крупного капитала, при встрече на улице с Араканцевым погрозил ему кулаком, на что Араканцев, раздраженный всей этой передрягой, крикнул обидчику, что-де давно его знает как опасного левого. Испугавшись, домовладелец после совещания с семьей напечатал в ростовской газете «Утро Юга» письмо в редакцию следующего содержания:

«Покорнейше прошу Вас довести до сведения читающей публики, что я ни к какой партии не принадлежу и принадлежать не намерен, а поэтому не признаю ни правых, ни левых».

Неприятности сыпались на Араканцева со всех сторон. Черницкий, получив от Лябриссера куш, красноречиво клеймил коллегу позором:

— Идти против интересов города — да как это возможно!

Правда, в свою очередь Араканцев в речах припоминал некоторые пикантные моменты из адвокатской практики конкурента. Словом, предвыборные собрания таганрогской буржуазии проходили оживленно.

Одно из таких собраний ознаменовалось чрезвычайным происшествием. Сначала все шло как обычно. Солидные ораторы в сюртуках говорили о пользе водопровода и о «прогрессивном начинании, которому угрожают козни сребролюбивых и недобрых людей». Время от времени выступающим передавали из публики записки, которые, по тогдашнему обычаю, оратор немедленно оглашал. Записки были такого рода:

«Присвоена ли членам Государственной думы особая форма одежды?»

«Кто по табели о рангах считается выше: член Государственного совета или Думы?»

Записку оратору подавал кто-нибудь из сидевших в первом ряду. Обычно этот труд брал на себя любезный, с прекрасными манерами, пристав первой части Облакевич, дежуривший здесь по долгу службы.

Вот снова плывет по рядам аккуратно сложенная «секретка». Вот она уже добралась до первого ряда — прямо в руки Облакевичу. С милейшей улыбкой Облакевич, поднявшись, протягивает ее оратору, самому Араканцеву. Араканцев кивком головы поблагодарил любезного пристава и, прервав свои уже всем надоевшие рассуждения о «правде, которая превыше житейских удобств», заискивающе обратился к залу:

— Разрешите огласить?

Он сразу помрачнел, не слыша одобрительных возгласов, так легко сегодня достававшихся на долю его соперника. «Плохо, плохо»,— думал он, в расстройстве духа не слыша того, что читает вслух. А записка попалась какая-то необычная.

— «Граждане,— громко, но чисто механически читал Араканцев,— выборы в Государственную думу начались уже во многих губерниях. Скоро начнутся у нас, в Таганроге... Дело не в Думе, не она важна...»

Все видели, что Облакевич делает какие-то знаки, но Араканцев, не замечая, читал дальше:

— «Важно то единодушие, с каким народ придет выразить свое негодование, готовность посчитаться с врагом...»

— Прошу прекратить! — крикнул пристав, теряя всю свою любезность. Впрочем, и сам Араканцев уже прикусил язык. Глаза его скользнули по строкам и с ужасом впились в подпись: «Таганрогский комитет РСДРП».

— Объявляю перерыв! — поспешил заявить перепуганный председатель собрания, нотариус Мясоедов.

За несколько дней до выборов ближайшие друзья Араканцева советовали ему отказаться от ведения дела братьев Лобода, видя в этом единственный способ восстановить его избирательные шансы. Но в столе Араканцева лежала расписка его клиентов: «...В случае выигрыша дела обязуемся уплатить 20 процентов от выигранной суммы». Двадцать процентов! Это соста-

вит 320 тысяч рублей чистоганом! А оклад члена Государственной думы в год — четыре тысячи. Черт с ней, с Думой!

На угрюмом, широкоскулом лице Араканцева друзья его увидели твердое решение идти напролом. Тогда они пустили в ход последний довод:

— Но ведь вы можете дело в суде и проиграть!

Араканцев только отмахнулся:

— Проиграть? Да ведь завещание фальшивое, уже и эксперты признали, что подпись подделана!

И в самом деле, завещание, по общему мнению, сфабриковал Запорожец. Эксперты-графологи удостоверили, что подпись на завещании не сходна с другими, более ранними, подписями покойного.

В городе никто ни одной минуты не сомневался в подложности завещания, но самый подлог расценивался как молодечество. Запорожцу жали руку, Запорожца приглашали на обед, выбрали почетным членом Коммерческого клуба и почетным мировым судьей. Запорожец прикидывался простачком и, пряча улыбку в бороду, проливал слезу о почившем благодетеле.

Заседание гражданского отделения Таганрогского окружного суда открыл председательствующий член суда Епифанович, раздражительный и углубленный в свои мысли шепелявый старик.

Недалеко от него, у пюпитра ответчиков, стояли три светила адвокатуры, сияя белыми манишками; у стола истца высился одинокий и мрачный Араканцев — увы! — уже не член Государственной думы.

Не прошло и часа после начала судебного заседания, как трое находчивых и красноречивых ответчиков напустили вокруг спорного вопроса такого словесного тумана, что все первоначально ясные и простые утверждения Араканцева стали в высшей степени зыбкими и сомнительными. «Графологическая сравнительная экспертиза? Чепуха, сказки для студентов первого курса. Подпись на завещании не похожа на прежние подписи Лободы? Умирающий не способен подписываться так, как он подписывался в расцвете лет. К тому же, графология — не наука, а черт знает что, вроде хиромантии, ею занимаются шарлатаны на ярмарках. Вы бы, уважаемый коллега, прибегли еще к спиритизму и, вызвав дух умершего куп-

ца первой гильдии Лободы, спросили, его ли это подпись. Это было бы уже наверняка. Но дальше! Василий и Иван Лобода, незадачливые наследники, вовсе не двоюродные, а троюродные племянники покойного, что видно из представленной нами справки причта кладбищенской церкви, где оба они крещены. Поэтому, дорогой коллега, в силу разъяснения сената за 1876 год по делу № 42513 они, как троюродные, к наследованию не призываются, и ваш иск от их имени, собственно, даже и не подлежит рассмотрению».

И, наконец, свидетель, бывший таможенный чиновник Кулаков, уволенный за мздоимство, показал, что Лобода подписывал завещание в его, Кулакова, присутствии, находясь на «одере смерти».

Показание этого свидетеля вывело из себя Араканцева. Он снова, в третий раз, попросил у Епифановича слова и, опершись о пюпитр грудью, с горящими мрачным огнем глазами, воскликнул:

— Я должен заметить суду...

— Подождите,— строго прервал его Епифанович,— делать замечание суду может только государь император и правительствующий сенат. Продолжайте.

Араканцев, спав с тона, продолжал речь.

А через полчаса Епифанович, все это время рассеянно смотревший вдаль и вспоминавший, по-видимому, что-то очень важное, вдруг просиял и воскликнул, снова прерывая Араканцева:

— Делать замечание суду может также еще господин министр юстиции! Продолжайте!

Но Араканцев, махнув рукой, грузно опустился на стул.

Суд удалился на совещание и совещался так долго, что у Малянтовича закралось сомнение, о чем он шепотом поведал своим собратьям по защите. Араканцев сидел в полном одиночестве в своем углу, отвернувшись от противников. Лябриссер, толстяк с мешками под глазами, в кокетливой бархатной блузе, нервно сосал мятные лепешки.

К вечеру из совещательной комнаты вышла судебная тройка и объявила решение, весьма огорчившее обе стороны:

«Завещание признать подлинным, но, принимая во внимание, что в самом тексте его имеется распоряжение

об оглашении только через год после смерти наследователя, между тем как по закону завещание должно быть предъявлено к исполнению не позже чем через полгода, а также признавая истцов троюродными и, стало быть, ненаследоспособными, в иске братьев Лобода отказать, в притязаниях города тоже отказать, а имущество, оставшееся после смерти Ивана Лободы, объявить выморочным и обратить в доход казны».

Епифанович громко прочел мудреное решение и с торжеством посмотрел поверх очков на притихших адвокатов.

— А, дьябль! — огорчился Лябриссер собственной недогадливостью: подкупив многих, он упустил из виду подмазать Епифановича!..





Дуэль

Савелий Адольфович Гинцберг был магистром фармации.

Если бы он учился не в Юрьевском, а в другом русском университете, ему после трехлетнего курса присвоили бы будничное звание провизора. Но в Юрьевском (Дерптском) университете были в ходу средневековые мантии, дуэли на рапирах и старинные пышные звания. В дипломе (написанном по-латыни) Савелий Адольфович именовался магистром фармацевтических наук. С его прибытием в Таганрог здесь появился первый и последний магистр.

Савелий Адольфович был очень горд доставшимся ему ученым званием и оберегал его от насмешек. Особенно он ожидал их от местных врачей. Врачи прибивали к своим дверям медные дощечки с фамилией и часами приема и именовались все как один — докторами. Доктор медицины — это выше, чем магистр. Но ведь в городе на самом деле не было ни одного доктора медицины, все

ои — жалкие лекари, ибо именно таково было официальное звание окончившего медицинский факультет! Это — самозванство! А Савелий Адольфович почему-то должен был страдать от заносчивости самозванцев: лекари, имеиующие себя докторами, смотрели на подлинного магистра сверху вниз — какова наглость!

Приходилось осторожно, исподволь оберегать свое звание от недругов и завистников. Потомок древних ливонских рыцарей-крестоносцев, Савелий Адольфович делал это методически и настойчиво. Он никогда не забывал, что он магистр, и старался по возможности не давать другим забыть об этом.

Увы! Скрепя сердце он вынужден был порой терпеливо сносить шутки самозваных докторов: магистр фармации всецело зависел от их расположения. Дело в том, что ему принадлежала лаборатория медицинских анализов. Правда, помимо этого, магистр был изобретателем. Мыло «Самостирка» и крем против веснушек «Велюр» приготовлялись в его лаборатории по особым рецептам, запатентованным в министерстве. И мыло и крем брезгливые таганрогские дамы покупали туговато, хотя изобретатель, вопреки всем сплетиям, пользовался вполне благопристойным сырьем.

Савелий Адольфович жил на тихой Полицейской улице, которой впоследствии присвоили имя Антона Павловича. В описываемые дни Чехов был еще жив: прошло только две недели с того дня, когда он в последний раз побывал в Таганроге.

Накануне отъезда Антона Павловича к нему в гостиницу пришел познакомиться Савелий Адольфович. На нем был новый чесучовый пиджак, рубашка с высоким отложным воротничком и пышный галстук в розовую горошинку. Утром он постригся ежиком, парикмахер придавил его белесые волосы круглой щеткой, жесткой, как каток. Тощее бритое лицо его с глазками цвета балтийской волны выражало любопытство.

— Магистр фармации Гинцберг,— представился он, самоуверенно пожимая руку Чехову («В конце концов, тоже ведь только лекарь!»).

— Савелий Адольфович уверен, что магистр — это почти доктор,— насмешливо заметил присутствовавший тут дерзкий шутник врач Зеленский.

— Это, несомненно, так и есть,— серьезно сказал Чехов.

Вероятно, на том бы и кончилась шутка, но совершенно неожиданно заговорил другой гость — вечно молчавший доктор Иванов. Пепельные усы его зашевелились. Он, к удивлению Зеленского, отрывисто засмеялся и сказал:

— Еще бы!

Этого выпада Гинцберг ему не мог простить. Иванов, молчальник! Заговорила Валаамова ослица!

Андрей Осипович Иванов был человек маленького роста, державшийся необыкновенно прямо. «Точно пол-аршина проглотил»,— говорил о нем Зеленский. Личико у Иванова было маленькое, почти наполовину занятое отвислыми пушистыми усами. Пациенты считали его замечательным врачом и даже молчаливость его воспринимали как печать мудрости.

Если бы на страшном суде Иванова спросили, что он делал здесь, на грешной земле, он ответил бы, вероятно:

— Молчал!

Иванов молчал и слушая бесконечные монологи своей говорливой жены, и выписывая рецепты пациентам. А если уж по необходимости приходилось говорить, он произносил одно лишь слово. Только одно!

Тот же Зеленский утверждал, что однажды Андрей Осипович час просидел молча у постели больного, лежавшего в сердечном припадке, и наконец, пощупав пульс, сказал:

— Кончается...

Когда плач и стенания родственников немного унялись, Иванов раздул усы и произнес еще одно слово:

— ...припадок!

Стало быть, кончался не больной, а припадок.

И вот этот-то лекаришка унизил, оскорбил подлинного магистра и дворянина, в чьих жилах текла кровь остзейских баронов.

Иванов сказал: «Еще бы!», и притом сказал в присутствии писателя, о котором местная газета «Таганрогский вестник» писала как о «довольно известном авторе занимательных рассказов». Правда, Гинцбергу было недосуг прочесть рассказы Чехова. По мнению магистра, это-

му худому и болезненному лекарю, наверно, было очень далеко до Льва Толстого, которого, впрочем, Гинцберг тоже не читал. Но одно дело — шутки в своей компании, а совсем другое — в присутствии постороннего, к тому же лекаря, то есть искониого и прирожденного врага всех магистров!

Савелий Адольфович ушел, еле простившись. В душе его бушевала буря. Черт возьми! Ему бы очень хотелось сказать всему свету — а Иванову в первую голову — что-нибудь злое, остроумное, уничтожающее, но на память приходили только ругательства.

Выйдя на улицу под тень каштанов, Гинцберг заломил котелок и, пригрозив тощим кулачком, прошипел по адресу Иванова:

— Фараон несчастный!

На таганрогском уличном языке «фараон» обозначало: гуляка, буян и драчун (между тем как повсеместно в России слово «фараон» было насмешливой кличкой блюстителей порядка — городовых).

Гинцберг с испугом огляделся по сторонам: не слышал ли его кто-нибудь? Но улица была пустынна, и только на дальнем углу виднелась согбенная фигура старушки семечницы, сидевшей под зонтиком на раскидном стуле.

Прошло две недели, а буря в душе Савелия Адольфовича не утихла. Злой демон-искуситель, доктор Зеленский, изнывавший от жары и скуки, неустанно подливал масла в огонь.

— Дорогой коллега,— говорил он, дружески обняв Гинцберга за талию,— этого нельзя так оставить. Он оскорбил не вас, а вашу альма-матер!

Гинцберг скрежетал зубами.

— Если вы не потребуете сатисфакции, Чехов пропишет вас во всех газетах как труса,— рубил уже сплеча Зеленский, заметив, что магистр начинает выходить из себя.— Такие оскорбления смываются только кровью!

Зеленский не поленился притащиться в августовскую жару на квартиру к Гинцбергу. Было три часа дня — время, когда таганрогские обыватели, плотно пообедав красным борщом с помидорами (здесь они назывались «красненькими») и закусив арбузом и дыней, спали в

духоте за наглухо закрытыми ставнями: больше всего на свете таганрожцы боялись сквозняков! На длинной и прямой Полицейской улице, одним концом упиравшейся в обрывистый морской берег, а другим — в пыльную площадь, где казачий полк производил учения, не видно было ни одного прохожего. Проехал, громыхая по мостовой железными колесами тачки, мороженщик, лениво покричал: «Сахарно морожено!» — и точно растаял вместе со своей ледяной кадкой в неподвижном знойном мареве. Пожарный, обычно дежуривший на каланче, и тот исчез, точно провалился.

Друзья ходили взад-вперед по крашенному под паркет полу крохотного «зала» одноэтажного особнячка, благоприобретенного год назад Гинцбергом. В соседней комнате похрапывала Авдотья Павловна, пышная невенчанная жена Савелия Адольфовича, официально числившаяся в экономках.

— Оскорбление смывается только кровью,— уже заскучав, повторил Зеленский и опустился в кресло. «Такой сморчок, а отхватил себе кралю»,— подумал он, невольно прислушиваясь к могучему храпу.

Тонкий золотистый луч солнца скользнул в неплотно прикрытые ставни и зыбким зайчиком заиграл на стене. В ту же минуту кто-то с улицы забарабанил в окошко. Савелий Адольфович рывком открыл окно и ставни.

На тротуаре стояла босоногая девочка лет одиннадцати. Протягивая аккуратно завернутую в газету бутылку, девочка затараторила:

— От доктора Иванова для больного. Велели срочно обследовать, чтоб к вечеру готово было...

Поблескивая серыми плутовскими глазами, девочка хотела продолжить неправдоподобно многословное для Иванова наставление. Но внезапно язык ее прилип к гортани. Резким движением Гинцберг выхватил бутылку и швырнул на мостовую. Небольшая янтарная лужица заискрилась на солнце.

— Вот мой ответ лекарю Иванову! — голосом, сдавленным от волнения и жажды мщения, воскликнул Гинцберг и захлопнул ставни.

— Вы молодчина,— сказал, оживившись, Зеленский.— Итак, вы меня уполномочиваете?

Он не договорил, а Гинцбергу стало не до того. Уже не слушая, он утвердительно кивнул головой и погрузился в горестные размышления: что будет, если вслед за Ивановым и другие врачи начнут посылать своих пациентов не к нему, Гинцбергу, а в лабораторию грека-пьяницы Иоаннидиса?

Взволнованный Савелий Адольфович и не заметил, как ушел его гость.

Размышляя, кого подыскать секундантом для Иванова на предстоящей дуэли, Зеленский без колебаний остановил свой выбор на классном надзирателе Вукове. Впереди была нелегкая задача договориться с великим молчальником Андреем Осиповичем; «дипломат» и «депутат» Вуков окажется здесь на высоте!

К девятисотым годам Павел Иванович Вуков был уже далеко не молод, но по-прежнему строен и щеголеват.

Острая бородка и закрученные кверху прокуренные усы были с легкой проседью, светлые волосы кудрявились у висков. Гимназисты утверждали, что Вуков завивается у театрального парикмахера Плескачева, причем бесплатно, так как сын Плескачева, Федя, учился в гимназии и был подопечен Павлу Ивановичу.

В молодости Вуков был дамским кумиром. К старости, когда дамский круг поредел, Павел Иванович сделался скромником.

Впрочем, если разговор с гимназистами-старшеклассниками происходил на улице и мимо проходила, потупив взор и шурша шелком пышных юбок, молодая гречанка с матовой кожей лица и тонким, изящно очерченным носиком, Вуков прерывал разговор и, закатывая глаза, хрипел вслед гречанке: «Сас агапó!» — это значило по-гречески: «Я вас люблю!»

Гимназисты дружно гоготали, гречанка ускоряла шаги, уронив на ходу презрительно: «Фаравия», а Павел Иванович, радуясь своему остроумию и популярности среди молодежи, смеялся, показывая большие, желтые, как у старой лошади, зубы.

Да, Павел Иванович был незаменим для нелегкой роли, которую уготовил ему Зеленский!

Убийственная провинциальная скука толкала его под руку.

«Грязен, пуст, ленив, безграмотен и скучен Таганрог,— писал Чехов Лейкину,— настоящая Азия... шестьдесят тысяч жителей занимаются только тем, что едят, спят, плодятся, а других интересов — никаких. Нигде ни газет, ни книг».

Зеленскому едва минуло тридцать лет, но он решительно не видел, чем себя занять. К врачебной практике был равнодушен, в карты не играл, к водке пристраститься не успел. Доктор выписывал журнал «Мир божий», и раз в месяц его досуг был заполнен.

От скуки Зеленский ходил иногда в театр и приударял за хорошенькой «инженю». А дальше? Дальше была та же томящая скука. И вот Зеленский решил позабавить себя представлением, которое казалось ему очень остроумным и в котором главные роли он поделил между двумя общепризнанными чудаками.

Павел Иванович согласился участвовать в деле неожиданно легко, точно всю жизнь только и делал, что участвовал в дуэлях. Встреча произошла в так называемой Ротонде — в павильоне-клубе городского сада, за водочной стойкой буфета.

Как хорошо знал буфетчик Арутинов, Павел Иванович пил водку «на аршин».

— Налей-ка, братец, пол-аршина,— говорил он буфетчику, и тот, не моргнув глазом, выстраивал на стойке рюмки в ряд, вытаскивал из-под стойки складной аршин и вымерял ровно пол-аршина. Придирчиво проверив правильность замера, Павел Иванович выпивал одну рюмку за другой и, опорожнив всю шеренгу, говорил чуть охрипшим голосом: — А закуска?

Флегматичный бородатый толстяк Арутинов молча брал с подноса двумя пальцами крохотный кусочек хлеба, намазанный кавьяри (так называлась в Таганроге икра). Вуков съедал «закуску» и отходил, бросив небрежно:

— За мной.

Арутинов только вздыхал.

На этот раз какая-то муха укусила Арутинова. Лицо его покраснело, он в раздражении ударил ногой клубного кота Фемистокла. Фемистокл от неожиданности и обиды взвыл страшным голосом.

— Зачем — за тобой? Где— за тобой?— сердито спро-

сил буфетчик.— Всегда — за тобой. Хочу, чтобы было за мной!

В буфет вошел толстый инспектор гимназии Лонткевич, человек с наружностью Фальстафа. Устремив взор на стойку с водкой, он на ходу, колыхая огромным животом, сладострастно потирал руки, для чего ему приходилось далеко протягивать их в обход живота. За инспектором со скучающим лицом плелся Зеленский, обошедший весь сад в поисках Вукова. Увидев Павла Ивановича, Зеленский хотел было сказать: «Вас-то мне и надо», но заметил сердитое лицо буфетчика и крайне смущенный вид «дипломата», совсем растерявшегося в присутствии инспектора.

— Не хочу — за тобой, хочу — за мной! — повысил голос Арутинов, смекнувший, что момент подходящий.

Инспектор грозно уставился на Вукова.

— Кстати, Павел Иванович,— поспешно сказал Зеленский, доставая бумажник,— я ведь, кажется, вам задолжал... вот не помню только, сколько именно?

Зеленский вопросительно посмотрел на буфетчика.

— Восемнадцать рублей сорок копеек! — ответил без запинки буфетчик.

Зеленский, улыбнувшись, дал Вукову две десятки и одну пятерку. Это могло быть щедростью или платой за услугу. Вуков пятерку ловко, как фокусник, сунул в карман, а две десятирублевые величественно бросил на стойку со словами:

— Сдачи не надо.

Инспектор хотел, кажется, что-то сказать, но буфетчик уже наливал ему большую, с вензелем рюмку. Инспектор облизнулся и взял рюмку за тонкую ножку.

— А вы — арап, Павел Иванович, ей-богу, арап,— тихо смеясь, сказал Зеленский Вукову, когда они вдвоем вышли из Ротонды на широкую аллею сада.

Редкие газокалильные фонари на высоких столбах плохо освещали деревянные скамьи с тесно сидевшими парочками. Совсем рядом раздавались бравурные звуки «Тореадора»: городской оркестр под управлением превосходного музыканта, обрусевшего итальянца Молла, заканчивал свою вечернюю программу. В воздухе приторно пахло ночной фиалкой...

— А шо я должен делать? — послушно спросил Вуков...

* * *

Андрей Осипович Иванов жил в двухэтажном доме в Итальянском переулке. Двухэтажных домов в городе было немного; их построили в самые последние годы разбогатевшие владельцы хлебных ссыпок. Все эти дома были «доходными», то есть строились, в отличие от остальных таганрогских жилых домов, не для хозяев, а для сдачи внаем. «Доходные» дома выглядели неуютно и безвкусно. Окна были узкие, двери — хилые и плохо прикрывались...

Каждое первое число Иванов протягивал жене пачечку денег и говорил одно только слово:

— Квартира.

Так как по опыту жена знала, что следующее слово ее Андрюша скажет только к вечеру, она отводила душу в длинном и безнадежном монологе о пользе собственного дома. Андрей Осипович читал газету или пил холодный чай.

— Раньше он не был такой бесчувственный,— вздыхая, говорила соседкам докторша.— Студентом он и песни пел, и речи говорил... Ей-богу, говорил! — божилась она, заметив недоверие на лицах женщин.— А пожил в Таганроге с десяток лет и замолчал. Не нравится ему, вижу, не нравится, а что — не говорит. По ночам не спит, вздыхает, а не говорит!

Соседки сочувственно кивали головами и проникались к загадочному для них явлению — человеку, не любящему поболтать,— еще большим уважением.

Сегодня Андрей Осипович закончил прием больных часам к семи вечера. Перебывало у него человек пятнадцать, но, когда жена, по обыкновению, зашла к нему в кабинет, чтобы взять со стола «выручку», она нашла около чернильницы только две рублевые бумажки и рубль серебром. Это было все. Очевидно, большую часть пациентов Иванов, по обычаю своему, отпустил, не взяв с них денег.

Андрей Осипович сидел за хромоногим столом, закрывшись от жены и, казалось, от всего мира газетным листом. Жена решилась было высказать ему кое-какие горькие истины, но в этот момент внизу позвонили, и она поспешила на звонок, лелея в душе надежду, что вот

пришел наконец богатый пациент, который заплатит за визит пять рублей...

— Можно к вам?

На пороге кабинета стояли доктор Зеленский и Вуков. У обоих был торжественный и подтянутый вид. Зеленский, несмотря на жару, был в перчатках. Вуков держал на отлете цилиндр, который он в последний раз надевал десять лет назад на похоронах директора гимназии.

Перчатки и цилиндр, видимо, не произвели на Иванова никакого впечатления. Чуть наклонив голову, он спокойно смотрел на посетителей.

— Вместе? — спросил он.

— Именно вместе,— с некоторым задором ответил Вуков и, сделав два шага на своих длинных и тощих ногах, опустился на стул у письменного стола. Цилиндр он со стуком поставил на пол донышком вниз.

Зеленский сел на стул рядом.

— Андрей Осипович,— начал Павел Иванович вкрадчивым голосом, тем самым, которым уговаривал третьеклассников выдать ему «зачинщика»,— ви знаете, как я вас обожаю...

Иванов слегка раздул усы, но промолчал.

— Для вас я на все согласен! — патетически воскликнул Вуков и сделал движение, чтобы сплюнуть через губу, но вовремя удержался.— На все! И можете не робеть, вашим секундатором буду я.

— Секундантом,— поправил Зеленский.

— Зачем? — спросил Иванов.

— Затем,— загорячился Зеленский,— что вы слишком много нелестного говорите о магистре фармации Гинцберге!

«Слишком много говорите» в применении к всегда молчавшему Иванову звучало несколько комично. Но Иванов не улыбнулся. А Зеленский, распаляясь все больше и уже забыв, что историю с дуэлью он сам же и придумал, говорил дрожащим голосом:

— Такие оскорбления смываются только кровью! Он вызывает вас на дуэль!

— Дурак! — спокойно сказал Иванов.

— Кто? — спросил, бледнея, Зеленский.

Иванов молчал.

Вуков вскочил и поддернул брюки. Он был «дипло-

мат», и он должен был не допустить нового кровопролития!

— Шо ви делаете! — закричал он с высоты своего трехаршинного роста на маленького усатого доктора, точно перед ним была стайка перепуганных «мартышек» из первого класса.— Ви ругаетесь, как стивидор!

Андрей Осипович встал и, раздув усы с такой силой, что, казалось, они вот-вот полетят сейчас за окно, произнес:

— Прощайте!

— Хорошо,— ответил, задыхаясь, Зеленский,— хорошо-с!

Уже внизу Вуков крикнул зычным голосом, привыкшим перекрывать многоголосый нестройный шум «большой перемены»:

— Значит, ви отказиваетесь?

Сверху донесся спокойный голос Иванова:

— Нет.

— Слава богу, хоть не отказывается,— прошептала на кухне его жена. Она почему-то вообразила, что эти важные господа приехали приглашать Андрея Осиповича занять место гимназического врача.

* * *

Все дуэли описываются таким образом: сначала в условленное место приезжает один из дуэлянтов и долго с обидой ждет, пока появится второй, обязательно верхом на горячем англо-арабе.

Но тут случилось так, что три извозчичьи пролетки одновременно выехали на широкую аллею, которой начиналась расположенная в трех верстах от города дубовая роща.

По преданию, «Дубки» были насажены Петром Первым. Таганрожцы особенно гордились вниманием, которое — не в пример другим провинциальным городкам обширной Российской империи — оказывали Таганрогу императоры и иные знатные лица...

В ранний утренний час среди царственных дубов три извозчичьи пролетки медленно ехали одна за другой, извозчики весело перекликались:

— Что, Васька, не променял мерина? Ишь, загребает правой-то!

— Это он возрадовался, что хороших ездоков везет! Рублика на чай за такого рысака не пожалеют!

В передней пролетке сидели: равнодушный Иванов в кургузом люстриновом пиджаке и нахохлившийся Павел Иванович в неизменном черном сюртуке и в белой с высокой тульей фуражке, надетой немного набекрень.

За ними ехал бледный, с трясущейся нижней челюстью потомок рыцарей Гинцберг; рядом сидел, одной рукой обняв его за талию, а другой придерживая на коленях огромный сак с хирургическими инструментами, доктор Зеленский. Гинцберг, не отрываясь, как завороженный, смотрел на этот зловещий сак и по временам судорожно вздыхал. Его тошнило.

Процессию замыкала пролетка с тремя молодыми артиллерийскими офицерами. Младший сидел спиной к лошади на крохотной скамеечке, поставив для устойчивости одну ногу на подножку. Поручик и штабс-капитан везли длинный деревянный ящик с дуэльными пистолетами, похожий на детский гроб. Повстречавшаяся босоногая старуха нищенка, бог весть откуда ковылявшая в город, остановилась и, глядя на ящик, истово закрестилась.

Проезжая дорога вилась спиралью меж мощных дубов и заканчивалась широкой утоптанной площадкой. Здесь по воскресеньям пили водку, обнимались, клялись в вечной дружбе, дрались в кровь, ругались хриплыми голосами.

Но теперь, в этот ранний час, на площадке, окруженной, как часовыми-великанами, столетними деревьями, было тихо и пустынно. Кое-где в примятой траве валялась битая «казенная» посуда и яичная скорлупа. Воздух был чист и ароматен. Издали доносился тонкий свист паровоза.

— Пожалуйте, господа хорошие, доставили благополучно,— игриво сказал один из извозчиков, молодой парень с румяным лицом и лихо заломленной фуражкой. По-видимому, возницы принимали седоков за кутил, решивших после бурно проведенной ночи допивать на лоне природы.— Гуляйте на здоровье.

Офицеры выпрыгнули из пролетки, штатские сошли чинно. Зеленский бережно свел плохо державшегося на

ногах Гинцберга и, прислонив его к широкому стволу, поспешил к Павлу Ивановичу.

— Что делать с этими? — зашептал он, кивнув в сторону извозчиков.— При них невозможно.

— Гоните два рубля,— решительно сказал Вуков.

Зеленский, пожав плечами, протянул ему две смятые бумажки.

— Ребята,— крикнул Вуков извозчикам,— выпейте за наше здоровье!

Кажется, одна рублевая бумажка осталась у него.

— Стало быть, разрешите на полчасика отлучиться? — обрадовались извозчики.

Павел Иванович величественно махнул рукой. Извозчики хлестнули лошадей и скрылись за деревьями. Пора было начинать. Солнце поднималось выше, на площадке стало светлее. Старший из офицеров, усатый штабс-капитан, посмотрел на часы и отрывисто сказал:

— Стреляться так стреляться.

И почему-то подмигнул двум поручикам, которые, положив ящик с пистолетами на землю и усевшись на корточки, внимательно рассматривали оружие. Один из поручиков, взяв из ящика тяжелый длинный пистолет, заглянул в дуло и зачем-то его понюхал.

— Господа,— взволнованно сказал Вуков,— а где же барьер? Ми забили барьер!

— Зачем вам понадобился барьер — прыгать собираетесь? — с досадой спросил Зеленский, не выпуская из виду Гинцберга; бледный и потный магистр стоял, держась за дерево, и громко икал.

— На дуэли без барьера нельзя,— объяснил Вуков,— ви с ума сошли!

— Вот барьер! — пробасил штабс-капитан, проводя носком сапога неровную волнистую линию по сухой, в комьях, земле.— На сколько шагов поставим противников? Десять? Пятнадцать?

— Стрелять до результата, дистанция — десять шагов,— сказал один из поручиков и захохотал. Второй укоризненно на него посмотрел.

— Десять, пожалуй, маловато,— деловито заявил штабс-капитан.— С десяти шагов рана в живот и в грудь — смертельна. А впрочем...

Гинцберг икнул слышнее и сказал:

— Двадцать... пять.

Посоветовавшись, секунданты утвердили пятнадцать шагов. Отмерять шаги взялся штабс-капитан. Почему-то он при этом мелко семенил, как старушка в церкви, когда она подходит к кресту. Вышло, что от «барьера» до противника — рукой подать.

— Дуэлянты, по местам! — скомандовал штабс-капитан.

Зеленский уже открыл свой сак и разложил на белоснежной салфетке сверкающие на солнце инструменты. Их было очень много: маленькие и большие ланцеты, кривые ножницы и даже огромные акушерские щипцы, имевшие особенно устрашающий вид. Одним глазом Зеленский не забыл взглянуть на Гинцберга.

Потомка рыцарей на месте не оказалось. Из ближайших кустов раздавалось его жалобное бормотание:

— Я молод, я жить хочу! Разве это пятнадцать шагов? Это пять шагов!

Иванов, о котором все позабыли, сидел в стороне на пеньке и, надев очки, читал газету. Сегодня на рассвете за ним заехал Вуков, и Иванов, привычно быстро одевшись, безропотно поехал. Жена, не сомневавшаяся, что его везут к пациенту, успела ему шепнуть: «Меньше трешницы не бери, что такое!»

Он знал, что ему предстоит дуэль с малосимпатичным ему Гинцбергом, но он уже давно на все махнул рукой. Дуэль? Черт с ней, пусть дуэль! Какой-то винтик в нем развинтился, и уже давно не хотелось ни спорить, ни горячиться.

Услышав команду, он аккуратно сложил газету и спрятал в карман. Павел Иванович показал ему его место — у шашки, воткнутой острием в землю. Потом Вуков сунул ему в правую руку тяжелый пистолет и отошел.

По ту сторону барьера, у глубоко вошедшей в землю шашки с анненским темляком, штабс-капитан одной рукой придерживал у бедра пустые ножны, а другой крепко держал за плечо обмякшего Гинцберга. С другой стороны его поддерживал Зеленский и одновременно пытался всунуть ему в руку дуэльный пистолет. Рука дуэлянта висела, как тряпка.

— Держите же, черт возьми! — крикнул штабс-капитан.— Или мы вас объявим недуэлеспособным!

— Савелий Адольфович, придите в себя,— умоляюще шептал ему на ухо Зеленский,— вспомните, что вы магистр! На вас сейчас смотрит весь Дерптский университет!

Гинцберг застонал и схватил пистолет. Штабс-капитан и Зеленский отошли в сторону, с опаской глядя на магистра. Однако он стоял без посторонней помощи и даже, кажется, уже стал прицеливаться в противника.

— По команде «раз» — можете приближаться к барьеру, по команде «два» — стреляйте! — пояснил штабс-капитан и поспешно скомандовал: — Раз... два!

Ударил одиночный выстрел. С криком: «Я убит!» рухнул на землю и остался недвижим Гинцберг. Иванов опускал дымящийся пистолет.

Гинцберг лежал на спине, раскинув руки, по-прежнему зажимая в правой пистолет. Глаза его были закрыты.

Павел Иванович, расставив длинные журавлиные ноги, замер на месте, выпучив глаза.

Андрей Осипович, отшвырнув пистолет, бежал к распростертому на земле противнику. На чесучовом пиджаке Гинцберга, как раз против сердца, расплылось ярко-красное пятно. Андрей Осипович подбежал, тяжело дыша, опустился на колени перед телом магистра и приложил ухо к его груди. Потом, поднявшись, стал спокойно очищать пыль с колен.

— Жив! — сказал он отрывисто.

— Это клюква, коллега,— нервно засмеялся Зеленский и вытер со лба пот.— Признаться, зарядили мы для смеха клюквой, да я уже подумал, не вышло ли ошибки?

Со страха он сделался говорливым:

— А вы, коллега, оказывается, стрелок. Видали, господа, какой мастерский выстрел?

Гинцберг открыл один глаз, потом другой и застонал.

— Пулю уже вынули? — спросил он слабым голосом.

— Уже,— сказал Иванов, помогая магистру встать.

Сконфуженный штабс-капитан услужливо поднял с земли франтовской котелок магистра и нахлобучил ему на голову.

Павел Иванович замахал показавшимся за деревьями извозчикам:

— Подавай!

Андрей Осипович посадил обморочного магистра в пролетку и, сев рядом, молча обнял его за плечи.

«Здорово господа набрались»,— подумал извозчик, но деликатно промолчал, зачмокал и задвигал вожжами. Пролетка тронулась. Уже на ходу доктор Иванов повернулся и крикнул, раздувая усы:

— Дураки!

Пролетка с дуэлянтами скрылась из виду, пыль, поднятая колесами, осела, а оставшаяся компания угрюмо молчала.

— Какая скука,— процедил наконец сквозь зубы Зеленский.— Поедем, что ли?





Старец Вронди

> «...где мадам Дуду... играла в пикет с учнтелем танцев Врондн, старцем, очень похожнм на Оффенбаха».
>
> *А. П. Чехов. Рассказ «Ворона»*

Рассказ «Вороиа» написан Чеховым в 1885 году. И тогда уже писатель назвал танцмейстера Вронди «старцем». А спустя четверть века, в 1910 году, живучий старец, малеиького роста, чернобородый и чериоглазый, здравствовал по-прежиему и по-прежиему квартировал в том же доме иа Петровской улице.

Подруга Вроиди, мадам Дуду, умерла. Вроиди жил одии. Таицевальиый зал в его квартире оставался таким же, как в описании Чехова:

«Войдя в залу, поручик увидел то же, что видел ои и в прошлом году: пиаиино с порванными нотами, вазочку с увядающими цветами, пятио на полу от пролитого ликера...»

Старец Вронди, танцмейстер и тапер, обучал здесь таганрогскую молодежь светским танцам.

С силой выбивая на стонущей клавиатуре польку-бабочку, Вронди вполоборота следил из-под страшных насупленных бровей за танцующими и певуче приговаривал, с мягким итальянским акцентом, на мотив и в такт польке:

— Раз, два, три, четыре — раз, два, три! Раз, два, три, четыре — раз, два, три!

Молодых людей тянуло к этому пианино с порванными нотами. Здесь гимназисты и гимназистки могли вдоволь поплясать, позабыть о тягостной мертвящей скуке, неприветливой гимназии и опостылевшем гимназическом начальстве, строжайше запретившем учащимся вход в квартиру танцмейстера.

Но, странным образом, именно старец Вронди неожиданно был обласкан и приближен этим самым начальством.

«Депутат» и «дипломат», классный надзиратель Павел Иванович Вуков, мягко ступая на высоких журавлиных ногах, вошел в директорский кабинет и почтительно доложил директору гимназии Михаилу Петровичу Знаменскому, что вчера вечером он снова обнаружил в танцевальном заведении Вронди девять гимназистов, ученические билеты у них отобраны.

Вот что сказано о Михаиле Петровиче Знаменском в официальном альманахе-справочнике по Таганрогу за 1911 год: «М. П. Знаменский — директор мужской гимназии, опытный администратор, известный своим гуманным отношением к учащимся».

Слухи о «гуманном» отношении Знаменского к учащимся были явно преувеличены. Однажды случилось так, что на маевке группа гимназистов принялась качать прогрессивно настроенного преподавателя Генералова. Знаменский, бросившись на место происшествия, стал наносить ученикам удары своими костлявыми длинными руками.

Юмористический журнал «Новый сатирикон» написал, что, по-видимому, директор Таганрогской гимназии Знаменский — из бывших пожарных: не может видеть, когда плохо качают.

Впрочем, Михаил Петрович Знаменский был на лучшем счету у самого министра, как ревностный охранитель

устоев и не менее ревностный поклонник классического образования...

— Закрыть,— кратко, но решительно сказал директор Павлу Ивановичу, брезгливо смахнув пачку тонких книжечек в черных коленкоровых переплетах в услужливо подставленные Вуковым руки.

— Отсутствуют основания, ваше превосходительство,— вкрадчиво сказал «дипломат».— Не лучше ли отторгнуть?

— Как это — отторгнуть? — удивился директор.— Кого отторгнуть?

— Учащихся, ваше превосходительство. От тлетворного влияния.

— Гм-м,— неодобрительно произнес директор.— Но каким способом?

Вуков согнулся в талии, точно надломился, и зашептал директору в ухо:

— Гимназический выпускной вечер-с! А в предвидении — разрешить уроки танцев у нас, в рекреационном зале-с!

— Гм-м,— сказал директор, на этот раз весьма одобрительно.— А правда, что этот Вронди — уроженец Рима?

Все, что хотя бы отдаленно напоминало родину древней латыни, имело для Михаила Петровича Знаменского особо притягательную силу. Он расценивал людей с точки зрения познаний в латинском языке.

— Почтенный был писатель,— говаривал он о покойном Чехове,— жаль только, плоховато латинский язык знал.

Давно овдовев и не имея детей, Знаменский держался замкнуто, особняком. Часто можно было видеть в обширном гимназическом саду во время уроков высокую, костлявую фигуру директора. Чуть ссутулившись, с заложенными за спину руками, загребая и шаркая ногами, Михаил Петрович в короткой, не по росту, черной тужурке гулял по аллейкам сада, задумавшись и шевеля губами. Наверно, в этот момент он скандировал торжественного Горация или повторял любимую строчку из обстоятельного Тита Ливия. Гимназисты, сбежавшие с урока, смело шли мимо директора, по опыту зная, что, углубленный в свои мысли, он их не окликнет.

За бритое лицо, мощный нос и тяжелый, почти квад-

ратный подбородок и, конечно, за пристрастие к латыни Знаменскому дали прозвище «Юлий Цезарь».

Гимназисты с удивлением и насмешкой относились к странностям директора. В свою очередь, директор презирал гимназистов за дурное произношение латинских стихов.

Совмещая с директорским званием преподавание латинского языка, Знаменский входил в класс задумчивый и мрачный, с классным журналом под мышкой. Сев за учительский стол на возвышеиии, он насмешливо оглядывал притихших учеников и с шумом вытягивал под столом длинные ноги, обутые в огромные уродливые штиблеты. Вообще говоря, директорские ноги «играли» в течеиие всего урока: Зиаменский, слушая скверное, с запинкой скандирование латинского стиха, в досаде эиергично шаркал штиблетами по полу, удачный ответ вызывал снисходительное покачивание длинных, заостренных штиблетных носков. Гимиазисты, как завороженные, смотрели на директорские ноги.

— О-о! — насмешливо говорил директор, отпуская на место красного и потного ученика.— Ты делаешь успехи!

И в классном журнале против фамилии бедняги он ставил небывалую отметку: единицу с плюсом. И в самом деле, то был успех, потому что в прошлый раз у этого же ученика отметка была ноль с минусом, в связи с чем директор и пояснил:

— Ты знаешь меньше чем ничего!..

Получив неожиданное приглашеиие директора, Вронди явился в здание гимназии парадно одетый. На нем был черный длиннополый сюртук, черный же шелковый платок, повязанный вокруг загорелой морщинистой шеи, и медная, сияющая пожарная каска на голове.

Года три назад его избрали вице-председателем местного добровольного противопожарного общества, и с той поры каска сделалась его головным убором во всех торжественных случаях.

Войдя с парадного входа в вестибюль гимназии, Вронди снял каску и молча протянул ее остолбеневшему швейцару Денису.

— Вам кого-с? — спросил Денис, взяв каску обеими руками и держа ее на отлете дном вниз, точно кастрюлю с борщом.

Но Вронди, не отвечая, посмотрелся в стенное зерка-

ло, отразившее чернобородое разбойничье лицо со страшными косматыми бровями, поправил галстук и быстро, молодо стал подниматься по лестнице. Гимназист восьмого класса Шульгин, великовозрастный малый с помятым, изрытым оспой лицом, по прозвищу Осетрина, склонился с верхней площадки через перила и, узнав Вронди, окаменел от неожиданности.

— Садитесь, господин Вронди,— любезно приподнялся ему навстречу из-за своего директорского стола Знаменский.— Язык свой, надеюсь, знаете?

— Si, signore,— ответил Вронди, опустившись в кресло.

— Итальянский,— поморщился Знаменский и с неудовольствием зашаркал под столом ногами в знаменитых штиблетах.— А латынь? Изволите знать латынь? Праматерь итальянского?.. Помните: «Fecit milies plies ex togae!» — «Забросил воин тогу за плечо»?

Директор взмахнул рукой, показывая, как древний римлянин забрасывал за плечо тогу. При этом он сбросил со стола тяжелый подсвечник, с грохотом свалившийся на пол. В дверь заглянул и тотчас исчез Павел Иванович Вуков.

— Черт с ним,— сказал Знаменский неизвестно по чьему адресу: подсвечника или Павла Ивановича.— Приглашаю вас дирижировать танцами на нашем выпускном вечере. Угодно-с?

— Двадцать пьять рублей,— заносчиво произнес Вронди.

— Кажется, это очень дорого,— удивился директор и сильнее зашаркал ногами.

— Здесиа в жимназьо биль писатель Чеков,— пояснил Вронди, сверкнув на непонятливого директора черными глазками.

— Ну так что? — удивился еще больше Знаменский.

— Писатель Чеков написаль una nouvella, одна новелла. Писатель Чеков писаль, какой я молодой и красивый...

Вронди встал:

— Двадцать пьять рублей, господин женераль!

— Но, прошу вас, больше классических танцев,— настойчиво сказал Знаменский.— Больше классических!..

Главным распорядителем на выпускном вечере был назначен Павел Иванович. Помощниками его были восьмиклассники Шульгин-Осетрина и толстяк Саша Ниг-

берг, по прозвищу «Что-я-стукачу́». Прозвище он получил благодаря своему отцу, владельцу небольшого магазина готового белья, имевшему обыкновение выстукивать пальцами на прилавке сложные мелодии и время от времени кричать при этом в заднюю дверь, которая вела в квартиру:

— Саша, Саша, что я стукачу́?

И бедный Саша безошибочно угадывал: ария из «Пиковой дамы» или вступление к опере «Фра-дьяволо»...

Вечер начался концертом с участием «местных сил», как значилось в рукописных афишах. Главной местной силой был бухгалтер Донского земельного банка чтец-декламатор Филатов, рослый человек со стеклянным глазом, обладатель громового голоса.

В парадном гимназическом зале сияла газовыми рожками огромная люстра, пахло смесью духов и светильного газа.

В первых рядах перед низкой эстрадой чинно сидели почетные гости, а дальше было сплошное синее море гимназических мундирчиков, кое-где белевшее, точно бурунами, парадными передниками гимназисток.

«Море» сдержанно волновалось: пронесся слух, что Шульгин-Осетрина только что привез танцмейстера Вронди. Меньше всего гимназисты рассчитывали увидеть у себя Вронди!

На эстраде возвышался рояль с откинутой крышкой, похожий на готовый к отплытию черный корабль. Распорядитель с красным бантом захлопал в ладоши, его поддержали в зале, и на эстраду вышел Филатов.

Филатов откашлялся, отчего задребезжали стеклянные гирлянды на люстре, и объявил:

— «У парадного подъезда» господина Некрасова!

— Я тебе покажу «подъезд»! — прошипел полицеймейстер Джапаридзе.

Сидевшая в первом ряду зловещего вида старуха, в лиловом шелковом платье, с черной наколкой из драгоценных кружев «шантильи» на трясущейся голове, вдруг очнулась от дремы и вздохнула, точно предчувствуя недоброе. Это была начальница женской казенной гимназии Псалти—Пиковая Дама, ненавидимая поколениями гимназисток за злобный и вздорный нрав.

Филатов выдержал паузу, отступил шаг и вдруг, весь подавшись вперед, простер грозно палец, нацеленный, как

показалось Псалти, иа нее, и, страшно сверкнув стеклянным глазом, рявкиул первую строчку поэмы:

— Вот парадиый подъезд!..

Пиковая Дама сильио вздрогиула н, тоико, по-птичьи вскрикиув, склонилась в обмороке иа плечо соседкн.

— Аитракт! — крикиул находчивый Павел Иваиович и сделал знак военному оркестру, уже рассевшемуся в дальием углу. Гряиул вальс. Огорчеииый Филатов пошел в буфетную.

— Нехорошо-с! — наставнтельно сказал ему в буфетной директор, пропуская по третьей.— Изволилн почтенную матрону напугать. И зачем вам поиадобился Некрасов? Неужели вам мало превосходнейших римских поэтов?

— В порошок сотру! — пригрозил Филатову полицеймейстер, страшно сверкнув глазами.

Тем времеием, убедившись, что и директор и многие другие почетные лица меньше всего склоиины к продолжению коицерта, Павел Иванович отдал распоряжение сдвииуть в зале стулья н начать танцы. Шульгии-Осетриia поспешио бросился исполиять комаиду. На душе у него было неспокойио, так как всю дорогу, сидя с иим бок о бок в нзвозчичьей пролетке, старец Вронди настойчиво требовал уплаты обусловленной суммы.

Деньги должен был дать Павел Иванович, ио Осетрина отличио знал, как трудно и даже невозможио было получить у Павла Иваиовича хотя бы одии рубль...

Вроиди стоял в центре зала, как безвкусио сделаииая статуя, в иаглухо застегиутом черном сюртуке с потертыми шелковыми отворотами и в белых нитяных лакейских перчатках. Левой рукой, согнутой в локте, старец прижимал к груди надраенную мелом каску н громко, отчетливо командовал:

— А-гош — иалево! А-друат — направо!

И вот уже закружились по залу юные пары. Гимиазисты и гимназистки таицевали истово, без улыбки, точно выполияя нужное и ответственное дело.

Вошли в круг танцующих и взрослые. Полицеймейстер Джапаридзе, расправив седые бакенбарды, совершенио такие, как иа портрете Александра Второго, склоиился перед супругой миллионера Неграпонте и повел ее в медленном вальсе, скрывая одышку. Вальсировал молодой преподаватель истории Дмитрий Павлович Дро-

бязко со своей красавицей женой. Уже установился благополучный ритм бала, и только еще шушукались по углам пожилые матроны на том удивительном греко-украинско-русском языке, который составлял особенность Таганрога. Они никак не могли прийти в себя: танцмейстер Врондн здесь, среди их сыновей и дочек!

Вдруг из двери классного помещения с надписью «Физический кабинет», где хранились испорченная электрическая машина и разбитый аквариум и где сейчас был устроен буфет, показался Знаменский. Директор держался на ногах подчеркнуто твердо, шагал, как на параде, и сильно размахивал правой рукой.

— Оркестр, прекрати! — скомандовал Знаменский.

Капельмейстер испуганно постучал палочкой о пюпитр, солдаты-музыканты еще с полминуты несли какую-то чепуху и замолкли. Танцующие пары остановились.

К директору уже подбегал Павел Иванович.

— Где красота? — закричал Юлий Цезарь.— Я вас спрашиваю: где красота?

— Ваше превосходительство! — шепотом урезонивал его Павел Иванович.— Ваше превосходительство!

— Нет! — надрывался директор.— Нет! Я не превосходительство, я — Юлий Цезарь! А красота осталась там... там! — Он простер костлявый палец вдаль: — В Древнем Риме, милостивые государи!

— Однако...— сказал полицеймейстер, сдавший испуганную миллионершу с рук на руки супругу.— Однако...

— Вздор! — оборвал его Знаменский.— И однако — тоже вздор. Ты... ты — неуч! А ну скажи, кто убил Юлия Цезаря? Не меня, а того... другого. Кто?

— Прошу мне не тыкать! — побагровел и затрясся Джапаридзе.

— Брут его убил, каналья Брут! — продолжал Знаменский.— Величайшего че-человека — и вдруг ножом. Какое хамство! Я этого так не оставлю! — закричал он и затопал ногами.

Гимназистки испуганно взвизгнули.

И тут, как принято говорить нынче, инициативу захватил Врондн. До этого момента он стоял неподвижно, горящими глазами следя за буйным директором. Смекнув, что этак вечер будет сорван и он, Врондн, уйдет не солоно хлебавши, старец стремительно, как юноша, подбежал к Знаменскому и возбужденно крикнул:

— Двадцать пьять рублей, господин женераль!

— Уйди, отщепенец Рима,— толкнул его директор.— Я знаю, ты с Брутом заодно!

— O, Santa Maria! — прорычал в отчаянии старец Вронди и замахнулся на директора тяжелой каской. Словно дожидавшийся этого жеста, Юлий Цезарь послушно рухнул на пол, успев выкрикнуть:

— И ты, Брут!..

— Я не Брутто, я — Энрико Вронди! — высокомерно возразил танцмейстер, топчась над повергнутым противником.— Меня зналь сам Антонио Чеков! Он писаль, что я великий музыкант, похожий на Оффенбахо! Оффенбахо никто не обманываль! Где мои двадцать пьять рублей?!

Директора унесли, наиболее почетные гости разъехались. Шульгин-Осетрина, весь красный от волнения, вручил Вронди собранные среди старшеклассников 15 рублей 40 копеек, и после недолгих переговоров танцы возобновились.





Чудо Иоанна Кронштадтского

С иекоторых пор крупный тагаирогский хлебиый экспортер Иосиф Ильич Бесчинский, небольшого роста старик с аккуратио подстрижеииой седой бородкой и карими, красивыми, как у женщины, глазами, приезжал на свою ссыпку расстроенный и молчаливый.

Он уже не приветствовал богатых ссыпщиков соленой шуткой, ои больше не заговаривал зубы мужичку, хмуро продающему по нужде припасеиный иа зиму хлебушек. Не радовал его алтыи скидки с пуда, которого добился в отчаянном торге старший приказчик.

— У хозяина жинка помирает,—шептались продавцы.

— Старуха при смерти,— рассказывали дома приказчики.— Душит ее болячка, глотать не дает!

И в самом деле, жизиь, видимо, покидала эту высокую статную старуху с тоикими и приятными чертами лица. Она целыми днями дремала в кровати и только тогда, когда в комиату входил ее муж, поднимала на него глаза, полные мольбы: «Спаси!»

Старик съеживался, стискивал руки и молился в душе.

Надежда была теперь только на бога: все пятеро таганрогских врачей — каждый порознь и все вместе — объяснили Бесчинскому, что у Иды Натановны рак пищевода. Это сказал на консилиуме щеголеватый врач с черными вьющимися бакенбардами, грек Диварис; это подтвердил степенный и важный доктор Лицын, это же сказали и остальные — Шимановский, Вреде и молодой, еще с замашками студента, Любович.

Был еще один врач, к которому Бесчинский возил больную жену. Звали его Антон Павлович, а фамилия его была Чехов. Говорили, что он писатель, но не это привлекло Бесчинского, который ничего не читал, кроме местной газеты «Таганрогский вестник». Впрочем, именно в этой газете он вычитал короткое сообщение о приезде в Таганрог «довольно известного автора рассказов и комедий». Главное тут было не в рассказах и комедиях, а в том, что приезжий был врач, притом прибыл он из Москвы, стало быть, его следовало отнести к врачам столичным. Может быть, столичный врач даст какое-нибудь новое, модное лекарство против недуга Иды Натановны?..

В те дни июля 1899 года она еще не лежала пластом. Из старомодного экипажа, называвшегося здесь «дрожки», она, хоть и поддерживаемая под руку мужем, вышла довольно бодро. Ее тоже тешила перспектива полечиться у столичного доктора.

Хозяин гостиницы «Бристоль» Багдасаров, толстый мрачный старик, встретил знатных гостей у дверей. Все таганрожцы знали, что у Багдасарова брат-близнец; оба старика были на одно лицо, почему здесь десятилетиями бытовала шутка — при встрече с одним из близнецов шутники спрашивали:

— Это вы или ваш брат?

Бесчинскому было не до шуток. Он лишь попросил показать номер, в котором остановился Чехов. Багдасаров, задыхаясь от жира, молча проводил его к двустворчатым дверям. Из-за поворота коридора с любопытством выглянул второй Багдасаров, для довершения сходства одетый, как и первый, в черный сюртук и полосатые брюки.

Бесчинский деликатно постучал согнутым пальцем. Послышался басовитый негромкий голос:

— Войдите!

Узнав о цели визита этих двух старых людей, Чехов очень вежливо и чуть смущенно сказал, что он ведь не практикующий врач, и посоветовал положиться на мнение здешних докторов или повезти больную в Харьков к профессорам. Тогда Бесчинский попросил посмотреть его жену «так», ну по доброте, что ли.

Чехов вздохнул и задал замершей от страха Иде Натановне несколько вопросов, касающихся ее болезни. Что-то мешает глотать? Точно ком в горле?

Решительного мнения Чехов не высказал, но еще раз, и уже более настойчиво, посоветовал повезти больную в Харьков к тамошним светилам. Казалось, он не счел ее безнадежной.

— Остановитесь в Астраханской гостинице,— заботливо порекомендовал он Бесчинскому,— там тихо и спокойно.

— Спасибо,— сказала Ида Натановна, подымаясь.

Ее муж молча низко поклонился Чехову и взял под руку жену.

Однако в Харьков им поехать не довелось. Уже назавтра больной стало значительно хуже. Она больше не глотала твердой пищи. Ее стали кормить молоком и сладким чаем. Доктор Диварис порекомендовал было покупать у хохлушек кипяченые сливки, но старик Бесчинский с негодованием отвернулся: это был «трейф» — запрещенная еврейским каноном пища.

Ида Натановна страдала и таяла на глазах. Вечером ей сделали укол морфия, и она забылась. Бесчинский вышел на цыпочках в столовую, где его уже давно поджидал старинный приятель — бакалейщик Чуйко.

— Шо я вам кажу, сосед,— заторопился Чуйко, с жалостью глядя на измученное лицо Иосифа Ильича.— Хотите, кажу, выходить свою Идочку?

— Ну? — спросил Бесчинский.

— Не «ну», а шлите, сосед, эстафету до самого батюшки Иоанна Кронштадтского, нехай помолится!

— Ерунда,— сказал Бесчинский, но подошел ближе. Он, конечно, хорошо знал все, что рассказывали о протоиерее Андреевского собора в Кронштадте, отце Иване

Сергееве, известном больше под именем Иоанна Кронштадтского.

О «чудесах Иоанна Кронштадтского» шептались просвирни и громко говорили в черносотенно-церковных кругах. Сначала речь шла о необыкновенных и чудодейственных беседах отца Ивана с больными — припадочными, кликушами, слепыми и хромыми. Отец Иван, утверждали его поклонники, возлагал руки на головы страждущих, и те мгновенно исцелялись: хромые уходили не хромая, слепые снова видели, немые поступали запевалами в церковный хор.

В дальнейшем протоиерей Сергеев перешел, ввиду наплыва клиентов, к заочному лечению. Это уже были, так сказать, чудеса высшего сорта: из отдаленных городов отцу Ивану слали в Кронштадт телеграммы с просьбой о чуде. Практикой был даже выработан стабильный текст такого обращения: «Молитесь за здравие раба божия Андрея, Петра, Ивана». Одновременно заочный претендент на чудо делал телеграфный же перевод на имя священника Ивана Сергеева в сумме ста рублей: это была установленная чудотворцем такса-минимум.

Справедливость требует отметить, что врачеватель не повышал гонорара в зависимости от тяжести заболевания. Шла ли речь о пустяковом суставном ревматизме или о грозных припадках грудной жабы — безразлично: сотенный билет служил ордером на очередное чудо. Получив телеграмму и перевод, отец Иван отвечал без промедления: «Молюсь».

И дело было сделано! Умирающий хотя и умирал в положенное ему время, но с уверенностью, что вот-вот ему станет лучше.

Старик Бесчинский относился к этим рассказам скептически. Помимо свойственной людям торговой профессии недоверчивости, в нем говорило и другое чувство: как-никак, а вот уже пятнадцать лет он выполнял в еврейской общине обязанности «общественного» раввина, и ему решительно было не к лицу верить в чудеса служителя другой религии. Но страдающий человек всегда не прочь поверить в чудо. Доктора сказали: «Она умрет от истощения и разросшейся опухоли не позже чем через несколько дней». Они уже ни на что не надеются. А что, если этот Иоанн Кронштадтский и в самом деле поставит бедняжку на ноги? В священном писании немало приме-

ров удивительных превращений и чудесных дел. Черт его знает, а может быть, и в самом деле Иоанн Кронштадтский святой и чудотворец?!

— А как ему послать телеграмму? — отрывисто спросил Бесчинский.

— Да в Кронштадт же! — обрадовался Чуйко.— Его, святого отца, там каждая собака знает.

Уже через час телеграмма «Молитесь за рабу божью Иду» и телеграфный перевод на сто рублей были посланы. К вечеру больной стало заметно хуже: она беспрестанно икала и хваталась за горло руками. Все пятеро врачей были вызваны в дом, и они, после недолгого между собой совещания в дальней комнате, пригласили Бесчинского. От имени консилиума доктор Диварис объявил дрожавшему мелкой дрожью Бесчинскому, что, повидимому, опухоль почти совершенно закрыла пищевод у выхода в горло. «Теперь развязка уже близка»,— со вздохом сказал Лицын.

Врачи обещали навестить больную завтра и ушли. А Бесчинский вернулся в спальную и опустился в кресло рядом с кроватью жены. Он закрыл лицо руками и стал раскачиваться взад-вперед — библейская поза отчаяния.

Ида Натановна лежала, тяжело дыша, и смотрела в одну точку.

— Иосиф,— сказала она под утро чуть слышным голосом,— я хочу жить.

— Ты будешь жить, Ида,— сказал Бесчинский, глотая слезы,— ты будешь жить сто двадцать лет.

— Я хочу тебя о чем-то просить,— прошелестел голос умирающей.

— О чем ты хочешь меня просить? — воскликнул старик, уже не сдерживая слез.

— Если я все-таки умру, ты должен что-нибудь сделать для бедных. Ах, мы жили с тобой неправедно, Иосиф!

— Неправедно,— плача, повторил Бесчинский.

Он схватил себя за ворот рубахи и разорвал ее до пояса. В этот момент дверь открылась и вбежала стряпуха Акулина, шлепая по полу босыми ногами.

— Телеграмма! — взволнованно сказала она, протягивая хозяину аккуратно сложенный листок.— Двадцать копеек я рассыльному дала, не забудьте, барин.

Бесчинский развернул листок и, далеко отведя его от глаз, прочел вслух:

— «Молюсь. Отец Иоаин».

— Что такое? — спросила умирающая.

— А то такое,— радостио сказала добродушная Акулина,— что будете вы, барыня, здоровенькая. Доктора от вас отказались, зато святой батюшка за вас молится, его молитва доходчива.

— Что? Врачи отказались? — с ужасом сказала Ида Натановна.

Бесчинский, бросив иа Акулину испепеляющий взгляд, объясиил жене, что «на всякий случай» он послал Иоаину Кроиштадтскому просьбу об исцелении. Больная задышала чаще, тяжелее. Бесчинский вскочил и с испугом склонился иад постелью. Он увидел, что вены на лбу Иды Натановны напряглись и набухли.

— Зиачит, я и в самом деле умираю,— сказала она неожидаиио громко и сердито,— зачем же вы мне морочили голову?!

— Ну-ну! — прошептал в отчаянии Бесчинский.

В пять часов вечера врачи сошлись у подъезда особняка Бесчинского.

Перед тем как позвоиить, оии постояли в нерешительности, опасаясь, что застанут больную уже мертвой,— мысль, которая нередко тревожит врача у дверей пациента. Однако наметанным глазом оии не заметили вокруг печальных знаков смерти, посетившей дом: у ворот не суетились люди, ие входили и не выходили беспрестанно из незакрывающихся дверей. Да и дверь была, как обычно, иа запоре.

Доктор Диварис, вздохнув свободней, выпростал бакенбарды из-под поднятого воротника пальмерстона и нажал кнопку. На звонок вышла Акулина и, всплеснув руками, выкрикнула, захлебываясь от переполнивших ее чувств:

— А у нас что!..

Диварис, а за ним остальные врачи попятились. Но у Акулииы был такой радостный и возбужденный вид, что мысль о катастрофе следовало оставить. Врачи смело вошли в квартиру.

Навстречу им, ведомая под руку мужем, шла Ида Натановна с торжествующей и радостной улыбкой.

— Она только что покушала мясной соус с чериосли-

вом,— весело крикнул Бесчинский,— и глотала так же хорошо, как мы с вами!

— Я совсем, совсем выздоровела,— сказала Ида Натановна, смеясь и плача одновременно.

«Но ведь у нее — рак, полная непроходимость пищевода, как же она может глотать?» — ужаснулся про себя Диварис.

— Я же говорил, что вы поправитесь,— пробормотал он, опускаясь в изнеможении на стул.

— Выпейте, коллега, воды,— сдавленным голосом сказал ему Лицын и, быстро налив из графина стакан воды, сам выпил залпом.

Супруги Бесчинские, перебивая друг друга, рассказали всю историю посылки телеграммы Иоанну Кронштадтскому и о его ответе, смертельно напугавшем больную.

— Я почувствовала, что у меня внутри все оборвалось, когда он прочел «молюсь»,— объяснила с томной улыбкой Ида Натановна.— Вы ведь понимаете: если раввин просит русского священника составить к богу протекцию, значит, дело мое плохо. Я так испугалась, так испугалась...— словоохотливо продолжала бывшая умирающая,— и вдруг этот проклятый ком, который стоял у меня в груди, куда-то девался!..

Она говорила еще очень долго и даже, чтобы наглядно убедить врачей в своем выздоровлении, велела Акулине подать себе вареную курицу и съела ее почти целиком.

Не проронив ни слова, врачи откланялись и вышли на улицу. Несколько шагов они прошли по-прежнему молча, потом самый молодой и, должно быть, плохо воспитанный доктор Любович вдруг расхохотался и сказал:

— А ведь, коллеги, мы приняли истерический спазм пищевода за раковую опухоль! Непроходимость получилась от спазма, а не от рака.

— А почему же этот идиотский спазм вдруг прошел? — сердито спросил Лицын.

— Да потому, что все равно он скоро прошел бы. А тут эта телеграмма, испуг, потрясение — «отпустило», и спазма как не бывало.

Любович помрачнел. Он вдруг сообразил, что сразу же добился бы известности, прояви он вовремя находчивость.

— В другой раз не буду прислушиваться к... рутине-

рам,— сказал Любович сквозь зубы. Но никто не обиделся.

— Глупейшая история,— вздохнул доктор Диварис.— Вам куда — налево? Я — направо.

— Иосиф,— сказала мужу Ида Натановна после ухода врачей,— я все-таки хочу, чтобы ты что-нибудь сделал для бедных, ты обещал.

— Ах, оставь,— отмахнулся Бесчинский,— ты же не умерла, при чем тут «обещал»?

Он крикнул в открытое окно, выходившее во двор:

— Пошлите мне приказчика!

И, не глядя на жену, пробормотал несколько нетвердым голосом:

— Ужасно я запустил дело. Интересно, что слышно у меня на ссыпке?





Консул республики Эквадор

Греческий мужской монастырь, старинное мрачное здание с большим подворьем, был основан в Таганроге богатым греком Варваци.

Против монастыря в центре площади стоял за чугунной оградой памятник «Александру Благословенному» работы Мартоса. У ног чугунного императора крылатые ангелы символизировали «ангельский характер» Александра Павловича, который, как известно, «всю жизнь провел в дороге и умер в Таганроге».

В пасмурный ноябрьский день 1825 года набальзамированное тело умершего царя, перед отправкой в Петербург, ненадолго перенесли в монастырскую церковь. Гнусавый монашеский хор пропел приличествовавшие обряду печальные песнопения.

С того дня прошло много десятилетий. Но седобородые настоятели никогда не забывали в пышных посланиях к щедрым жертвователям упомянуть о прощальном визите, нанесенном монастырю умершим императором. А со временем дело было повернуто уже таким образом,

что за монастырской оградой будто бы похоронены сердце и желудок царя.

Доброхотные приношения купечества текли в монастырскую кассу неиссякаемым ручьем.

За полукруглым, подковой, фасадом вмещались десятки келий, тесных, душных, с одним узким окном каждая. Послушники и монахи попроще, из беглых греческих солдат или матросов, жили в келье по двое и по трое. Монахи пообразованнее, а тем более немногочисленные иеромонахи, то есть монашествующие, имевшие одновременно и священнический сан, располагались комфортабельно, по одному.

Иеромонаху отцу Даниле было тогда года тридцать два. Его черная, слегка курчавившаяся борода мягкими волнами спадала на шелковую рясу. Длинные кудри вились до широких размашистых плеч. Черный цилиндрический клобук увеличивал и без того молодецкий рост отца Данилы.

В монастыре он появился незадолго до первой мировой войны и, снискав за короткий срок своим веселым, общительным нравом множество знакомых и друзей, сделался желанным гостем в именитых домах.

Богатые греки потчевали его многослойной баклавой и приторным вареньем из роз, армяне — сухим сладким и душистым печеньем — «курабья». Студентов и мелких служащих он сам угощал в своей келье, всегда заводил при этом острый разговор о царском режиме...[1]

Перебирая кипарисовые четки, висевшие у пояса, монах приветливо улыбался красиво очерченным ртом с всегда влажными ярко-красными толстыми губами; в его больших карих глазах пряталась хитринка.

Робея в суровых монастырских стенах, почтенные биржевые маклеры и негоцианты, а за ними и их сынки входили в монашескую келью, оглядываясь по сторонам и ожидая увидеть голые доски вместо кровати и ту самую таинственную власяницу, о которой слыхали в школе и при помощи которой, как известно, святые изнуряли свою бунтующую плоть.

[1] Монах Данила, как выяснилось после революции, был платным агентом охранки. Впервые заподозрила это группа молодежи, к которой принадлежал и автор.

Но не было досок и не было власяницы. В келье стояла широкая кровать с высоко взбитой периной и несколькими большими пуховыми подушками. Вышитый коврик висел на стене у кровати. Множество красочных открыток, прибитых над изголовьем, говорили о художественных наклонностях хозяина кельи. На открытках были изображены пышные развалины Афин, портреты королей и премированных красавиц. У окна стоял ломберный стол, обычно занимавший немного места, но заполнявший полкомнаты, когда его раздвигали и приводили в боевую готовность и когда вокруг усаживались азартные картежники.

Карточная игра в келье началась с невинного преферанса, затеянного однажды, по просьбе гостей. По-видимому, совершенно случайно у отца Данилы нашлась новенькая колода карт. Мало-помалу келья Данилы стала излюбленным приютом для картежников, опасавшихся слишком широкой огласки своей страсти или по каким-либо другим причинам избегавших посещения игральных комнат Коммерческого клуба. С начала первой мировой войны игра пошла особенно крупная: у таганрогских дельцов завелось много лишних денег.

В пасхальную ночь 1916 года в келье греческого монастыря, как и еженощно, играли в «девятку»; банк с неизменным счастьем метал отец Данила, которого таганрожцы, любившие прозвища, уже называли «Патер».

Иеромонах сидел за широко раздвинутым столом, красный, потный, с всклокоченными волосами. Закатав высоко рукава шелковой рясы и оголив волосатые руки с мощными бицепсами, Патер метал банк: в левой руке он держал толстую, сдвоенную или даже строенную колоду карт, а правой сдавал по одной карте — партнеру, себе, снова партнеру и снова себе. Потом колоду клал на тарелку и, обеими руками схватив свои две карты и близко держа у глаз, медленно вытягивал одну из-под другой.

Вокруг сидели, стояли, тяжело дыша, «мазильщики» и с острым нетерпением следили за руками банкомета, выжимавшего «очки». Увы! Резким движением, рождавшим в партнерах отчаяние, отец Данила клал на красное сукно стола свои карты с торжествующим возгласом:

— Девять!

— Где ты, Данилка, покупаешь карты? — ехидно спрашивал высокий студент-юрист Миша Шнейдеров, проигравшийся в прошлый раз дотла и сегодня присутствовавший просто из любви к делу.

Не отвечая, отец Даннла, подняв полу рясы, совал выигрыш в бездонные карманы подрясника.

За окном стояла темная весенняя ночь. Одинокий фонарь в скверике напротив монастыря мигал на резком ветру. Сквозь закрытые ставни в келью доносились с улицы голоса, изредка слышался приглушенный девичий смех.

Колода в руках отца Даннлы продолжала свое опустошительное шествие от партнера к партнеру.

— Сто в банке! — объявил Патер.

Все зашевелились. Федя Красса, скромный служащий частного коммерческого банка, положил на стол последнюю трешницу, которую перед тем долго сжимал в потной от волнения руке. Триста рублей наградных, так неожиданно, так волшебно перепавшие ему от самого министра финансов, на этой трешнице кончались.

Оказавшись в Таганроге проездом, министр Коковцев посетил здешний Азовско-Донской коммерческий банк. Директор банка, старый грек Хордалло, страдавший эпилепсией, временно исполнял также и обязанности директора Донского земельного банка, помещавшегося в первом этаже здания. От скуки сановник пожелал, чтобы ему представили служащих обоих банков. Чиновники заходили по одному в кабинет Хордалло, который, завидя очередного работника, бубнил под нос:

— Нашего банка...

Или:

— Земельного банка...

Директор беспокойно ерзал в кресле, каждую минуту ожидая, что шествие чиновников оборвется. До слуха его дошло, что кое-кто из банковской молодежи агитирует против этого «парада-алле», якобы оскорбительного для их человеческого достоинства.

Министра клонило после сытного завтрака ко сну. Он рассеянно жал руку очередному чиновнику, прислушиваясь к нараставшей после паюсной икры изжоге.

Вошел Федя Красса, высокий лысеющий молодой человек, с тусклыми глазами и с огромиыми усами, закручеииыми бубликом. Непомерио большие усы, шевелившиеся иа глупой Федииой роже, как живые, вывели министра из дремы. Он явственно услышал слова директора Хордалло:

— Красса — иашего банка.

Мииистр оживился и долго жал руку ошеломлениому Феде:

— Такой молодой — и уже краса банка! Поздравляю, поздравляю.

Усатому Феде по распоряжению министра выплатили наградные. И вот теперь эти триста рублей, свалившиеся с неба, попали в кармаи к Патеру.

«А вдруг отыграюсь?» — с иадеждой подумал Красса, следя за тем, как мечет новую талью отец Данила.

Дверь скрипнула, и в келью вошел старый моиах. Положив уставный поклои, он сказал что-то отцу Даииле по-гречески. Одновременно иа колокольие моиастыря ударили к заутреие. Басом заговорил тяжелый колокол, весело вторили ему переливчатым звоном колокола поменьше.

Патер воскликнул с досадой, швырнув карты иа стол:

— Отец Паисий заболел, придется мие слузить пасхальную заутреию!

— Ты, Данила, там не тяни...— взмолились проигравшие.— Поскорее возвращайся!

Отец Даиила иадел перед зеркалом клобук и молча вышел. Старый монах, скорчив уморительиую рожу, подмигнул игрокам и ушел следом.

Студеит-юрист и бледиый молодой человек в визитке, ие сказавший за весь вечер ии одиого слова и только молча проигравший Патеру все ставки, прииялись, ие сговариваясь, лихорадочио рыться в колодах, рассыпаииых по столу. Оии считали и виовь пересчитывали карты. Остальные игроки, поняв, к чему клоиится дело, следили за ними, ие отрывая глаз. Федя Красса исступлеиио молился в душе: «Господи, дай, чтобы ои оказался шулером. Господи, дай!»

— Все правильио, лишиих карт нет,— разочарованио сказал иакоиец студеит, вставая.

— Краплеиых тоже нет,— подтвердил со вздохом молодой человек в визитке,— игра велась чистая.

«Я пропал!» — с отчаянием подумал Красса.

В этот момент в келье появился новый гость: неправдоподобно худой человек самоуверенного вида. Лысая голова его походила на сплюснутую по бокам тыкву, узким концом вниз. Нездоровая желтизна лица усиливала сходство. Это был Гирейханов, адвокат по паспорту, ловкий биржевой делец по профессии.

Игроки почтительно поздоровались с новым гостем.

Гирейханов числился консулом южноамериканской республики Эквадор, хотя едва ли представлял ясно, где она находится. Удивляться этому странному назначению не следовало: ради того, чтобы написать на своей визитной карточке пышное слово «консул», местные богатые негоцианты не жалели денег. Затраты с лихвой окупались укрупнением банковского кредита и перспективой прибить к двери своего особняка массивный геральдический герб иностранного государства.

Почетное назначение выхлопотала Гирейханову его приятельница, жена директора-распорядителя таганрогского кожевенного завода мадам Плиснье. Она не хотела, чтобы ее муж кичился перед другом ее сердца своими консульскими регалиями: ведь мосье Плисные был не только директором завода, но и бельгийским консулом.

Консульские обязанности не слишком обременяли директора завода, хотя подавляющее большинство инженеров и техников были здесь бельгийскими подданными. Все они, не в пример русским служащим, получали огромные оклады; уже дважды кое-кто из их среды доносил о готовящейся забастовке и выдавал зачинщиков, заслужив уважение начальства. В защите консула никто из них не нуждался. С этой стороны для мосье Плиснье особых забот не было. А что касается завода, то Гирейханов сделался там своим человеком. Огромное по тем временам жалованье — тридцать шесть тысяч рублей в год — по-прежнему получал дряхлевший директор-распорядитель Плиснье, но фактически распоряжался его именем уже Гирейханов, наживший на дефицитнейшей подошвенной коже огромное состояние. Рабочие прозвали Гирейханова «гадючьей глистой»...

В монастырской келье тощий король кожи чувствовал себя, по-видимому, как дома. Пальто и шляпу он сбросил на постель Патера.

— Где Патер? — спросил он, ни к кому в отдельности не обращаясь.

— Служит заутреню,— подобострастно доложил Федя Красса. Он лелеял в душе смутную надежду выпросить у богатого байковского клиента трешницу и, как говорили игроки, «раздуть кадило».

— Хорошо быть монахом,— вздохнул с искренней завистью молодой человек в визитке, тасуя карты,— и в очко им везет, и в армию их не берут.

— Вас ведь тоже не берут,— процедил сквозь зубы Гирейханов.

Молодой человек вздохнул еще раз.

— Меня не берут, но за это у меня берут...— мрачно пробормотал он себе под нос.

— Одолжите пять рублей! — умоляюще зашептал на ухо Гирейханову Федя Красса, воспользовавшись тем, что в игре наступила пауза.— Ей-богу, отдам, Карп Емельянович!

— Где же Патер? — с беспокойством снова спросил Гирейханов, отмахиваясь от Феди.

— Он нарочно заутреню тянет! — раздались голоса.— Обыграл нас — и не хочет возвращаться. Безобразие!

Но отец Даниил уже входил в келью. Швырнув клобук на кровать, он с веселой, радушной улыбкой приветствовал гостя.

— Добрый вецер, добрый вецер,— говорил он, обеими руками пожимая костлявую ладонь Гирейханова,— калиспера, Карп Емельянович!

— Калиспера, калиспера,— морщась от боли, хлипкий Гирейханов с трудом выдернул руку из медвежьих лап монаха.— Есть с тобой, Патер, разговор.

— А когда же мы будем играть? — взволновались партнеры.— Что такое? Скоро и по домам пора!..

Действительно, щели закрытых ставен уже побелели. Вдали заиграла гармонь; кто-то запел пьяным голосом. Праздничное утро уже началось.

— Сейчас, сейчас,— говорил Гирейханов.

Он встал и, отведя Патера в сторону, зашептал:

— Слушай, Данилка, можно тут у вас положить на некоторое время кожу? Не много, один вагончик. А?

— Мозно,— быстро ответил Патер, сразу посерьезнев. Он облизнул толстые красные губы.

— А где ты ее спрячешь? — озабоченно спросил Гирейханов.— Имей в виду, это — подошва. Запах!

— Спрячу в подвале. Надолго?

Гирейханов подумал.

— На несколько дней. Процентов на пятьдесят вскочит в цене — и ладно. Тебе — половина разницы.

— А настоятель?

— Хватит и тебе и настоятелю.

— Хоросо,— твердо сказал Патер, протягивая руку.

Карп Емельянович горячо пожал ее.

Гирейханов переживал за последние месяцы весьма тягостное чувство коммерсанта, убеждающегося в необыкновенной убыточности всех его прибыльных дел. Он продавал кожу по сто рублей за пуд против десяти, которые он платил в кассу завода, но через неделю кожа на рынке стоила двести. Царской армии требовалось много подошвы, а производилось ее на заводах слишком мало. Гирейханов продавал следующую партию по двести рублей, но через пять-шесть дней ему самому спекулянты предлагали кожу по четыреста. Оказывалось, выгоднее было не продавать товар, припрятать, придержать подольше, содрать побольше. С другой стороны, у Гирейханова были особые, так сказать, специальные причины торопиться вывезти с завода «купленную» кожу. Мысль использовать под тайные склады обширные монастырские подвалы, где бы в тиши, подальше от любопытных и недобрых глаз, без всяких усилий зрели ото дня ко дню огромные прибыли, осенила дельца. Он поспешил в монастырь...

Обнявшись, как братья, Патер и консул республики Эквадор подошли к карточному столу, где их с нетерпением поджидали игроки. Гирейханов бросил пятирублевую бумажку просиявшему Феде Красса. Не желая отставать, отец Данила дал ему вдвое. Игра началась заново.

На этот раз наряду с Патером фаворитом игры оказался Федя. Патер выигрывал ставки у всех; особенно

иещадно ои бил карты Гирейхаиова. Но, в свою очередь, монах неизменио проигрывал усатому Феде.

Через полчаса, спустив все наличные деньги, Гирейханов играл уже на свою долю в предстоящей «разиице» в ценах вагона подошвеииой кожи. Впрочем, такие ставки принимал от него один Патер, остальиые вежливо, ио твердо признавали лишь наличность.

— Пять процентов моей доли в прибыли,— миогозиачительно шептал Гирейхаиов отцу Даниле.

Патер кивал головой в знак согласия, сдавал себе и Гирейханову карты, подносил их к глазам, осторожио раздвигал и затем со стуком опускал иа стол руки ладоиями вверх.

— Девять! — Потом ои поворачивался к Феде Краса.— В банке тысяча! — говорил ои, вытаскивая из кармана деньги.

— Крою,— неизмеиио отвечал Федя сдавлениым от волнения голосом.

Ои давио отыграл свои триста рублей и уже сам не знал точиого счета выигрыша. Перед ним лежали смятые пачки кредиток.

Патер иеувереииой рукой сдавал карты, с тоской ожидая иеудачи. Ои ие ошибался: Федя забирал у иего ставку за ставкой...

Игра теперь шла, по сути дела, только между Патером, Гирейхановым и Федей.

— Пять процентов разницы,— поспешно сказал коисул: ему показалось, что иа этот раз баикомет Патер обходит его картой.

— Нету, эмаста, процентов, иету разницы,— вежливо отозвался моиах, утешая сам себя мыслью, что если он проиграл иаличные деиьги, зато выиграл всю будущую прибыль от крупного и абсолютио надежного предприятия.

— Как иету? — испугаиио спросил Гирейхаиов.

— Нету! Ни одного твоего процента нету, все теперь у меия!

— Ну, это мы еще посмотрим,— вдруг сказал с откровенной иаглостью консул Эквадора, вставая и с шумом отодвигая стул.

— Поцему посмотрим? Зацем посмотрим? — загремел

отец Данила, вскочив в свою очередь и бросив на стол карты, разлетевшиеся веером.

Назревал, по-видимому, скандал. Федя испуганно сгреб свои деньги и с лихорадочной поспешностью стал рассовывать по карманам. Спотыкаясь, он бросился наутек. Партнеры взялись за шапки.

— Неудобно, неудобно,— озабоченно говорил Гирейханов, подвигаясь к двери,— святое место, монастырь, и вдруг — в подвалах какая-то кожа, спекуляция... Что скажут у нас, в Эквадоре?

Огромный, грузный монах легко, как мальчик, подбежал к коварному гостю, однако «гадючья глиста» увернулся с неожиданной ловкостью и оказался уже за дверью.

— Безобразие! В святую ночь в карты играет. Хорош монах! — донесся из гулкого коридора его удаляющийся голос.

Отец Данила застонал от ярости. Он понял, что консул республики Эквадор пошел искать другой приют для своего драгоценного товара, источающего сладостный аромат крупного денежного куша...

Гирейханов искренне презирал не только таганрожцев, как жалких провинциалов, но и Таганрог. «Что это за город, в котором нет даже порядочного кафешантана?!»

Таганрожцы представлялись ему смешными, отставшими от жизни людьми, не слыхавшими о настоящей жизни, когда мужчины даже спят во фраке и все сплошь разочарованы в любви.

Консулу было уже за сорок, он высох, как мумия, но и он мечтал. Мечты его были о богатстве, сказочно огромном богатстве.

Гирейханов шагал по щербатому тротуару вдоль молчаливых одноэтажных особнячков и вспоминал обманутого им Патера с насмешкой: «Не будь простофилей!» Но сейчас это — в сторону, сейчас надо найти верное пристанище для все той же подошвенной кожи. Да, прибыль прибылью, а товар надо было вывезти со склада немедленно: в городе становилось неспокойно, рабочие «бунтовали». Чего уж лучше? Большевистская группа завода,

эвакуированного сюда из Прибалтики, выпустила листовки:

«Уже третий год тянется кровавая бойня, никому не нужная, кроме заводчиков и прочих пиявок, присосавшихся к народу...»

А вчера на кожевенном заводе неизвестной рукой листовка была наклеена на стене проходной, а рядом с ней — довольно похожая на Гирейханова карикатура с надписью: «Вот это самая гадючья глиста и есть. Ему война на пользу!»

«Еще, чего доброго, подожгут склад или воспрепятствуют вывозу! — с тревогой думал Гирейханов, покинув негостеприимные монастырские стены.— С Патером не вышло, должно выйти в другом месте, и как можно скорее!»

Не доходя до базарной площади, Гирейханов свернул в переулок и вскоре вошел в один из дворов. Теперь его мысль работала в новом направлении: «Если на то пошло, кожу надо спрятать не у жадных монахов, а на квартире у кого-нибудь из заводских рабочих, многосемейных. Эти сговорчивее!»

Гирейханов решил пойти к рабочему Дроздову: «Забастовщик, но у него, говорят, чахотка, а семья — самшёст. Не может не нуждаться и, конечно, легко клюнет на выгодное предложение!»

Жена Дроздова стирала во дворе, забыв, должно быть, что сегодня праздник. Увидев дружка директора завода, приближающегося к ней развинченной походкой, она от удивления застыла, склонившись к корыту и не отрывая сурового взора от «гадючьей глисты».

— Христос воскресе! — сказал Гирейханов, приподнимая шляпу.

— Алеша! — крикнула женщина и снова принялась стирать.

Тотчас на крылечко вышел Дроздов, небольшого роста человек, в пиджачке и в черных брюках, заправленных в сапоги. Он еще улыбался веселым детским голосам, раздававшимся из комнаты.

Увидев гостя, Дроздов помрачнел.

— Вы ко мне? — спросил он.

— Да, к вам,— небрежно сказал Гирейханов,— шел, знаете ли, мимо и решил проведать. Все-таки что ни говори, а свои люди, вместе служим!

Дроздов удивленно переглянулся с женой.

— Что же, спасибо,— вежливо ответил он.

«И не пригласит в квартиру... хам!» — со злостью подумал консул.

— Может быть, пройдемтесь? — он дружески взял нелюбезного хозяина под руку и пошел с ним в глубь двора.— Это ваш сарай? — спросил он, ткнув пальцем в сторону деревянного сарая с дверью, подпертой снаружи железным ломом.

— Мой,— удивился Дроздов.— А вы что же, интересуетесь сараями?

— Отчасти. Дело, видите ли, в том, что... словом, вам повезло, Дроздов. Я хочу поддержать вас и вашу семью и...

Гирейханов почему-то потерял обычную самоуверенность и заторопился, хотя Дроздов слушал его не перебивая.

— ...поместить у вас на некоторое время партию подошвенной кожи. О, конечно же не бесплатно, я не жадный!

Гость подмигнул.

— Что вы скажете о десяти процентах той разницы в цене, которая...

— Что? — тихо переспросил Дроздов.

— Десять процентов.

— Вот это вы уж напрасно, господин Гирейханов,— слегка изменившимся голосом сказал Дроздов.

— Если вы считаете, что десять процентов это мало, то я...

Но Дроздов принял странную и неожиданную тактику. Очень вежливо, но настойчиво подталкивая Гирейханова к воротам, Дроздов спокойно говорил:

— Напрасно, господин Гирейханов, очень даже напрасно.

Гость упирался и раза два даже брыкнул ногой в лаковой туфле. Ему был обиден и неприятен такой необычный способ обращения.

И все же очень скоро он оказался на улице, и калитка захлопнулась за ним.

...Солнце стояло уже высоко, прохожих заметно прибавилось. Мадам Сифнео, важная барыня, шла в церковь святить куличи в сопровождении толстой, усатой кухар-

ки, державшей в руках большую, тяжелую корзину, прикрытую белой салфеткой.

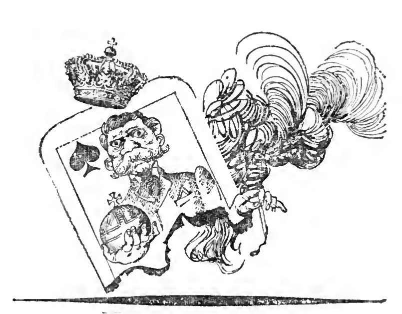
— Сто это? — испуганно вскрикнула мадам Сифнео, когда Гирейханов почти прыгнул на нее из калитки.— Сто это, мосье Гирейханов? Поцему вы бросаетесь на прохозих? Вас укусили?

— Миль пардон,— сказал с достоинством Гирейханов,— я выполняю свои консульские обязанности и не могу, к сожалению, объяснить, куда и откуда иду.

Он приподнял шляпу и, насвистывая, зашагал в сторону.

Настроение у него было прескверное.





Дворец Алфераки

Дворец, построенный купцом Алфераки, военным поставщиком русской армии в 1812 году, был и остается самым красивым зданием Таганрога. Зимний дворец в миниатюре: широкие монументальные двери, в которые можно въехать на тройке; стремящиеся ввысь окна, мраморные лестницы, двусветные залы, хоры; множество переходов и запасных комнат...

Спустя сто лет после постройки дом по-прежнему назывался в Таганроге «дворец Алфераки», хотя последний потомок поставщика камергер Михаил Николаевич Алфераки проживал в Петербурге, уже давно продав наследственный дом таганрогскому Коммерческому клубу.

Здесь, в нижнем зале с террасой, выходящей в большой сад, зимой устраивались танцевальные вечера, гремел на хорах оркестр, раздавалась команда распорядителей котильона. В соседних помещениях гостей привлекал буфет с горячительными напитками. А в задних комнатах шла азартная карточная игра в девятку. Мест-

ные греческие негоцианты, заезжие капитаны, офицеры таганрогской артиллерийской бригады из состоятельных и многие другие играли крупно.

В 1910 году за этим круглым столом красного дерева, сделанным еще руками крепостных столяров, местный молодой врач Д. И. Гордон проиграл в течение десяти минут санаторий с полным оборудованием и вполне на ходу. Дело было так: заезжий ремонтер ротмистр Буланов зашел вечером от нечего делать в клуб, сел за круглый «золотой» стол и заложил банк.

— В банке тысяча,— скучающим тоном провозгласил ротмистр и вынул из бумажника несколько крупных казначейских билетов. Толпившиеся за столом мазильщики почтительно переглянулись: в бумажнике было бумаг, по-видимому, на несколько десятков тысяч рублей. И в самом деле, ротмистру выдали для заготовки конского состава изрядный куш!

Победоносное движение по кругу рук банкомета, бьющего карту за картой, шло слева направо. Ротмистр обходил стол уже по второму разу. Подчиняясь закону геометрической прогрессии, ставка выросла гигантски.

— В банке восемьдесят тысяч! — стараясь оставаться равнодушным, провозгласил красный, как темляк на его палаше, ротмистр, обращаясь к очередному игроку — молодому врачу с черной бородкой. Это и был доктор Гордон, владелец и главный врач местного санатория для нервнобольных. Санаторий помещался в соседнем с клубом здании — прекрасном двухэтажном доме. Гордон брал за полный пансион и лечение неслыханно дорого: по десять рублей в сутки с персоны. Злые языки утверждали, что приютом в санатории пользовались не столько нервнобольные, сколько вполне здоровые влюбленные парочки из состоятельных. Так или иначе санаторий был популярен и славился, как вполне преуспевающее заведение.

— Ва-банк! — сказал Гордон перехваченным от волнения голосом. Он уже проиграл в этот вечер тысяч десять и был, как говорили игроки, «в запарке».

Ротмистр поднял на Гордона красные от прилива крови глаза и хрипло сказал: «Эклере!» — что значит «предъявите ваши деньги». Это было правом каждого игрока — требовать обеспечения ставки. Все же среди партнеров произошло некоторое движение: Гордон счи-

тался человеком со средствами. Впервые здесь, в клубе, он услышал такое обидное требование! Но Гордону было не до обиды.

— Ставлю свой санаторий! — поспешно объявил Гордон. Он опасался, что заезжий офицер потребует наличные, а кто же носит в кармане, разве кроме ремонтеров, такие суммы?!

— Санаторий? — ошалело переспросил офицер.— Какой санаторий?

Все кругом услужливо стали пояснять, что санаторий — вот он, рядом, из окон видно, и что он сто́ит уж во всяком случае не меньше, чем восемьдесят тысяч. Дотошливый ремонтер не поленился встать и посмотреть в окно. Высокое белоснежное здание произвело на него, видимо, отличное впечатление. Ему вдруг показалось, что стать владельцем санатория — это значит сразу превратиться из забубенной головушки в солидного и обеспеченного до старости человека.

— Идет! — крикнул ротмистр и дал карту.

Все, затаив дыхание, глядели на его выхоленные руки с короткими толстыми пальцами. Раз-два, раз-два. Партнеру — себе, еще раз партнеру, опять себе. Гордон судорожно схватил свои две карты, но ротмистр уже успел бросить на стол восьмерку и туза.

— Девять! — торжествующе крикнул он. Гордон побледнел, заглянул в свои карты, уронил их, и они, медленно планируя в воздухе, упали на пол. Все молчали.

— Когда прикажете получить? — спросил офицер, с беспокойством глядя на обморочное лицо доктора.

Все вокруг загалдели:

— Вы имеете дело с порядочным человеком, что такое! Завтра поедете к нотариусу оформить дарственную, вот и все! А сейчас оставьте доктора в покое!

Гордон и в самом деле нуждался в покое. Он встал и молча пошел прочь. Ротмистр засунул в карманы выигрыш и поспешил следом.

«Надо было наперед потребовать хоть расписку, что ли! — горестно думал ремонтер.— Что с него возьмешь, если окажется плутом!»

Офицер вышел на улицу. Он огляделся, доктора нигде не было. На пустынной в этот предутренний час Николаевской улице еще горели керосиновые фонари почти невидимыми огнями.

Летняя заря занималась. С моря дул прохладный ветерок и доносил соленый запах. Но ротмистру было не до поэтических наблюдений. Его грызло опасение упустить свой выигрыш. Он поплелся в гостиницу, в сотый раз упрекая себя за неосторожность.

А в восьмом часу в его номере сидел высокий и красивый старик с патриаршей бородой, отец доктора, известный в городе ростовщик и богач, и вел разговор с офицером, так и не ложившимся спать:

— Вы хотите получить выигрыш. Хорошо. Вы хотите, чтобы мой сын переделал санаторий на вас. Отлично! Но, может быть, вы не знаете, что санаторий юридически принадлежит мне? Нет, не надо падать в обморок, это же факт. Словом, хотите пять тысяч наличными в обмен на вашу расписку о получении восьмидесяти? Нет? Тогда до свиданья. Я с вами на санаторий не играл и отдавать его не собираюсь. В суд? Идите в суд, вас там засмеют. Ну хорошо, если вы такой жадный, хотите шесть тысяч? Последнее слово — шесть с половиной! Ну?

— Восемь,— блеющим голосом сказал ротмистр. У него впервые в жизни кружилась голова.

— Семь, и ни копейки больше. Имейте в виду, я могу раздумать. И что вы тогда, господин офицер, будете делать, а?

Кончили на семи с половиной. Старик полез в нагрудный карман длинного сюртука, вытащил толстенный бумажник, послюнявив пальцы, отсчитал семь с половиной тысяч рублей и выждал, пока зеленый от злости ротмистр написал расписку о получении от доктора Гордона в полное покрытие выигрыша восьмидесяти тысяч рублей. Взяв расписку, аккуратно положив ее в бумажник и спрятав его, старик с явным презрением бросил на стол деньги и, не прощаясь, повернулся к двери.

Вернувшись домой, он сказал трепещущему сыну-доктору, что уплатил за расписку десять тысяч и взял у ротмистра вексель на одиннадцать тысяч сроком на год. Доктор был вполне платежеспособен в пределах такой суммы!

Много былей и небылиц, связанных с азартной карточной игрой, возникло в этих стенах. Среди местных легенд мне запомнилась история сгоревшей паровой мельницы — той самой паровой мельницы, стоявшей по доро-

ге между Таганрогом и дачной местностью Карантин, которая упомянута в рассказе Чехова «Огни»:

«В версте от Карантина стоит заброшенное четырехэтажное здание с очень высокой трубой, в котором когда-то была паровая мукомольня. Оно стоит одиноко на берегу, и днем его бывает далеко видно с моря и с поля. Оттого, что оно заброшено и что в нем никто не живет, и оттого, что в нем сидит эхо и отчетливо повторяет шаги и голоса прохожих, оно кажется таинственным».

Это произошло еще до того, как мельница была заброшена. Ее владелец Александр Ильич Ревич — осанистый мужчина лет пятидесяти, коммерсант и картежник, больше картежник, чем коммерсант,— был поэтом карточной игры. Выигрыш прельщал его, но во вторую очередь. Прежде всего его привлекали самый процесс игры, ее азарт, ее треволнения, сказочные удачи и удивительные бедствия. Он мечтал о неслыханной талье, когда бы ему удалось бить партнеров по двадцатой и тридцатой карте. С отчетливостью миража в пустыне он видел себя за круглым столом. Вот он бьет первую карту, ставка удвоилась... Он бьет третью, четвертую... В банке сто тысяч! Его партнер открывает восьмерку, он смотрит в свои карты... Девятка! Двести тысяч! Он зовет клубного лакея, тот дает ему салфетку. Александр Ильич уносит домой завернутые в салфетке смятые сотенные билеты, огромную кипу сотенных!

Что будет дальше, Ревича не интересовало. В последнем кадре он видел себя идущим по утренним улицам Таганрога с тугим узлом, в котором спрессованы деньги. Какое торжество, какая радость!

Мираж рассеивался. Ревич сгонял с лица улыбку радости и смотрел на часы, много ли осталось до того вечернего часа, когда уже можно будет пойти в клуб.

На свою мельницу он ездил далеко не каждый день, главным образом — после выигрыша, находясь в благодушном настроении. Заниматься делами он предоставил приказчику Ефиму Давидовичу, скромному почтенному человеку. Каждое первое число, подводя итог, приказчик преданно вздыхал и протягивал хозяину когда сто, когда сто двадцать рублей, не больше.

— Конкуренция! — говорил сокрушенно Ефим Давидович, вздымая глаза к небу.

Ревич запихивал деньги в карман. Что же, на две-три

ставки хватит, а там что бог даст. Если повезет, и этого достаточио, а если ие повезет, то ведь можио проиграть и тысячи! Пожалуй, даже лучше, что мельница не приносит тысячиого дохода.

Однажды Алексаидр Ильич играл всю ночь с переменным успехом, а под утро ему сказочно повезло. Он бил карту за картой! Сон становился явью, мечта — действительиостью. Одно было плохо: настоящие, денежные игроки уже разошлись, оставалась мелкота и клубные арапы. Пора было кончать. Ревич выгреб из кармаиов иа стол весь выигрыш и пересчитал. Партнеры с нескрываемой завистью смотрели на процедуру. Ревич насчитал пять тысяч рублей без трешки. Трех рублей не хватало до круглой цифры! Ревич спросил, улыбаясь:

— Ну, картежиики, у вас, вместе взятых, есть три рубля? Покажите!

Арапы пошептались и выложили на стол три рубля мелочью.

— Даю карту на три рубля! — благодушно сказал Ревич. Он дал карту и проиграл.

— Даю на шесть рублей!

Он проиграл сиова. Через полчаса все пять тысяч перешли к компаиии арапов, и те, сев в углу, принялись делить деньги. Ревич молча встал, одернул пиджак и нетвердыми шагами пошел к выходу.

Придя домой в пятом часу утра, он, как всегда, разбудил своих сыиовей-гимиазистов Адю и Даию: одиому было пятиадцать лет, второму — трииадцать. С трудом продирая глаза, гимиазисты иатяиули штаиы и, зиая, что перечить отцу, да еще когда он приходит проигравшимся (это оии угадывали безошибочио), невозможио, садились за стол. Отец, злой и побуревший от бессониой иочи, как всегда, задавал карточную задачу, на этот раз из игры в префераис:

— У меня туз, король, дама, три мелкие карты одиой масти и четыре реиоиса в другой. Какую игру я должен назиачать, если мой ход?

Когда сыновья отвечали иеверио, он их сек. Если отвечали правильио, давал гривеиник. Мальчики уже очень иедурио разбирались в преферансе и в других карточиых играх.

Потом вдовый Ревич ложился спать в гостиной: здесь ои спал после проигрыша. В случае выигрыша он спал в

кабинете или в спальне. Прислуга, заприметив хозяина на диване в гостиной, ходила на цыпочках:

— Барин вернулись проиграмшись!

С той ночи пошла полоса невезения. Ревич проигрывал. Он стал ездить на мельницу чаще, сделался настойчивым. Приказчик оставался почтительным, но в деньгах отказывал:

— Нету, Александр Ильич! Крестьяне не везут-с!

Трудно сказать, когда именно в голову ошалевшего игрока пришла дикая мысль поджечь собственную мельницу, чтобы получить крупный куш — страховку, только однажды, после особенно крупного проигрыша, задолжав партнерам, Ревич вышел из клуба раньше обыкновенного и нанял извозчика:

— На мельницу!

Была глухая ноябрьская ночь. С моря дул холодный ветер. Ревич поднял бархатный воротник драпового пальто и, поставив палку между ног, оперся на нее. Ночной извозчик на плохонькой клячонке отлично знал седока и в душе изумлялся: «И чего Александру Ильичу делать ночью на мельнице? Отродясь этого не было!»

Темное здание мельницы возникло на пустыре сразу, точно выросло из-под земли. Ревич порылся в карманах, нашел двугривенный и дал извозчику. Тот хотел было попросить прибавки, но не решился и, чмокнув беззубым ртом, поехал обратно. Ревич, стараясь не шуметь, точно вор, прокрался к наружной шаткой лестничке и поднялся невысоко, к веранде на сваях, где хранился вчерашний помол. С сильно бьющимся сердцем, чувствуя головокружение, Ревич чиркнул спичкой и поднес ее к сухой, как порох, муке, насыпанной навалом. Сначала ему показалось, что огонь потух, но прошла минута-другая, и горка муки осветилась. С каждым мгновением свет становился ярче. Ревич испугался, и ему захотелось задуть огонь, но он вспомнил свое унижение, когда не смог уплатить партнеру проигрыш, и, втянув голову в плечи, подался к выходу. Осторожно опустившись на землю, он пошел, почти побежал к городу. Дома он был через час и, не разбудив сыновей, лег в кабинете: теперь-то он будет в выигрыше!

Мельница сгорела дотла, но Ревич не получил ожидаемой выгоды, так как оказалось, что симпатичный приказчик вот уже два года прикарманивал страховые деньги и мельница была не застрахована.

Прокурор потом допрашивал и извозчика, и еще нескольких людей, видевших Ревича возле мельницы в ночь пожара, однако дело прекратил, так как какому же хозяину был профит сжигать собственное незастрахованное имущество?!

Ревич после этого случая прожил еще долго, но что-то в нем угасло. Он поступил агентом по страхованию от огня и кое-как перебивался. Детей он карточной игре больше не учил, но, запершись в тесной каморке (квартиру ему пришлось сменить), сам с собой играл в карты и, бывало, проигрывал и выигрывал крупные куши.

Все эти — и многие другие — истории связаны с дворцом Алфераки. Не думал не гадал камергер, да и не думали не гадали старшины Коммерческого клуба, что в залах и в кабинетах, среди стен, оклеенных штофными обоями, в январе — апреле 1918 года обоснуется Таганрогский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов!





Член Государственной думы

Среди так называемых выборщиков[1] от Таганрога блистал кадет, присяжный поверенный Александр Сергеевич Золотарев.

Выборщики должны были избрать из своей среды члена Государственной думы от Области войска Донского, и никто не сомневался, что избранным будет именно Золотарев.

Он был по-настоящему красноречив, то есть легко находил и разрабатывал разговорную жилу. Красиво посаженная голова, короткая, чуть седеющая эспаньолка, резко очерченный рот, умение держать себя с достоинством и ко всему этому набору — мягкий, приятный голос — все, все заставляло тагаирожцев, а особенно таганрожек, влюбляться в «нашего златоуста».

В глазах сограждаи он был одновремеино и Цицероном и Маратом. Он ие только вел в судах крупиейшие

[1] Выборы были двухстепенные.

денежные иски местных купцов, но находил еще время произносить зажигательные речи на собраниях! А кто мог сравниться с ним в изящных манерах, в умении удачно сострить или прелестно пройтись в мазурке на балу в общественном собрании!

— Златоуст! — говорили о нем просвещенные негоцианты и владельцы хлебных ссыпок.

— Душка Золотарев! — шептали дамы, протискиваясь в судебный зал, чтобы услышать очередную блестящую речь Золотарева.

Было совершенно очевидно, что Золотарев очарует и переговорит своих конкурентов. Этот человек незаурядных способностей и привлекательной внешности по-настоящему привлекал сердца таганрожских буржуа. Им импонировали его костюмы, шитые в Лондоне, а также адвокатская слава и несколько блестяще выигранных судебных процессов. Первым в Таганроге он приобрел автомобиль и ездил с шофером, наскоро переквалифицировавшимся из жокеев. Редкие прохожие долго смотрели вслед окутанной дымом заморской машине. Могло ли быть, что такой удачливый человек потерпит неудачу при выборах?!

...Вчера, накануне баллотировки, выборщики, съехавшиеся со всех мест Области войска Донского в Новочеркасск, собрались здесь в Дворянском собрании.

— Ну-с, дорогой Александр Сергеевич,— сказал Золотареву его земляк и коллега, присяжный поверенный Араканцев,— выберем мы вас членом Думы, а сами вернемся к нашим обыденным занятиям... Вы уж там, в Петербурге, нас не забудьте!

— А может, вовсе и не меня выберут,— лицемерно вздохнул Золотарев,— а кого-нибудь другого... Вас, например, Михаил Петрович...

— Что вы, что вы! — весело рассмеялся Араканцев.— Кто меня станет выбирать?! Да я и не желаю — зачем мне умирать раньше времени!

— Это почему же умирать? — вмешался в разговор кто-то из выборщиков.— Что такое?

— Климат! — многозначительно ответил Араканцев.— Врачи мне климат Петербурга строго-настрого запретили. Больше недели, говорят, там не протянете!

В глазах его собеседников появилась дружеская теплота. Араканцеву жали руку, похлопывали по плечу. Со-

общение о том, что климат столицы смертоносен для бедняги, почему-то вызвало особенное расположение к Араканцеву остальных выборщиков.

— Значит, баллотироваться в члены не будете? — переспросил старичок с фиолетовыми щеками.

— Ни-ни! — Араканцев даже зажмурил глаза.— Враг я себе, что ли?

Когда сегодня утром, в день выборов, новочеркасец Харламов предложил назвать кандидатов, первым выступил Золотарев. В конце своей блестящей речи он заметил вскользь, что, если на него будет возложено бремя депутата, он себя не пожалеет. В наступающей тишине кто-то сказал протяжно:

— Себя, значит, предлагаете?

Тут поднялся Араканцев:

— Все вы, господа, достойные кандидаты. А вот меня уж увольте. У меня семья, зачем же мне сирот оставлять? Все равно откажусь!

Все дружно зааплодировали.

Каждый из выборщиков боялся усилить позиции своих конкурентов и каждый втайне решил положить белый шар Араканцеву, единственному человеку, который все равно откажется от избрания.

Подсчитали голоса, и оказалось, что Араканцев избран единогласно. Сначала все смутились, а потом заулыбались и захлопали.

— Очень благодарен за доверие,— громко сказал Араканцев, вставая,— постараюсь оправдать.

— Что? Что такое? — взволновались выборщики.

— Да вы, милостивый государь, отказываетесь от избрания или нет? — фистулой закричал старичок-ростовчанин, становясь из фиолетового багровым.— Отказываетесь или нет, я вас спрашиваю?!

— Не смею отказаться,— сухо, но весьма внятно ответил Араканцев уже на ходу.

— Ах, с-сукин сын! — полувосторженно, полунегодующе закричал ему вслед старичок...

Этих сегодняшних событий еще не знали в Таганроге.

...В два часа дня должен был прибыть на станцию Таганрог поезд из Новочеркасска. К этому времени на вокзал собрались местные «политические деятели» с

супругами: было известно, что именно с этим поездом вернутся таганрогские выборщики, и среди них только что избранный член Государственной думы, то есть уж конечно Александр Сергеевич Золотарев.

На вокзал прибыла и жена Золотарева, томная и вечно болеющая особа, по имени Клеопатра. На ней была огромная шляпа с «плерезом» — дорогим траурным пером. Таганрогские дамы перешептывались, глазея на это перо. «Вечно она придумает нечто необыкновенное!» — шептались дамы, «просто приятные и приятные во всех отношениях», осуждая худую, с лошадиным лицом мадам Золотареву.

Без пяти минут два представительный и важный станционный швейцар ударил в колокол: три удара и легкая музыкальная трель, исполненная с необыкновенным мастерством. Это значило, что поезд вышел с последней станции — Бессергеновки. Вся таганрогская знать втянулась в широкую парадную дверь, ведущую на платформу. У многих дам были в руках букеты цветов.

— Медам и месье! — подбегал то к одной, то к другой супружеской паре городской голова Иорданов.— Дадим сначала Александру Сергеевичу произнести речь, а уж потом — аплодисменты и букеты. Ради бога! — он прижимал к груди руки, умоляюще глядя на представителей местного бомонда.— Ради бога, будем придерживаться порядка!

Но паровоз уже плавно подвел недлинный состав к дебаркадеру и замер. Только сейчас все заметили, что на платформе выстроился оркестр пожарной команды. Толпа устремилась к вагону первого класса.

Кто-то закричал:

— Александру Сергеевичу Золотареву — ура!

Капельмейстер сделал страшные глаза и взмахнул палочкой. Оркестр грянул туш. Неожиданно на площадке вагона показался Араканцев. За эти три дня он как будто помолодел.

— А где же Александр Сергеевич? — крикнули ему.

Не отвечая, Араканцев повелительно простер руку, капельмейстер погрозил палочкой музыкантам, туш замер.

— Благодарю вас, господа,— снисходительно сказал Араканцев,— благодарю вас за встречу. Постараюсь в

качестве члена Государственной думы оправдать то высокое доверие, которое...

Кто-то протяжно свистнул. Но Араканцев, пожимая руки направо и налево, шел уже по платформе. Все, позабыв, что собрались встречать другого, старались не отстать от вновь испеченного государственного деятеля. Перья дам колыхались на ходу.

Выждав, когда блестящая толпа скрылась в дверях вокзала, крадучись из вагона вышел Золотарев, поднял воротник пальто и шмыгнул в боковую калитку.

Капельмейстер деликатно сделал вид, что не заметил его.





Переплетчик Дараган

Дараган был единственным переплетчиком в Таганроге. В те годы эта трудная и полезная профессия едва ли способствовала процветанию умельца. И книг, и заказчиков было мало. Дело осложнялось непреклонной гордыней Дарагана и удивительным обилием детей в его семье. Их было шесть или семь. Сам Дараган не сразу мог ответить на вопрос, сколько их. Полуприкрыв глаза, он рассеянно перечислял, загибая корявые, в навсегда присохшем клейстере пальцы:

— Анка, Вася, Ванюшка...

Свою жену Марфу Филипповну, тихую и неприметную женщину, Дараган называл по имени-отчеству и оказывал ей всяческое почтение. Однако в нем не было заискивания или опаски: он вовсе не чувствовал себя неудачником. Напротив, как ни странно, бедняга переплетчик, высокий, с поповской шевелюрой, слегка покосившийся на правую сторону человек, с острым носом и бородкой мочалкой, всегда одетый в рваный пиджак с чересчур

длинными рукавами, глядел на мир заносчиво и даже с каким-то торжеством. Переплетное дело свое ставил высоко, не в пример другим ремеслам.

— Это вам не сапоги тачать,— говорил он, немного гундося.— Без переплета и книг бы не бывало, все науки остановились бы.

Редких своих заказчиков Дараган встречал свысока, а когда за ним присылали из купеческих домов переплести «Всемирную иллюстрацию» или приложения к «Ниве», он приходил обязательно с парадного, а не с черного хода и презрительно бросал горничной:

— Доложи: переплетных дел майстер пришел.

Слово «майстер» он произносил бог весть почему на немецкий манер.

В ожидании барина садился без приглашения. На вопрос хозяина — сколько будет стоить — горько усмехался:

— За мою работу, если по-настоящему платить, у вас, господин Канаки, и денег в банке не хватит. Посчитаемся.

А иногда заламывал несуразные цены и приводил в трепет старого грека — владельца кафе или постоянного своего заказчика нотариуса Пимонова. Выйдя в переднюю к Дарагану, нотариус старался говорить потише, чтобы не привлечь внимания своей супруги, Марии Николаевны, признанной таганрогской красавицей, похожей, по словам ее поклонников, на прославленную европейскую знаменитость — танцовщицу Клео де Мерод. Пимонов покупал ей красивые издания, совершенно не считаясь с их содержанием, например «Курс палеонтологии» или «Историю Византии». Мария Николаевна была книголюбом, причем, в отличие от гоголевского Осипа, читала не ради интереса к самому процессу чтения, а ради того, чтобы потом поразить знакомых мужчин своими неожиданными познаниями.

Собственно, склонность Марии Николаевны к чтению скорее была во вред, чем на пользу супругу, но нотариус этого не подозревал. Видя красавицу жену за книгой, он от души радовался, что хотя бы в этот час она ни с кем не кокетничает. Словом, Пимонов был одним из выгоднейших клиентов Дарагана, и переплетчику не стоило бы заламывать здесь цены, вынуждая хозяина вполголоса

торговаться: Мария Николаевна терпеть не могла скаредности мужа.

— Вот за эти книжонки — три рубля?! — ужасался нотариус.

— Да-с, — солидно подтверждал переплетчик, — какие же это книжонки? Извольте видеть: кажная побольше Библии!

— Придешь завтра, — шипел нотариус.

— Как угодно, — говорил Дараган, поднимаясь, — а только завтра мне приходить не с руки. Прощения просим.

Он снисходительно кивал головой и поворачивался к двери.

— Кто там? — слышался в это мгновение из соседней комнаты протяжный и ленивый женский голос.

Пимонов бледнел и совал книги в руку Дарагану:

— Бери, ради бога, бери и иди!

— Так что — три рублика, барин, — снижая голос, говорил перед уходом Дараган, но Пимонов только махал в отчаянии руками.

— Пожалуйте задаток, — шептал Дараган, отлично осведомленный о причинах томления заказчика, и протягивал шершавую руку.

Пимонов, приплясывая от нетерпения, совал ему рубль.

Дараган шел домой, даже не заглядываясь на вывески монополек. Вообще говоря, пил он редко: когда на душе станет уж очень несладко от нужды и унижений и когда потянет разбавить эту горечь и вдруг почувствовать себя сильным и независимым.

Придя домой, Дараган свалил книги на верстак и величественным жестом, молча, бросил на стол рублевую бумажку.

Марфа Филипповна сидела пригорюнившись в углу на табурете. В ее больших глазах застыло отчаяние. И вдруг — рубль! Это было спасение — ведь она уже готова была послать старшенького просить милостыню, не в силах больше смотреть на изголодавшихся детишек.

— Петя... Петруша...

— То-то же, что — Петруша, — бодрясь, солидно ответил Дараган, но, взглянув на жену и на молчаливых погодков, отвернулся. — Чего же ты... молчала? — хрипло спросил он. — Я бы к Евгению Осиповичу сходил!

Евгений Осипович, местный врач, лечил и взрослых и детей. Нет, не с него писал Чехов своего Ионыча: Евгений Осипович Возницын был не стяжатель. Не то чтобы он, подобно известному в городе доктору Иванову, отказывался от гонорара, но «выколачивать» деньги с бедняков он не любил. Случалось, что сам давал денег пациентам на лекарство или на молоко ребенку, немного, но все-таки давал. Семью переплетчика лечил издавна. Болезненной Марфе Филипповне и ее детям Возницын не раз прописывал лекарства и сам же их оплачивал. Бывало, что в особо крайних случаях переплетчик шел к доктору и одалживал у него то рубль, то даже трешницу. В общем, «задолжал» он Евгению Осиповичу не менее чем с полсотни, сумму для переплетчика огромную. Марфа Филипповна потому и не решалась идти к доктору за новым займом. Но на другой день Возницын неожиданно пришел сам и повел какой-то странный разговор.

Чтобы понять это посещение, Дарагану надо было бы знать, что доктор совсем недавно, как-то невзначай, стал членом партии кадетов. Сманил доктора его же пациент — чернобородый прокурор Михаил Петрович Араканцев.

— Нельзя, нельзя, доктор,— гудел Араканцев, когда они накануне встретились в Коммерческом клубе, у стойки буфета.— Вся интеллигенция объединилась на платформе конституционно-демократических требований, один вы в стороне.

Евгений Осипович чуть не поперхнулся рюмкой водки. «Объединились» и «на платформе» — это были какие-то новые, пугающие слова, особенно странные в устах грозного прокурора. С другой стороны, если уж сам прокурор, не стесняясь буфетчика Федотыча, громко произносит поджигающие слова, то и в самом деле надо ли оставаться в стороне? В студенческие годы Евгений Осипович считал себя революционером, ходил на сходки и голосовал за трехдневные забастовки протеста. Сейчас он поостыл, но раз уж его зовет в партию с таким завлекающим названием умереннейший и влиятельнейший Михаил Петрович... Наверно, это очень стоящая партия! Да, в конце концов, Евгений Осипович всегда лелеял в душе идеи парламентаризма! Последнее время он, правда, перестал думать об установлении в стране конституцион-

иых порядков, то были годы, заполненные работой в больнице и растущей частной практикой. Но жажда свободы слова и печати, в каких-то, конечно, разумиых пределах, всегда жила в его душе.

— А как же насчет желательного строя? — озабоченно спросил Евгений Осипович.

— Ограниченная монархия, дорогой мой, вот идеал! — спокойно ответил прокурор, отправляя в рот еще одну, кажется уже пятую, рюмку.— Король царствует, но не управляет.

Евгений Осипович испуганно огляделся, однако на слова прокурора никто не обратил внимания. То ли еще в те дни говорилось публично!

— Что же, это меня устраивает,— твердо сказал доктор.— Где я могу записаться?

— Приходите на заседание старейшин,— предложил Михаил Петрович.— У меня на квартире. Завтра в восемь вечера.

Тут же выпив шестую или седьмую рюмку, прокурор неожиданно запел студенческую песню «Гаудеамус игитур», азартно дирижируя невидимым хором.

Вечером следующего дня Евгений Осипович сидел в большом мрачном кабинете Араканцева среди влиятельнейших людей города и с восторгом слушал речь таганрогского «златоуста» присяжного поверенного Александра Сергеевича Золотарева.

— Мечта святых борцов за свободу — декабристов — свершилась! — горячо говорил мягким тенором оратор.— Падающее знамя из рук Пестеля подхватили мы, партия народной свободы. И будем держать его высоко, клянемся в этом!

В конце своей речи Золотарев коснулся прихода в боевой стан русской интеллигенции нового соратника, друга и целителя Евгения Осиповича.

— Приветствуем в его лице представителя русских медиков! — заключил Золотарев.

Все зааплодировали. Евгений Осипович был растроган и кланялся, прижимая руки к манишке.

После речи таганрогского «златоуста» присутствующие обменялись мнениями относительно предстоящих выборов в первую Государственную думу.

Податной инспектор Семен Семенович Карнаухов,

один из основателей местного отделения партии, внес неожиданное предложение:

— Надо, чтобы на выборах за нами пошли ремесленники, приказчики и даже рабочие!

— Дорогой Семен Семенович,— перебил его Золотарев,— рабочие вообще не в счет, их будет допущено к голосованию... весьма немного. Выборный закон изволите знать?

— А хоть бы и немного,— не сдавался Карнаухов.— Все равно.

— А что вы рекомендуете? — нетерпеливо спросил Золотарев. Он терпеть не мог, когда вносили предложения помимо него.

— По-моему, следует включить в число выборщиков от нашей партии какого-нибудь пролетария.

— А кто к нам из пролетариев пойдет? — спросил хлебный экспортер Бесчинский.

И тут Евгения Осиповича точно осенило.

— Дараган пойдет! — воскликнул он, удивляясь в душе собственной смелости.

Кое-кто вспомнил переплетчика Дарагана. Хотя он был из беднейших таганрогских ремесленников, в списках мещанской управы переплетчик числился «владельцем рукомесла с собственным оборудованием» и поэтому, пожалуй, мог претендовать на избирательный ценз.

— Пожалуй, это — идея,— лениво согласился Араканцев.— А кто с ним поговорит?

— Еще у древних греков был обычай,— усмехнулся Золотарев,— тот, кто на ареопаге внес предложение, тот его осуществляет.

Оптовый торговец гастрономическими товарами Ахиллес Аргиропуло сверкнул глазами-маслинами и с одышкой произнес:

— Я сам — древний грек!.. Не было такого обычая!

— Был!

— Не было, эмаста!

Поднялся шум.

— Довольно! — перекрыл все голоса звучный голос Золотарева.— Нас интересует не столько древняя история Эллады, сколько наша, российская, новейшая история. Я предлагаю поручить переговоры с Дараганом именно доктору Возницыну. Переплетчик — его пациент, это тоже немаловажно. А я судебных про-

цессов Дарагана не вел, ему за переплеты платят и без суда!

Все засмеялись. И только Ахиллес Аргиропуло с надменным видом закручивал кверху свои изящные мушкетерские седеющие усы.

...К переплетчику доктор пошел днем, после визитаций. Дараган и вся его семья обедали в кухоньке за некрашеным столом. Обед их заключался в двух таранках и краюхе хлеба. Правда, у Марфы Филипповны хранилась сдача с рубля, но она твердо решила «растянуть» эти деньги на несколько дней. Доктор появился неожиданно, это испугало боязливую Марфу Филипповну, еще больше ее испугало смущение на лице врача.

Дараган, торопившийся отнести к Пимонову переплетенные книги и поскорее получить остальные два рубля, совсем не обрадовался доктору: «Неужели он пришел требовать свой долг?.. Черт его знает, с этими барами всего жди!..»

Евгений Осипович несколько загадочно сказал:

— Мне бы с вами, Петр Кузьмич, поговорить... наедине.

«Так и есть! — тяжело вздохнул Дараган.— За деньгами, черт, пришел».

Однако Дараган вежливо повел доктора в залу, где был приставлен к стене, как для расстрела, шкаф неизвестного назначения. Стульев не было, недавно последний Марфа Филипповна продала старьевщику.

— Надеюсь, манифест семнадцатого октября в свое время вы читали? — спросил доктор, прислонившись к притолоке.

Переплетчик подумал: «Издалека начинает...»

— Как же, читал,— заверил его Дараган, однако, по совести говоря, он хоть и пытался прочесть когда-то расклеенный на улицах листок с манифестом, но не очень уразумел царские посулы.

— Ну и что же? — настойчиво продолжал доктор.— Не думаете же вы остаться в стороне от политической жизни?

— Как можно,— откликнулся переплетчик.— Ни-ни!

— В таком случае,— сказал Евгений Осипович,— вы, безусловно, согласитесь вступить в нашу партию, чтобы грудью бороться за народную свободу!

«Уж не выпил ли?» — опасливо подумал переплетчик.

— Это же... в какую партию? — осторожно спросил он.

— В конституционно-демократическую! — многозначительно ответил доктор.— Все лучшие люди в ней состоят: присяжный поверенный Золотарев, Константин Эпаминондович Канаки, Николай Николаевич Пимонов...

Дараган опять вспомнил, что ему уже пора идти к Пимонову, и заторопился.

— Согласен! — сказал он и от усердия выпятил по-солдатски грудь.— А что я должен делать?

— Придете на митинг в театр «Аполло»! — радостно проговорил доктор.— Там вы скажете несколько слов... Ну, о том, что все ремесленники Таганрога сочувствуют партии, возглавляемой Милюковым и Родичевым... В семь часов вечера!

Доктор ушел, а переплетчик вернулся на кухоньку и сказал жене не то серьезно, не то с легкой иронией:

— Теперь я — кум королю. Важные господа в свою компанию принимают!

* * *

На квартире Золотарева еще раз заседал кадетский комитет. После того как доктор доложил об удаче своей миссии, взял слово сам Золотарев.

— Заслуга, оказанная партии Евгением Осиповичем, гораздо важнее, чем то кажется на первый взгляд,— начал он в своей обычной сладкозвучной манере.— В процессе происходящих в данный момент выборов в первый российский парламент весьма важно по образцу английскому привлечь наивозможно больше симпатий избирателей. Мы должны печься о малых сих. А между тем еще не преодолен нами предрассудок, будто бы конституционно-демократическая партия — это партия лишь имущего класса. О, как это неверно! Пусть во главе идет цвет русской интеллигенции, пусть просвещенные и свободолюбивые владельцы торговых и иных предприятий...

— И образованные помещики! — восторженно произ-

нес худой господин в пенсне, крупный землевладелец Платонов.

— ...и помещики! — подхватил Золотарев.— Помещики, которые готовы в интересах народа предоставить свои имения к выкупу крестьянам по справедливой оценке, как сказано в программе нашей партии. Так вот, господа: нам надо рассеять предубеждения, посеянные бесчестной агитацией крайних левых элементов! Нам надо показать, что мы — партия широких слоев общества. И в этом смысле появление в наших рядах простого мастерового, этого Дарагана, будет крайне уместным. Конечно же он должен выступить в «Аполло» с речью!..

Дальше были решены некоторые деликатные вопросы, связанные с предстоящим явлением народу Дарагана: выдача ему полста рублей единовременного пособия из «партийной кассы» (деньги дал не то Канаки, не то Пимонов, не то сам Золотарев) и покупка нового костюма, а также обуви. Впрочем, хитроумный Золотарев решительно воспротивился переодеванию переплетчика.

— Костюм мы ему купим, но выпустить его надо в его обычном затрапезном виде,— предложил он.— Пусть публика видит, что к нам идут, так сказать, трудящиеся и обремененные, говоря евангельским языком...

Все согласились на том, что Дарагана надо выпустить в привычном для всех обличии, то есть в рваном пиджаке, в брюках мочального цвета и в дырявых сапогах. Главное, чтобы он произнес речь. Ну, например, об аграрной реформе, предлагаемой программой кадетов.

— Текст речи я напишу,— заверил Золотарев.

— Почему именно — об аграрной? — с сомнением спросил Ахиллес Аргиропуло.

— Потому что земельная реформа, по заветам нашей партии, больше всего затронет население России и всколыхнет народную благодарность! — как всегда красноречиво воскликнул Золотарев.

Остальные не спорили: наступил уже вечер, пора было идти в Коммерческий клуб. Все поднялись.

«Если я дам ему эти пятьдесят рублей,— тревожно размышлял доктор Вознидын, торопясь по еле освещенным улицам Таганрога на окраину, где жил Дараган,— он, чего доброго, запьет. Если не дам — не получится

эффекта и он откажется выступать на собрании. Как же быть?»

Чуть не провалившись в темноте на каком-то дырявом мостике, перекинутом через канаву, доктор чертыхнулся и вдруг решил: «Деньги я дам не ему, а его жене!»

С облегченной душой Евгений Осипович постучался в двери покосившейся хибарки. Впустила его Марфа Филипповна. В комнате чадила керосиновая лампа. Меньшие дети спали на огромной деревянной кровати, накрытые рваным одеялом. Старший, Ваня, большеглазый мальчик, похожий на мать, придвинув книжку к лампе, стоявшей на столе, учил уроки: в прошлом году он окончил городское четырехклассное училище, теперь мать почему-то надеялась, что его бесплатно примут в гимназию. Отца семейства дома не было.

— А где Петр Кузьмич? — тревожно спросил доктор, поздоровавшись и присаживаясь на трехногую табуретку.

Марфа Филипповна только всхлипнула и вытерла глаза уголком косынки.

— Загулял?! — с ужасом вскрикнул доктор, поняв, что весь план готов рухнуть.

Марфа Филипповна молчала. Молчал и Ванюша, крепко сжав губы.

— Вот что,— надумал доктор после долгой паузы.— Пусть Ваня побежит отыщет отца и притащит домой. А вы, Марфа Филипповна...— Доктор полез в карман и вынул пять красных бумажек.— Вот возьмите и спрячьте. Мужу не давайте, ни-ни! Пусть вам будет на расходы, ну там на одежонку. А что касается мужа, то скажите ему: пусть сходит в магазин Адабашева, к старшему приказчику, и получит костюм-тройку. Башмаки ему дадут тоже, ну и это... бельишко. Но только, как бы это сказать?..

Доктор хотел объяснить, что́ именно Дараган за все эти благодеяния обязан был сделать, но, посмотрев на жену будущего партийного деятеля, замолчал. Марфа Филипповна, как завороженная, глядела на деньги и не смела взять их в руки. Никогда она не держала таких денег! И не кроется ли здесь какое-нибудь страшное преступление, которое должна «взять на душу» она или ее несчастный муж? С одной стороны, не похоже на милого

и доброго доктора, но с другой — как-то боязно: вдруг ни за что ни про что дают полсотни да еще костюм и белье в придачу. Что-то здесь нечисто!

Оторвавшись от книги и повернув фитиль в лампе так, что теперь свет падал на лицо доктора, Ваня тоже с недоверием и страхом глядел на него.

— Да возьмите же! — с досадой повторил доктор, протягивая кредитные билеты Марфе Филипповне.— Что я вас, на убийство нанимаю, что ли! Просто нам требуется от вашего мужа небольшая услуга. Даже не услуга,— запутался доктор,— а как бы сказать? Ну, приобщение к обществу... Хочется, чтобы Петр Кузьмич на людей посмотрел и себя показал. Ну, выступил бы завтра на митинге, потребовал бы выкупа земли по справедливой оценке, как этого желает наша программа!

— Нам земля без надобности,— тихо сказала Марфа Филипповна, по-прежнему не беря денег.— Нам бы вот клею переплетного купить да коленкору на обложку.

— Вот-вот! — обрадовался доктор и стал совать бумажки в руку женщины.— И клею купите, и коленкору, и вот старшему сынишке...

Доктор критически оглядел хилого мальчика, нищенски одетого.

— Купите штаны и... Это я уже как врач говорю: ему надо лучше питаться! Сливочного масла и яичек!

— Не надо мне масла,— сердито буркнул мальчик и поглядел на доктора исподлобья, как волчонок.

— Что ты, Ванюша! — испугалась мать.— Так отвечать нашему благодетелю! Да я век буду благодарна! — заплакала она.— Век за вас божьей матери молиться буду!

Она уже взяла деньги.

— Так вы пошлите мальчика! — напутствовал доктор на прощание.— И когда ваш муж придет в себя, пусть меня повидает. Да срочно! Я ему все объясню. Ну, прощайте! Мальчика сейчас же пошлите!

— Да я сама пойду, я скорее его найду,— кланялась доктору в ноги Марфа Филипповна.— Не извольте беспокоиться!

Доктор ушел, солидно покашливая и стараясь не глядеть на Ваню, который ему очень не понравился своей несговорчивостью.

* * *

В театре «Аполло», обычно вмещающем человек двести, на этот раз набилось вдвое больше. Уже митинг открыл бородатый и внушительный Араканцев, а в двери еще ломились таганрогские обыватели, привлеченные необычным зрелищем: как было сказано в афишах, выпущенных Таганрогскнм комитетом партии кадетов, «сегодия выступят господа присяжные поверенные А. С. Золотарев, М. П. Араканцев и другне ораторы».

Председательствовал Араканцев. Рядом с ннм на сцене за столиком, покрытым зеленым сукном, сидели заправилы кадетской партии. Один за другим выступали зараиее записанные ораторы; Араканцеву передавалн записки и из глубины зала, где толпнлись рабочие, но он откладывал их в сторону. Наметанным глазом прокурор легко распознавал, кто имеиио просит слова и радн чего он его добивается. Председатель с надеждой посматривал на «чернь» у входной двери: не пришел ли Дараган? Но переплетчнка не было...

А тем временем Дараган бродил по пустынному городскому саду и зубрил свою короткую речь, собственно, даже не свою, а написанную для него Золотаревым.

— «Как представитель трудового народа,— торжественно начинал он,— я должен сказать вам, уважаемые господа...»

Запамятовав, однако, что именно он должен сказать, Дараган морщился и засматривал в бумажку. Ага!.. «Земля должна быть передана землепашцам, но, памятуя священное право собственности, здесь должен быть применен принцнп уплаты выкупной стоимости по справедливой оценке».

Слова «справедливая оценка» заставили Дарагана вспомнить нечто не относящееся к делу: в прошлом месяце он отнес в залог свое теплое пальто, а оценщик предложил ему только полтора рубля.

С тяжелым сердцем, все время повторяя, уже не вслух, а про себя, текст речи, переплетчик приблизился к мигающему огнями фасаду «Аполло». Необычные мысли теснились у него в голове н заставляли неровно биться сердце. Теперь, как только переплетчик доходил до «справедливой оценки», он вспоминал своего отца — крепостного крестьянина, «освобожденного» при царе Алек-

сандре Втором и на всю жизнь оставшегося в невылазной сети выкупных платежей за клочок земли.

«Тоже ведь по «справедливой оценке» платил старик,— распалялся Дараган,— потому нас, детишек, и оставил нищими!»

На широкой площадке перед монументальными дверями толпился народ. Все старались протиснуться внутрь, но распорядители в сюртуках и с красными бантами кричали: «Мест нет, господа!»

Однако Дарагана пропустили тотчас же, и он впервые в жизни почувствовал, что ему все вокруг завидуют. Кузьмич был тертый калач и отлично понимал, чем дышат люди.

Один из распорядителей, почтительно придерживая его за локоть, проводил в зал...

Здесь Дарагана поразили громкие выкрики, сердитые реплики с мест, словом, атмосфера разгорающегося скандала. Кадетам не давали говорить, прерывали их резкими замечаниями, порой даже свистом.

— Господ эсдеков просят вести себя спокойнее! — поднявшись со стула, злобно крикнул Араканцев.

И тут вдруг заметил в зале костлявую фигуру переплетчика. Немного торжественно и даже театрально председатель провозгласил:

— Господа, мне доставляет особое удовольствие предоставить слово господину Дарагану. Позвольте вас познакомить с оратором: Петр Кузьмич — человек из народа. Живет он небогато, все это знают...

— За вами разбогатеешь! — раздался чей-то насмешливый бас.

Араканцев сделал вид, что не слышит, и продолжал, следя за тем, как по шаткой лесенке на сцену, точно на эшафот, поднимается красный от волнения Дараган:

— Конституционно-демократическая партия привлекает к себе не только представителей... гм... интеллигенции, но и рабочий люд!

— Чепуха! — спокойно, но очень громко произнес из третьего ряда молодой человек с пушистой бородкой.

Араканцев бросил на молодого человека недобрый взор, но в дискуссию не вступил и обратился к собранию:

— Господа, внимание! Ваше слово, уважаемый Петр Кузьмич!

Дараган никогда не выступал публично. Подняв глаза и увидев перед собой переполненный бурлящий зал, он испугался. Во рту у него пересохло.

В зале кое-где возник смешок, послышались какие-то выкрики. Тогда Дараган дрожащей рукой полез в карман, вытащил измятую, замусоленную бумажку и, задыхаясь от волнения, стал читать:

— Граждане, земля должна быть передана... этим..., которые... земле... земле...

— Землевладельцам,— зло рассмеялся все тот же молодой человек с пушистой бородкой.

— Так точно, землевладельцам! — вдруг гаркнул Дараган по-солдатски.— Согласно справедливой оценке! — Он уже кричал, нервно комкая бумажку.— Потому священное право собственности... Дальше запамятовал, ваши благородия!

В зале стоял хохот. Араканцев звонил в колокольчик, но безуспешно. Шум и выкрики нарастали.

Дараган оглядывал зал, как затравленный. «Что я Марфе Филипповне скажу? — с ужасом думал он.— Что, мол, оскандалился? Очень уж она огорчится...»

Он ясно себе представил измученное лицо жены и почувствовал, что оторопь оставляет его. Он выпрямился и уставился в чернобородого Араканцева, делавшего ему знаки: убирайся, мол!

Все зло, скопившееся в Дарагане на тех, кто обижал и обездоливал его, вдруг вспыхнуло в нем против этого величавого барина. Дарагану захотелось сказать ему что-нибудь пообиднее.

— Штанами подкупили?! — страдальческим голосом закричал он и сделал шаг к столу председателя. Араканцев испуганно съежился.— Да я эти самые штаны, господа хорошие... Кусок хлеба недоем, а деньги верну вам. Подавитесь!

Кто-то уже пытался увести Дарагана со сцены, кто-то восторженно кричал «браво!», но большинство сидевших в зале стихли, понимая, что этот смешной, нескладный человек стал в чем-то выше важных и самоуверенных господ в первых рядах. А переплетчик кричал в лицо Араканцеву:

— По справедливой оценке землицу сулите? Стало быть, подороже? А у кого деньги?!

— Мы предлагаем в рассрочку! — перебил вскипевший Золотарев.— Понимать надо!

— Понимаем,— парировал Дараган.— Отцы наши уже хлебнули вашей рассрочки!

В свою очередь Араканцев выкрикивал:

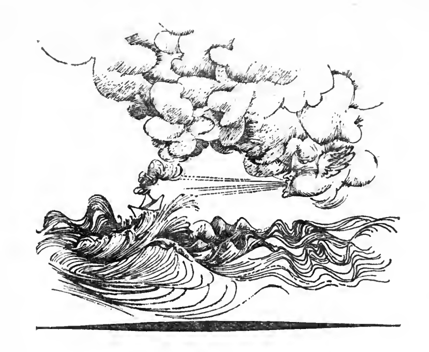
— Неконституционно!.. Откладывается! До особого оповещения!

Толпа уже и без того хлынула из зала в сад. Слышалось:

— Дараган!.. Качай Дарагана!

Но Дарагана нигде не было видно. Поглощенный новыми чувствами и мыслями, он размашисто шагал домой.





«Титаник»

> Два венгра — Ласло Саско и Амбруш Балаж — сконструировали новое устройство по подъему затонувших судов... Главная цель изобретателей — подъем знаменитого «Титаника», затонувшего в Атлантическом океане в 1912 году. Задача эта, как считают, исключительной трудности, так как «Титаник» весом десятки тысяч тонн лежит на глубине около 3000 метров под большим пластом ила.
>
> *(«Известия», 24 июля 1969 г.)*

Его звали Ёрой. В Таганроге это было уменьшительное имя от Георгий. Ера был грек,— во всяком случае, мать была гречанкой и, как и сын, говорила на той странной смеси украинского, русского и греческого языков, которая была в ходу в Таганроге еще и в начале двадцатого века. Что касается отца, то тут вступала в си-

лу древняя греко-римская юридическая формула, утверждавшая, что «мать всегда известна, а отец предполагается». Во всяком случае, Ерина мама в свое время вышла замуж, и фамилия ее мужа была Еракари. Был ли он и на самом деле отцом двадцатилетнего молодого человека — неизвестно. Но в 1912 году, когда происходили описываемые ниже события, он уже исчез. Умер ли, сбежал или был посажен в тюрьму — допытаться уже и вовсе невозможно.

Ера Еракари был коммерсантом. Это в данном случае значило лишь одно: что он всегда был готов оказать любую услугу клиенту — смаклеровать ли партию стирального мыла местного мыловаренного завода, посодействовать ли продаже домишка или даже помочь в знакомстве капитану греческого корабля, стоявшего в порту, с местной не слишком щепетильной красавицей. Собственного товара для продажи он не имел по недостатку капитала, но твердо надеялся, что рано или поздно он его добудет — лучше рано, чем поздно.

Бог обидел его, наградив толстой и глупой физиономией и маленькими глазками, похожимн на недозрелые ягоды крыжовника: вроде бы в полоску и притом каких-то смытых цветов. Он носил зимой каракулевую шапку пирожком, а летом — соломенное канотье и был всем известен своей странной привычкой сдергивать шапку или шляпу перед любым хорошо одетым прохожим. Ему, видимо, нравилось, что в ответ вежливые таганрожцы и перед ним снимали шляпы, правда, более или менее небрежно, но все же снимали! Снимал и богач — владелец беговой конюшни Сфаэлло, и владелец завода шипучих вод Базенер, и собственник маслобойного завода Ваксов. Отвечал на приветствия Еры и директор банка Канн, и даже кивал полицеймейстер Джапаридзе. Правда, каждый отвечал в меру своего достоинства или капитала. А Ера во всех случаях горделиво оглядывался по сторонам: видели вы, люди, с каким тузом я знаком?! Но людей, то есть прохожих, было мало, а то и вовсе не было. Все же чудачество Еры стало широко известным в городе, и, нечего греха таить, он мало-помалу приобрел известную популярность — его уже знали по фамилии, впрочем, больше по имени.

Не надо думать, что Ера был обыкновенным пошлым подхалимом, расшаркивавшимся перед любым сильным

мира сего. Нет, он был поэтом мерещившегося ему большого мира, в котором живут роскошные дамы и исключительно представительные господа, одевавшиеся по последней парижской моде. И он, Ера, приобщен к этому миру! Его знают небожители, они с ним раскланиваются!

Он не думал ничего извлечь из этого мимолетного знакомства, во всяком случае ничего меркантильного. Правда, только на первых порах. Когда же его мамаша — толстая женщина, всегда одетая в капот, с тускло-черными глазами, с тремя подбородками, красными, блестевшими от пота и похожими на три слоя теста, приготовленного для выпечки пирога,— дала Ере понять, что...

— Ера, что я хотела тебе сказать,— молвила мамаша, наливая сыну тарелку кроваво-красного борща.— Что я тебе хотела сказать! Если бы ты мог заработать хорошие комиссионные, так Женечка Евстратиади вышла бы за тебя замуж, а я качала бы внуков!

— Комиссионные? — сразу же насторожился Ера.— Хрйматa óхи! Денег нет!

— А почему бы тебе не договориться с кириа[1] Автандиловым и не возить по деревням галантерейный товар? Десять процентов тебе обеспечено...

Автандилов был владельцем большого галантерейного магазина и нанимал за проценты распространителей в деревнях его ходких товаров.

— Нужен залог! — сказал Ера, сразу посуровев лицом.

— Никто не говорит — не нужен,— спокойно ответила мамаша.

— А кто ж мне его даст? — уже взволнованно спросил Ера.

— В банке тебе дадут. В банке взаимного кредита, там легче.

— А кто поручится? — спросил Ера и даже побледнел от заманчивого материнского предложения.

— Пусть гарантирует твои векселя один из твоих богатых знакомцев,— ответила она.— Ничего, один подпишется на двести, другой на двести, смотришь — вся тысяча туточки.

[1] Господин *(греч.)*.

С этого часа жизнь Еры была отравлена. Он ни о чем не мог ни думать, ни говорить. Говорил он и вообще-то очень мало. И особенно думать доныне не приходилось. А теперь вот пришлось. Как это так: подойти к богачу Сфаэлло и протянуть ему на подпись вексельный бланк! Да он лопнет от смеха — этот красивый, толстый, образованный господин, наверно бывавший и в Париже, а может быть, и в Лондоне...

«А почему бы и нет? — тут же отвечал себе Ера.— Мы с ним знакомые, он может просто по знакомству... И потом — я ведь сам выкуплю из банка вексель, это ведь так, соблюдается форма».

Мало-помалу Ера убедил себя в том, что получить у богатых «знакомых» вексельный бланк — то есть подпись на обороте векселя, дающую право банку на худой конец взыскать долг не с заемщика, а с бланконадписателя,— вещь возможная.

Первой своей жертвой он выбрал капитана английского корабля мистера Пробста.

По-гречески Ера говорил: это, кажется, был язык его матери. Может быть, языком его отца был как раз английский, но Ера не знал ни этого языка, ни отца. Капитан же разговаривал только по-английски. Договориться с ним о столь щекотливом деле как будто было трудно. Но удивительная сила бренди! Ера заметил, что англичанин часам к пяти вечера бывал пьян как стелька, хотя держался твердо и с достоинством. Ера подстерег его в порту. Глядя мутным взором на протянутую молодым человеком длинную и узкую бумажку, лишенную какого бы то ни было текста, кроме наименования печатными буквами: «Вексель», и смутно разглядев давно уже примелькавшуюся ему толстую физиономию Еры, капитан, наверно, решил, что малый просит у него автограф. Он плохо слушавшейся рукой вынул из карманчика кителя вечную ручку (эта штука уже тогда верно служила человеку) и подмахнул с ребячьей улыбкой свою фамилию на угодливо подставленной Ерой оборотной стороне векселя, для чего Ера самоотверженно подложил свое канотье. Подпись капитана вышла великолепно и даже прошла сквозь бумагу на донышко шляпы. Теперь, пожалуй, Ера стал владельцем единственного в мире автографа — на собственной шляпе.

Лиха беда — начало! Двести рублей по этому векселю

(честный Ера вписал именно эту сумму в текст векселя) были в тот же день получены в банке общества взаимного кредита. Но еще раньше он показал подписанный капитаном вексель трем-четырем «знакомым», встреченным им на главной, Петровской улице, по которой делали свою обычную прогулку представители таганрогского великосветского общества.

Как Ера и ожидал, он вскоре встретил прогуливавшихся под ручку двух друзей — владельца завода газированных вод немца Базенера и хозяина большого кондитерского магазина, тоже немца, Тиссена. Оба были толстые и важные, они снисходительно кивнули снявшему перед ними канотье Ере и думали было пройти дальше, но Ера загородил им дорогу и с вежливой улыбкой показал им вексель с подписью-гарантией об уплате английского капитана.

— О! — сказал Базенер.

— О! — сказал Тиссен.

— Открываю большое дело,— тихо промолвил немцам Ера.— Четыре пая, один мой, один — капитана, хотите два остальных? Денег не надо, только гарантии оплаты моих векселей по двести рублей! Дело верное!

— Какое? — спросил Базенер.

— Контрабанда! — совсем тихо ответил Ера.— Английский трубочный табак «кэпстен», его привез мистер Пробст и не знает, куда деть. А я знаю! Но нужны расходы. Таможенники, полиция, туда-сюда... Все покроем в два-три дня. Плюс большая прибыль. Желаете? С греками не хочу иметь дело, сразу разболтают...

Базенер посмотрел на Тиссена вопросительно. Тиссен посмотрел на Базенера без всякого выражения на толстом лице с маленькими глазками.

— Хорошо! — решительно сказал Базенер.— Если деньги пропадут, посажу в тюрьму!

Тиссен ничего не сказал, но утвердительно кивнул головой. Видимо, он здорово набрался пива в соседней пивной.

Так Ера получил еще две гарантийные подписи на двух бланках векселей по двести рублей каждый, и, таким образом, шестьсот рублей были обеспечены. Однако больше Ера удачи не имел.

— Гарантировать ваш вексель? — спросил толстяк Сфаэлло, брезгливо всматриваясь в соломенную шляпу, которую держал на отлете Ера. Стареющий красавец Сфаэлло на дне потертой шляпы узрел невиданные черные письмена.— Я еще не сошел с ума!

И он пошел дальше с таким гордым видом, точно никогда не торговал сладостями вразнос, пока не получил богатую покровительницу.

Владелец маслобойки Ваксов сделал каменное лицо и прошел, как если бы Еры никогда и не было на свете, а бакалейщик грек Кумани сказал бедному молодому человеку по-гречески такое, отчего мог бы покраснеть даже греческий околоточный. Во всяком случае, в ответе не содержалось даже намека на какую-либо надежду.

К концу дня Ера реализовал в банке все три векселя. У него в кармане набралось теперь около шестисот рублей. Около — потому что Ера не смог отказать себе в удовольствии пообедать в лучшем ресторане братьев Багдасаровых и бросить остолбеневшему лакею сотенную бумажку для размена.

Словом, уже завтра (сегодня было поздновато, Автандилов, несомненно, уже ушел домой обедать и спать) Ера сможет внести владельцу магазина залог и, получив партию товара, отправиться в близлежащие села, благо чудесное таганрогское лето предвещало на ближайшие дни отличную погоду.

Все было бы хорошо, если бы Ера не споткнулся возле входа в так называемое малое Коммерческое собрание на главной улице, в просторечии — приказчичий клуб, куда его влекло давно и сильно. Здесь с четырех дня шла азартная игра в железку. Конечно, играли здесь не первые таганрогские тузы, как это бывало в так называемом большом клубе, во дворце Алфераки, но и здесь просаживались немалые деньги.

«Зайду сыграю в преферанс по маленькой», — решил сытый, довольный своим днем Ера. Однако, повинуясь твердому внутреннему голосу, сулящему удачу, Ера оставил в вестибюле свою замаранную чернилами шляпу и, поднявшись на второй этаж, пошел не налево, где, как он хорошо знал, шла мелкая игра в преферанс, а повернул направо, где, как он тоже неплохо знал, режутся по большой.

За круглым столом в железку играло шестеро, и Еру охотно приняли седьмым. Каким-то необычайным образом все уже знали, что Ера при деньгах. Нет, радио тут было ни при чем. Существовали в те времена другие способы распространения новостей — менее техничные, но более действенные. А кто бы иначе пустил нищего парня за игорный стол!

В течение четырех сдач у Еры последовательно были в картах шесть, семь, еще раз семь и восемь очков. Во всех этих четырех случаях у партнеров была девятка. Это был фатум, неслыханный в истории новейшей Греции, но никого бы не удививший в много перенесшей Элладе, если только там игрывали в девятку или железку. Отсутствие археологических данных в виде игральных карт или предсмертных записок застрелившихся древних греков-игроков ничего не доказывает, потому что никто не может отрицать, что эти находки еще впереди.

Словом, Ера проигрался в дым. Выйдя в вестибюль клуба еще засветло, с таким ощущением во рту, точно он откусил кусочек Сахары, и с острым желанием зарыдать или дать кому-нибудь по морде, Ера рванул из рук седобородого швейцара свою несчастную шляпу и оказался на улице. Здесь ему тотчас встретился местный богач Канаки, который, привыкнув к постоянным назойливым поклонам Еры, автоматически кивнул ему головой. Но Ера презрительно глянул на него и на поклон не ответил. Канаки остолбенел, и какой-то слепец с толстой палкой с разгону сильно ткнул его в ногу. Канаки взревел и выругался по-курдски. Слепец на голос ударил его по голове все той же толстой палкой. Засвистал городовой.

А Ера завернул за угол и здесь, в пустынном переулке, сразу же, без колебаний, решил уехать в Ростов. Таганрожцы при неприятностях и в случаях, когда явно было бы неплохо хоть на время удалиться из родного города, привыкли уезжать в очень близкий Ростов — большой, шумный город, в котором приезжий легко терялся. Оглянувшись по сторонам, Ера полез в карман и пересчитал наличность. Оказалось, что-то около пяти рублей. Он поспешил домой, торопясь, пока мамаша еще не успела узнать о его проигрыше: оставалась надежда выколотить на «торговую поездку» еще рублей сто. Денежки у мамочки водились, Ера это хорошо знал!

— Мама, хримата (деньги) вот! — он ткнул в боковой

карман своего неприглядного пиджака.— Нужно еще сто.

Мамаша, конечно, уже знала, что ее сынок выручил шестьсот рублей. О проигрыше она еще ничего не ведала. Рыба заглотала крючок.

Мамочка откуда-то (сын так и не заметил откуда) достала сотняжку, со вздохом скряги протянула ее Ере и сказала:

— Моя часть — седьмая. Понял? Седьмая часть прибыли. Смотри не обманывай мать, кирия Христосиа накажет!

Ера спрятал сотню, мрачно буркнул, что седьмая-то ее часть, но надо будет вычесть и расходы по поездке. Если бы он этого не сказал, мамаша сразу заподозрила бы неладное. Но теперь все было в порядке. Он наскоро обнял мамочку и поспешил на вокзал. Часа через три он был уже в Ростове и пристроился на сельскохозяйственную выставку чернорабочим. Надо было нырнуть поглубже!

Через час мамочка уже знала о сделанной ею глупости, а наутро двое бланконадписателей даже пытались заявить в банк о снятии ими своих подписей, но там только сочувственно развели руками и, приняв к сведению создавшуюся ситуацию, поспешили предъявить векселя ко взысканию денег с бланконадписателей, благо сроки в подобных векселях были по предъявлению.

Конечно, богатеям пришлось заплатить банку все до копеечки. Не так уж велик был убыток, но, как говорят в Таганроге, «их взяла злость» за обман и за то, что они остались в дураках. Кто-то из адвокатов надоумил пострадавших: по вексельному праву их положение безнадежно, платить надо было, поскольку основной плательщик — именно Георгий Эпоминондович Еракари — в срок не уплатил, но одно дело — гражданская ответственность, а другое — уголовная! Ера, несомненно, обманул их россказнями о предстоящих торговых операциях и, в частности, показом подписи на векселе английского капитана, но и эти россказни, и этот показ, как, впрочем, и сама капитанская подпись,— все это было результатом обмана, корыстного обмана доверия, то есть мошенничеством. А за мошенничество — пожалуйте к прокурору, в суд и в тюрьму!

Кинулись искать Еру. В Таганроге его не оказалось.

Мамочка тотчас смекнула, что кредиторы — люди крепкие и на этом не остановятся. Они привыкли других оставлять в дураках, а сами дураками быть не желают!

Зная, что дальше Ростова ее сынок не ушел (его наличность была ей известна), она поехала в Ростов. Ера был вскоре обнаружен и настоятельно предупрежден: сиди и не рыпайся.

А мамочка отправилась к местному таганрогскому адвокату. Собственно, это был не адвокат, а ходатай, подпольный ходатай по делам, и принимал он клиентов не у себя в кабинете, которого у него не было, а в трактире на старом базаре. Умеренно выпив, ходатай — толстый, обрюзгший человек с маленькими, хитрыми глазками — сказал мамочке:

— Газеты читаете, мадам? О гибели «Титаника» читали?

Мамочка от недоумения и возникшей рассеянности чувств налила себе из графинчика большую рюмку и выпила ее в один прием, как бывалый матрос.

— Какой «Титаник»? — хрипло спросила она.— На кой мне сдался твой «Титаник»?

И тогда, договорившись о цене и получив задаток, ходатай поведал ей свой гениальный план...

— А поверят? — задумчиво спросила мамочка, внимательно выслушав ходатая.

— Может быть, и не поверят,— охотно согласился ходатай.— Ну, а если даже должники не поверят, что из того? Для властей такое сообщение, да еще плюс траурное объявление, более чем достаточно для прекращения дела в уголовном порядке. А парень пусть себе живет, ну хоть в Одессе. Разбогатеет — мамочку выпишет...

Мамочка выпила еще одну рюмку и прослезилась.

Да, несомненно, пора помянуть «Титаник». Читая сейчас газетное сообщение о попытке поднять его со дна океана, мы и вспомнили приводимую таганрогскую историю.

«Титаник» — это название огромного (по тогдашним понятиям) парохода, построенного специально для атлантических прогулок со всей доступной в 1912 году роскошью: электрическим освещением, бассейнами для плавания, кинозалом...

Нет, телевидения там не было, радио существовало лишь как беспроволочный телеграф. Зато кресла в каютах были обиты не каким-то синтетиком, а настоящим бархатом и настоящей кожей, а на койках лежали тюфяки со стальными пружинами, и поверх — не сомнительный поролон, а матрацы, набитые лучшей морской травой.

Однако это — самостоятельная проблема. Сейчас же нас занимает странное происшествие с океанским пассажирским пароходом «Титаник», гибель которого в первые же сутки первого плавания остается не полностью разгаданной по сегодняшний день.

Принятая в свое время версия заключалась в том, что в тихую, безветренную погоду среди бела дня «Титаник», мчавшийся по океанской глади (мчавшийся относительно; конечно, теперь бы такой ход был приличен только для первых пятнадцати минут отхода от стенки) корабль, вдруг натолкнулся на что-то: таково было ощущение у команды и пассажиров. Именно так передал судовой радиотелеграф: «Всем, всем, всем! SOS — спасите наши души!» И деловитое: «Судно ударилось в воде при штилевой погоде о нечто твердое, точно утес».

Потом газеты высказывали предположение, что то был далеко заплывший айсберг, перевернувшийся тяжелой, массивной частью под воду и почти невидимый на воде. «Титаник» тотчас же раскололся надвое, и обе половины медленно, но верно пошли ко дну. Был ли то айсберг, или спина неведомого морского чудовища, или даже мина — этого никто не установил в свое время. И, пожалуй, это не так уж важно. Души погибших могут теперь утешать друг друга тем соображением, что все равно за прошедшее с того дня более чем полстолетие их немощные телесные оболочки так или иначе погибли бы, и если рассуждать здраво, то в такой незаурядной гибели есть даже что-то, как сейчас говорят, стильное: летом, в жаркую пору, разбиться о ледяную скалу не всякому дано...

Назавтра после беседы мадам Еракари с «адвокатом» газету «Таганрогский вестник» обыватели рвали из рук. На первой странице была напечатана информация за подписью «Собств. корреспондент. Лондон»:

«Нам из достоверного источника сообщают, что в числе погибших пассажиров затонувшего «Титаника» был известный тагаирогский негоциант Георгий Эпомииондович Еракари».

А на четвертой полосе в жирной черной рамке значилось:

«Семья покойного Георгия Эпоминондовича Еракари с глубоким прискорбием сообщает, что, отправившись в коммерческую поездку на пароходе «Титаник», ои погиб в океанской пучине. Панихида в таганрогской греческой церкви состоится завтра, в 3 часа дня».

Теперь с Еры взятки были гладки. Погиб, и не просто погиб, а, можно сказать, самым блестящим и модным способом. Весь мир кричит о гибели «Титаиика», и Ере удалось приобщиться к этой мировой славе! О каком суде иад ним, о каком преследовании за мошенничество могла теперь идти речь! Мертвые сраму не имут...

Утром, до панихиды, на квартиру к мадам Еракари в открытом ландо, запряженном парой рысаков, приехал греческий консул Диамаитиди и в тонких выражениях высказал сочувствие матери, потерявшей «образцового сына». Мадам растроганно плакала.

— Ах, этот проклятый айсберг! — расчувствовавшись, воскликнул консул.

Мадам Еракари с удивлением взглянула на него и сказала:

— Вы разве знали Ефима Айсберга? Маклера в Одессе? Нет, ведь в конце концов я вышла не за него, а за Еракари. Он меня попрекал этим Айсбергом, пока его самого не взяла холера!

Мадам Еракари опомнилась и тихим, плачущим голосом спросила, будет ли кириа консул присутствовать на панихиде.

...Через два года Ера вернулся в Таганрог. Он приехал с женой — единственной дочерью владельца крупного мануфактурного магазина. Оба были богато одеты и проследовали с вокзала в отель «Бристоль», где заняли двойной иомер. Тотчас таганрогская зиать широко открыла им свои объятья. О тех злосчастных шестистах рублях, которыми пострадали один пьяный англичанин и двое

подвыпивших немцев, уже не было и речи, тем более что Ера отдал свой долг всем троим, каждый раз для этого вынимая из кармана своей черной визитки толстый, набитый сторублевками бумажник. Мамочке он тоже вернул сто рублей и великодушно подарил ей еще сто, сказав с коротким смешком:

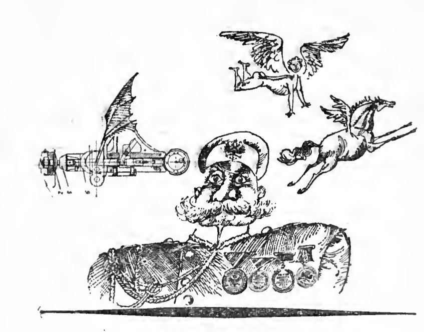
— Это твоя доля участия в прибылях.

Кажется, кто-то бестактно спросил Еру, как же все-таки он спасся с тонувшего «Титаника». Но Ера равнодушно ответил:

— Пароходы не выплывают, а пассажиры — иногда...

...Но вот, оказывается, иногда выплывают и пароходы!





Крылья

Из многих громких имен, связанных с Таганрогом, можно выбрать несколько славных «морских» фамилий. Вот знаменитый итальянский революционер Джузеппе Гарибальди. Молодым человеком он уже командовал торговым парусным судном, с которым и прибыл в 1833 году в Таганрогский порт. Не предчувствуя своей будущей славы, он беззаботно и весело гулял по Петровской улице, еще задолго до того, как стараниями А. П. Чехова там был установлен памятник Петру Первому работы Антокольского.

А вот еще одна морская, точнее, «полярная» фамилия: Г. Я. Седов. Арктический исследователь родился близ Таганрога, в селении у Кривой Косы, в 1877 году. Неоднократно бывал в Таганроге.

«Детей лейтенанта Шмидта» в Таганроге не наблюдалось. Зато там жил в 1892—1893 годах сам будущий

командир «Очакова» — Петр Петрович Шмидт — у своей тетки, таганроженки Исбах.

А теперь выяснилось, что в конце прошлого века именно в Таганроге родилась морская идея подводных крыльев корабля, причем изобретатель, некто Троилин, в письме в редакцию «Таганрогского вестника» в 1898 году объявил о своем изобретении «окрыления пароходов», объяснил друзьям, что он стремится усилить наш флот в память морских сражений у севастопольских и таганрогских берегов 1855 года.

Почему же, однако, «и таганрогских»?

А вот почему. 22 мая 1855 года, то есть когда «Севастопольские рассказы» еще не были написаны, а Севастополь и Л. Н. Толстой в Севастополе были уже под огнем, к Таганрогу подошли корабли англо-французского флота. В сущности, город был застигнут врасплох: царское правительство и не подумало о возможности этого демарша врага и ничего не сделало для укрепления города. Гарнизон его был ничтожен: караульная команда, добровольная милиция, несколько дружин ополчения и незначительная казачья часть.

Несмотря на это, предложение врага о сдаче города было отвергнуто, и вражеский флот открыл по Таганрогу беспорядочную орудийную пальбу. Под прикрытием этой стрельбы англо-французы высадили у знаменитой таганрогской Каменной лестницы в порту десант. Таганрожцы дрались храбо и наголову разбили десант, сбросив его в море.

Озлобленные враги в отместку выпустили по городу свыше тысячи снарядов, причинив большие разрушения городским зданиям.

Здесь немного личного: моя бабушка, мать отца — Авдотья Яковлевна, рассказывала мне, как она с малолетними детьми отсиживалась в те дни в погребе. Погребом, глубоким и прохладным, был оборудован каждый таганрогский дом, но, конечно, строителям и в голову не приходило такое странное использование этого великолепного продуктохранилища.

Я добивался у бабушки подробностей. Она подумала и сказала:

— Ни мы, ни соленья не пострадали.

Больше ничего я от нее не узнал.

В начале июля того же 1855 года на Таганрогском рейде вновь появилась эскадра и вновь принялась обстреливать город. Была и новая попытка высадить десант, но и на этот раз таганрожцы храбро отбили атаки противника.

В начале сентября англо-французские корабли, среди которых были и пароходы, снялись с якорей и ушли к основным силам флота, громившего Севастополь.

Английский офицер Барроу, принимавший участие в разбойничьем нападении, оставил записки. Мы в них читаем:

«В плохо укрепленном Таганроге мы встретили неожиданное и отчаянное сопротивление русских; сюда как бы долетел дух упорства, владевший защитниками Севастополя. Стойкость русских поражала».

Бомбардировка Таганрога была очень чувствительной. Помимо того, что враг потопил двадцать торговых судов, он уничтожил или повредил триста двадцать семь домов в самом городе. Много было и человеческих жертв.

Но вернемся к Троилину и его изобретению, ради чего, собственно, и написан настоящий рассказ. Его ошибка как изобретателя заключалась в излишнем доверии к тогдашней прессе. В своем письме в редакцию он, между прочим, просил «доброхотов» одолжить ему необходимые для окончания опытов три-четыре тысячи рублей, тем самым расписавшись в наиболее тогда презираемом пороке — безденежье — и давая обывателям пищу для утверждений, что «это все жульничество». Но не это было главное.

Собственно, именно то, что Троилин позволил себе облечь вольнодумное предложение в печатный вид, привело в действие совсем другую машину, отнюдь не ту, которую он имел в виду. Одновременно зашевелилось и духовное начальство Таганрога в лице настоятеля собора протоиерея Стефана Стефановского, и, как это ни странно, это заставило действовать окружного предводителя дворянства генерала Клунникова.

Отец Стефан и обратил внимание Клунникова на письмо в редакцию дворянина Троилина. Сделал он это в соборе, после произнесенной им проповеди на евангельский текст: «Нет горше зла, чем безначалие». Когда тя-

жело дышавший грузный генерал подошел к ручке священнослужителя и чмокнул воздух значительно повыше руки священника, раздраженный таким либерализмом, отец Стефан грустно, но и с оттенком отеческой строгости сказал:

— Письмо щелкуна Троилина в газете изволили читать? Крылья, приличествующие лишь ангелам, серафимам, предлагает поставить на корабле, то есть на бездушном существе. К тому же деньги на это требует. А мы молчим, ваше превосходительство... Молчим!

Сердито отвернувшись от опешившего генерала, отец Стефан ушел в алтарь. Генерал жестом подозвал адъютанта, худого как жердь хорунжего Колечку, как его называли в местном избранном обществе, и хрипло шепнул ему на ухо, да так громко, что всем слышно было:

— Доставить ко мне этого сукина сына!

— К-которого? — заикаясь от неожиданности и собственной глупости, спросил Колечка.

— Который в газетах про крылья пишет!

Генерал счел, что сказал совершенно достаточно, и, дерзко звеня шпорами по каменному полу собора, назло «этому чертову попу», удалился. В толпе, глазевшей на выход из собора местной знати после воскресной обедни, раздался почтительный шепот. Спустившись по каменным ступеням на паперть и строго оглянув толпу простолюдинов круглыми, как у совы, глазами, генерал одернул на себе мундир, введенный покойным императором Александром Третьим и похожий — именно такова и была задумка — на старинный русский полукафтан, сел в свой щегольский экипаж, запряженный двумя выхоленными вороными.

— Трогай! — приказал он толстому кучеру.— В управление! — Плавно покачиваясь на ходу на пружинном сиденье, генерал додумывал свой ход, сообщенный Колечке лишь пунктирно.

«Первое — вызвать дурака Кокорина, редактора, издателя этого вредного листка — «Таганрогского вестника»,— размышлял Клунников.— Пусть сообщит, что за гусь этот Троилин с его крыльями! Ежели и вправду дворянин — лично пропесочить. Ежели из простых — в каталажку!»

Страх перед начальством заменял недоумкам ум и сообразительность. Колечка догадался, что ему надо позвонить Кокорину по телефону (благо, в Таганроге телефон был установлен еще в 1885 году) и узнать адрес злополучного Троилина. Телефона у последнего, к сожалению, не оказалось. А жил он в так называемой «крепости» — так по старинке, со времен еще турецкой кампании, назывался конец Петровской улицы, упиравшийся в море. Здесь был разбит порядочный сквер, а по вечерам было светло благодаря сильной газокалильной лампе неподалеку высившегося маяка.

Генералу не пришлось долго ждать появления Троилина. Изобретатель подводных крыльев оказался капитаном второго ранга в отставке, человеком не старым, но и не так чтобы очень молодым. Чем-то неуловимо — то ли фуражкой с высокой тульей, то ли решительным выражением лица — он напоминал портреты адмирала Нахимова, и это тоже не понравилось генералу: «Должно быть, строптив, каналья!»

— Здравия желаю, ваше превосходительство! — негромко сказал Троилин, появившись в приемной управления и снимая по старинке фуражку. Сзади скромно прятался в тени Колечка.

— Здравия-то здравия,— сердито ответил генерал.— Но как же так? Штаб-офицер — и вдруг — крылья! Не по-ни-маю!

— Крылья? А, крылья! — сразу сообразил Троилин.— Так ведь на благо отечества, быстроходные пароходы-с!

— Не по-ни-маю! — повторил генерал, раздражаясь.— Крылья — это по церковной части, а вы моряк в чине отнюдь не ангельском. В чем же дело? Зачем вам крылья понадобились? Как дворянин дворянина спрашиваю.

— Крылья — дело не ангельское и не дьявольское, ваше превосходительство,— твердо ответил Троилин,— а как бы сказать? Техническое! И позвольте еще сказать — военное. Потому ежели, скажем, наш миноносец, будучи крыльями подводными оснащен, поведет минную атаку на врага, то от сего последнего один дымок останется! Севастополю не повториться!

Генерал опешил. А ведь в самом деле! Миноносец на

подводных крыльях — это вам не фунт изюма. Дело государственное! И не зря ли этот дерзкий поп заставил его, генерала, вызвать сего почтенного человека? Впрочем, как видно из письма в редакцию, изобретателю не хватает денег.

— Денег изволите просить, тысячи три-четыре, на постройку крыльев? — уже мягче спросил Клунников.— Впрочем, прошу садиться...

Генерал опустился в кресло, следом за ним сел на стул и капитан второго ранга, положив фуражку себе на колени.

— Деньги я и сам добыл,— почему-то вздохнув, ответил морской офицер,— именьице свое вчера продал. Другая тут беда, ваше превосходительство...

— Какая же? — осведомился генерал с беспокойством. Не дошла ли до наказного атамана Области войска Донского весть, что в подведомственном Таганроге занимаются кощунством — крылья себе присобачивают?!

— Телеграмма из министерства,— снижая голос, как заговорщик, сказал капитан второго ранга.

Стоявший у двери, как часовой, Колечка прикрыл глаза красными веками, показывая, что он ничего не видит, ничего не слышит.

— Телеграмма,— повторил грустно капитан второго ранга,— за подписью какого-то адмирала.

— Адмирал «какой-то» не бывает,— наставительно оборвал его Клунников.— И что же в телеграмме?

— Производство опытов с подводными крыльями запрещается, как могущее нанести вред отечественному мореплаванию,— деревянным голосом прочел на память кавторанг ненавистную телеграмму.— А какой вред? Кому?

— Предначертания начальства,— вяло возразил генерал,— не подлежат... того... обсуждению.— Ему было уже жалко, что у него отняли возможность пристроиться к удивительному изобретению и неожиданно прославиться. Окружной предводитель — подумаешь! А тут как-никак — крылья, да еще подводные...

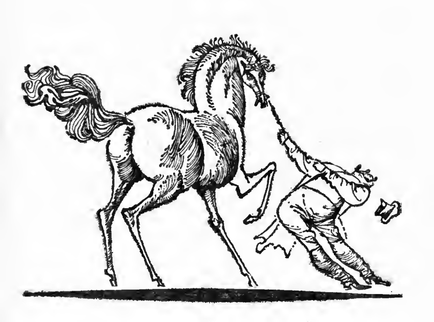
— Интересно, кто же сообщил в Петербург? — спросил генерал.— Неужели там газетку нашу читают?

— Пока нет,— грустно ответил кавторанг, поднимаясь.— По моим сведениям, ту газетку при своем послании отправил в министерство отец Стефан Стефановский. Разрешите идти, ваше превосходительство?

— Идите, голубчик, идите,— ласково сказал генерал.— И если, ну, в общем... откроется у вас какое другое изобретение, обратитесь сначала ко мне, к вашему предводителю. Авось бы и на этот раз посодействовал бы вам, господин кавторанг. А теперь... Пропащее дело-с!

— Имею честь,— холодно отозвался морской офицер, делая поворот через левое плечо.





Рассказ старого наездника

Вы не смотрите, что я поперек себя толще и вроде ноги еле тяну. Ведь восемьдесят пятый пошел! А в молодости я, как сейчас говорят, вполне соответствовал: вес три пуда десять, в седло качалки вскакивал с места без чужой помощи. Что такое качалка? Такая двухколесная коляска с высоким сиденьем, специально для конских бегов. Она и нынче в ходу — лучшую упряжку для такого дела не выдумаешь.

Служил я в ту пору — а был то ли десятый, то ли одиннадцатый год, стало быть, еще до первой войны — в Таганроге, у аптекаря Данцигера, Карла Карловича. Почему классный наездник — и вдруг у аптекаря? А потому, что этот молодой человек получил наследство от дяди — владельца знаменитейшей фирмы окраски и чистки. У дяди были по всей России отделения фирмы, а сына или дочери бог не дал. Раньше Карлуша бедовал в младших аптекарях у хозяина, тоже из немцев — Штехе-

ра. Сорок, от силы пятьдесят рублей в месяц получал. А тут — миллионы.

Ну не миллионы, а двести тысяч верных было, вы уж поверьте. И первым делом он обзавелся, не выезжая из Таганрога, беговой конюшней, благо в городе были бега. Не очень захудалые, неплохие лошади бегали. К тому же подвернулся Данцигеру случай: знаток из барышников продавал здесь бегового четырехлетку-жеребца по кличке Ушкуйник, будто бы родного сына знаменитого Крепыша. Правда, аттестата у того Ушкуйника не было, да и кличка его не соответствовала принятому правилу называть чистокровного рысака так, чтоб буквы имени повторяли бы две буквы имени отца и две — матери. А тут лишь одна отцовская буква «к», хоть и дважды повторенная. Хозяин объяснил, что Крепыш в табуне покрыл не чистокровку, потому и аттестата жеребенку не дали, да и насчет имени обидели. В общем — полукровка, говорит хозяин, да вы, мол, стати его посмотрите! Чем не отец?

В самом деле, лошадь была статей неимоверных. Вороной конь, ноги в белых чулках, длина корпуса — во! Посадка головы — лебяжья, размах ног — чуть ли не сажень. Смекалистый — на хозяйский голос откликается и на свист бежит. А ход! Идет, что твой паровоз, о сбое и понятия не имеет, дышит ровно, а после пробежки на корде вроде дыхание и не прибавляется. Отцовская хватка. А быстрота!..

Карл Карлович только спросил:

— Сколько?

— Да вы же, господин, сами по циферблату смотрели, сколько,— сказал хозяин, видно из цыган; старый, а зубы все белые как кипень и все на месте.

— Да нет же,— рассердился Данцигер.— Круг здесь немереный. Я вас спрашиваю: сколько за лошадь хотите?

— Чтоб не запрашивать? — задумчиво сказал старый цыган.— Ну уж ладно! Вижу знатока. Для вас — пять кусков... Да и то ради своего скорого отъезда.

— Это каких же кусков? — спросил Данцигер и сразу задохся, будто это он на корде три круга полным ходом отмахал.

— Известно каких,— степенно отвечает хозяин.— Тысячных!

Ну, скажем прямо: тут дело спорное. Коли Ушкуйник и впрямь сын Крепыша, то пять тысяч рублей — деньги копеечные; сам-то Крепыш был на завод продан за двести тысяч рублей, как еще ни одна лошадь ни в России, ни за границей. А если обман, то цена жеребцу — при всех его статях, но при отсутствии аттестата — сотни четыре, да и то еще хорошо.

Задохся было Данцигер по-стариковски, а был он хоть не старый, этак лет сорока, но сам какой-то сырой, да и в черной его бороде седины было больше, чем черноты.

— Хорошо. Даю пять,— сказал он пискляво, а ведь всегда говорил баском.— Только дай расписку, что подлинного сына Крепыша продал... И чтоб через нотариуса!

Я так тогда понял: если что случится — вот расписка, значит, не он — Данцигер — обманывает публику, будто та имеет дело с сыном Крепыша, а продавец обманул.

Только потом оказалось, что Данцигер — похитрее, чем я думал. Но погодите, рассказывать так рассказывать. По порядку. Лошадь он купил, свел ее к себе на двор, меня к ней приставил и проговорил: «Убью, если что!» А сам куда-то уехал. Через неделю приезжает и первым делом спрашивает: как, мол, цыган-продавец, не уехал ли? А он и в самом деле уехал и подворье продал свое. А куда уехал — неизвестно. Я полагал: огорчится Данцигер при таком известии. Но нет. Вроде даже обрадовался. И кажет мне бумагу: форменный аттестат Орловского конского завода на имя жеребца Корсара, отец — Крепыш, мать — Красотка, оба — чистых кровей.

— Сколько дали? — спрашиваю.

А он этак хитро на меня посмотрел и буркнул через губу:

— А ничего не дал. Полагается аттестат, вот мне и выдали. А тебе, Федька, вот дам, потому тебе — полагается.

И действительно, сунул мне «петрушу», стало быть пятисотрублевую бумажку,— ба-а-альшая сумма была!

— Теперь, коли цыган появится да претензию объявит, что, мол, по ошибке мне кровного продал, я его короля тузом побью: в расписке-то что сказано? Сказано, что сына Крепыша продал! Стало быть, претензии-то грош цена!

«Ах, хитрец!» — с восторгом подумал я.

Да и не один я так подумал: цыган какими-то неведомыми путями, скорее всего — через своих же цыган, прослышал вдалеке об аттестате, выправленном на сына Крепыша. Прослышал и затосковал: как же он такую промашку дал? Можно сказать, наследника лошадиного короля за шапку сухарей продал!

И от тоски пошел на ребячество: приехал в Таганрог, явился к Данцигеру и попробовал на его совесть нажать. Так, мол, и так, я вам хоть расписку и давал, да в неизвестности был, а теперь, когда завод жеребца аттестатом наградил, надо бы вам, Карл Карлович, по совести рассчитаться...

Однако посмотрел цыган на жалостливую улыбку Данцигера — ну, мол, и дурачок ты, братец; что с возу упало, то пропало,— посмотрел и, ничего не сказавши, повернулся, и только его и видели. Потом, правда, Карл Карлович говорили, что цыган сказал ему словцо на прощание — мол, я тебе вспомнюсь. Так ли это — вот уж не знаю.

А тем временем дело шло своим чередом.

Нуте-с, записал хозяин мой Корсара на бега честь честью, ничьих удивленных расспросов не вызвал, потому сразу аттестат показал, а у кого покупал лошадь — об этом в те времена неприлично было спрашивать, вроде подозрение высказывали: не украл ли. А все знали, что Данцигер миллионное наследство получил и посильно мотает его... Но об этом, то есть как он наследство мотал, об этом тоже рановато. Значит, записал Данцигер Корсара, стал я его проезживать в бегунках, за город выезжал — на дорогу, что в Ростов ведет. Верст десять дорога как укатанная катком. Пущу я жеребца — весь мир мне навстречу летит, душа с телом расстается. И так-то сладко! Любил я лошадей, да ведь такой и не видел, а уж ездить на такой — где уж там!

Полюбил я его — даже удивительно, как можно животное так любить? Вернусь с поездки домой, распрягу, провожу в поводе с полчаса, а то и больше, пока и росинки пота на нем не останется, а он все идет сзади меня и вроде норовит укусить — играет, значит. Сахар любил, как ребенок; дашь ему, шелковыми губами возьмет с ладони осторожно, чтоб, значит, не укусить меня, схрустит и весело мне карими глазами в глаза смотрит: мер-

си вам, стало быть. А чищу, скребу я его в деннике — он с оглядкой ногами переступает, чтоб мне ноги не отдавить. А то ушки наставит да толкает меня в плечо, да так легко, точно не жеребец, а теленок. Ласкается. Ну, и чувствует, что и от меня ему ласка. Лошадь — животное то-онкое! Да вот, у писателей наших знаменитых, мне давали читать: у графа Льва Николаевича Толстого «Холстомер», у Александра Ивановича Куприна — «Изумруд». А в «Анне Карениной» наездник граф Вронский призовой кобыле Фру-Фру спину переломил!.. Несусветно: как это офицер-кавалерист не сумел барьер взять? Чепуха!.. Про Холстомера душевно написано. Но что ни говорите — мерин. А мерин — он не игривый, не веселый, душа к нему не лежит. Зря его граф Толстой оскопил. Снизил рассказ!.. А насчет Изумруда... Куприн-то в пехоте служил, лошадиные повадки больше понаслышке знал.

Главное тут в том, что мой-то Корсар в цвете сил был, не жалость, а восторг вызывал. Публика на бегах как завидит его — и хлопает в ладоши, и кричит: «Браво!», и даже цветами бросает. Я кулаком грозил: что, мол, делаете, лошадь пугаете.

Уж и набрался я горя с моим Корсаром! Друзья-наездники и деньги мне сулят, и угощение ставят: отстань, мол, хоть разок, дай и нам приз взять. А я отвечаю: и рад бы, да ведь жеребец-то какой! Не желает уступать, не удержишь!

В самом деле, прет, как машина. Раз — и уже кинул соперников на три туловища.

Ну, а тут, к несчастью, подоспели так называемые джентельменские бега. Это, стало быть, сами владельцы, которые любители, садятся в коляски и едут. И заявляет мне мой Данцигер, что он поедет. Приз по тем временам огромный — десять тысяч рублей. Да, казалось бы, что ему, миллионщику, десять тысяч? Ан нет. К тому моменту — и года не прошло! — растряс Карлуша дядину мошну, вдребезги растряс! Вы скажете: и на что бы он в тихом Таганроге деньги тратил? В трактир пойдешь, так и то больше трешницы не оставишь... А все через шампанское. Слыхал мой Данцигер или в романах прочел, как баре этих, ну, шансонеток в чистом шампанском купали, десять рублей бутылка — шутка ли? И запало это ему в душу.

Стал он в Таганроге все шампанское, что в магазинах нашлось, покупать. Да совсем немного держали его у себя два лучших колониальных магазина (о других лавках вообще разговора не могло быть), спрос был редок. Скупил всю наличность Данцигер — и сам видит, что это в ванне ноги не закроет. Пришлось бедняге в Ростов смотаться, оттуда багажом изрядную партию в Таганрог доставил. Можно было начинать купание, да вот беда: шансонеток где в Таганроге достать?!

Несколько раз Данцигер привозил купальщиц из Ростова, в ба-альшие деньги это ему стало, да и хлопотно. Одного визгу от этих избалованных девиц, когда они лезли в шампанское, было столько, что городовой на кухню приходил и, получив целковый, почтительно просил «унять этих девок, потому в соседнем доме женская прогимназия...»

Данцигер поехал к мадаме, которая в Таганроге нехорошим делом промышляла. Ну, мадама ему предоставила некую Клашку, уже в летах трепушка была. Как это она увидела ящики с заграничной маркой, что у ванны стоят, повалилась в ноги Данцигеру, взмолилась: «Дай мне, барин, хоть одну бутылочку, я вмиг в магазин сдам, как-никак пятерку всегда дадут, а я в бане помоюсь и за пятак».

Но немец был упорный: «Лезь, говорит, такая-сякая, душа с тебя вон!» Ну, та с перепугу и полезла. А каждая ванна рублей в пятьсот стала, шутка? Мно-ого денег на купание извел... Ну, еще и на кино тратил. Да, на кино, что тут удивительного? Карл Карлович снимали ведь весь зал, одни в первом ряду сидели, томились.

Да мало ли! Всех извозчиков, бывало, наймет, сам впереди едет, сзади, на другой пролетке, шляпа лежит, на третьей — тросточка, ну, а остальные порожняком. И этак ездит до вечера по городу — грустный. Видно, обдумывает, куда еще деньги деть? И вот дошел до джентльменских скачек — вся уже надежда у него на приз.

А ведь надежда была правильная: ни одной лошади, думал я, в этот сезон не догнать было Корсара. И не догнала бы! Да вышла неприятность. И все через того самого прежнего хозяина лошади — старого цыгана. Пропал он без вести, мы и забыли про него, да он нас не забыл. Зло держал! Крепко держал!

Был беговой день, следующий заезд — джентельменский. Я уж и так, и этак объясняю своему хозяин — какой же из него ездок! Как, то есть, себя держать во время езды. Корсар не терпел, когда его чересчур настойчиво посылают,— это раз, а другое — не любил жеребец, когда ездок вожжами играет, то есть вправо-влево направляет,—Корсар и сам знал, как ему и с какой стороны объезжать коляски! Христом-богом прошу: сидите, ваше аптекарское благородие, спокойно, не посылайте Корсара, он и сам финиш видит! Сидите, мол, и дышите, а в ручках вожжи держите без всякого нажима. А пуще всего не пускайте в ход хлыст, который у каждого ездока есть, но у большинства, которые понимающие, эти хлысты больше для удовольствия дам, которые в партере бега наблюдают в перламутровые бинокли... Пока поговорили, а тут колокол ударил сигнал — на старт. И так нехорошо забилось у меня сердце! Но вижу — Данцигер молодцом: к старту легкой рысью подъехал, повернул как положено. Все коляски вроде вровень: пускал отставной генерал, ух и знаток, а ведь дело нелегкое — шесть рысаков враз пустить! Горячатся, вперед рвутся! Но ничего — пошли. Смотрю, мой Корсар впереди — куда там! Сначала на корпус, потом уже и на два. А те дурачки думают: мол, идти три круга, притомится все впереди да впереди, а мы тут и нажмем. Нет, кишка тонка! Корсар прет и прет, как твой автомобиль, а я уже в Ростове видал эту машину — пыхтит, трясет, но с ходу не собьешь. Этаким манером пошел уже третий круг. Корсар впереди! Быть тебе, господин Данцигер, думаю, с десятью тысячами. Может, хоть жалованье за три месяца, что задолжал, выплатит мне? И вот перед третьим кругом увидел я вдруг, да и не очень чтоб далеко от себя, за оградой, значит, для простой публики: стоит, ноздри раздувает наш старый знакомый цыган, что Корсара нам продал. Ох, думаю, не к добру! И в самом деле: в последний раз, уже перед самым финишем, идет мимо Корсар. И представьте: за ним, почти голова в голову,— новая лошадка, в первый раз у нас бежит, молодая кобылка чистых кровей, серой масти, почти белая. Я таких среди орловских и не видал. Неслыханное дело! И как это случилось я даже не заметил: подкралась эта беляночка к моему Корсару, как по воздуху проплыла, пока я на цыгана пялился. Вот она уже почти вплотную, почти ноздря в ноздрю! Тут бы моему

Данцигеру чуть-чуть пошевелить вожжами — чуть-чуть, говорю, для постороннего взгляда незаметно, а для чувствительного Корсара — ого-го! Вижу, он не всего себя показывает — может еще наддать. А в коляске белой красавицы сидит хозяин — ведь бег-то джентельменский! — видать, знаток! Как влитый, и крепко в вожжах свою лошадку держит, вожжи — кверху в обеих руках поднял, как будто собирается взлететь. И слышу я в этот же страшный момент легкий, но пронзительный, настойчивый свист. И вижу, что тот старый цыган это свистит Корсару, нет — Ушкуйнику, он ведь его так называл и тогда еще к своему цыганскому свисту приучил — с пути сворачивать к хозяину. И вижу я с отчаянием, что Корсар вроде чуть скосился в сторону свиста и как будто снизил свой бег. А белая лошадка сбоку наддала и стала обходить! И тут я палец себе укусил, чтоб не закричать. Данцигер — хвать хлыстом Корсара по крупу! Раз, другой! Ну, быть беде! Никогда еще не били Корсара, он от двух ударов, видно, сразу разум потерял. На бегу взвился, заскакал — а это для рысистой лошади самый позор. Мой-то Данцигер рванул правую вожжу: думает, приведет лошадь в себя, да так рванул сильно, что жеребец весь скосился направо да как рухнет — и головой о барьер! Что тут было! Один только хозяин, что на белой, видать — железный человек, проехал как ни в чем не бывало и через минуту — у призовой беседки. А те, что сзади шли, стали друг на дружку наезжать. Тут крики, дамские истерики. А я, себя не помня, перемахнул через ограду и почувствовал только, как меня оттаскивают от Корсара. А тот уже и глаза закатил и без жизни лежит. И так меня больно в сердце кольнуло!.. Я кинулся цыгана искать. Да где там!

Вскоре я к другому хозяину нанялся: мой-то Данцигер уже просвистался — вдобавок в карты ему сильно не повезло, опять в аптеку поступил. Говорит, аптекарь-то прибавил ему пятерку: пятьдесят пять в месяц. На повышение, стало быть, пошел...





Поджог

Александра Сергеевича Золотарева я уже упоминал в своих рассказах о старом Таганроге, и даже не один раз. Но все это были только упоминания. Между тем Золотарев заслуживает, мне кажется, более подробного описания; в этом сорокалетнем, чуть отяжелевшем красивом адвокате я видел и что-то романтическое и вместе с тем густо провинциальное.

Александр Сергеевич, по крайней мере уже когда я, гимназист старших классов, его знал, жил в Таганроге, в Итальянском переулке, конечно, в собственном доме-особняке. Я часто встречал его, одиноко гуляющего медленной, иногда неожиданно ускоряющейся и вновь замедляющейся походкой по не слишком людному Итальянскому переулку, и притом в часы, не принятые в Таганроге для гулянья: по большей части — днем, когда, видимо, присяжный поверенный Золотарев был свободен или уже освободился от судебного заседания.

Он прогуливался, высокий, изящный, несмотря на некоторую тучность, летом — в отлично сшитой, явно не в Таганроге, светлой тройке (так назывался мужской костюм, состоящий из брюк, пиджака и жилета), в мягкой фетровой шляпе или шляпе из панамской соломки, зимой — в короткой шубе или романовском полушубке, очень идущем к его энергичному лицу с короткой эспаньолкой и большими карими глазами, и в «боярской» бобровой шапке. Он всегда вежливо здоровался со знакомыми, кланяясь первым, не чинясь, несмотря на свою огромную популярность в городе, где привыкли людям почтенным кланяться, не дожидаясь их поклона. Даже мне, гимназисту, Александр Сергеевич норовил поклониться первым. Это меня смущало и вместе с тем непомерно льстило, потому что Золотарев казался мне образцом и воспитанности, и светскости, и таланта.

И в самом деле, он обладал прекрасным голосом и даром речи — сочетание, необходимое оратору. Правда, я тогда, видимо, не понимал, что подлинный оратор должен быть еще мыслителем, «говорящим писателем», хотя, вспомнная речи Золотарева, я прихожу к выводу, что он не был лишен того глубокого проникновения в рассматриваемый вопрос, которое заставляет ответно и думать, и чувствовать, и волноваться.

Меня озадачивали пешие прогулки присяжного поверенного по улицам Таганрога. Неужели его влекло стремление сбавить лишний вес?.. Позже я понял: он на ходу сочинял свою очередную защитительную речь.

Золотарев «приготовлял экспромты» и «неожиданно родившиеся остроты» не в тиши кабинета за письменным столом, он их готовил, вышагивая по Итальянскому переулку. Однако, как мы уже говорили, он не впадал в рассеянность мысли и всегда вовремя замечал и первым раскланивался со знакомыми.

Проходя мимо своего дома, он старался не смотреть в окна, где за кружевными занавесками подглядывала за ним его жена, по имени Клеопатра. Она жестоко ревновала мужа и приписывала ему, по крайней мере, пятнадцать любовниц — в то время как у него была лишь одна, впрочем, не всегда одна и та же.

Увы! Клеопатра не была красива, у нее были жидкие, невьющиеся волосы, спадающие с ее головы, как у утопленницы, потому что она по какой-то, будто последней,

моде, не делала прически, а носила подстриженные волосы «а-ля гарсон». Это не усиливало очарования ее угреватого худого лица с острым, как перо, носом. Почему франт и красавчик Золотарев женился на этой скучной и вечно болеющей женщине — бог весть. Впрочем, в числе неразрешимых вечных вопросов всегда значится и этот: почему человек женился на Лизе, Лене, Кате?..

Клеопатра ревновала мужа, но удивительным образом, опровергая тезис об особенной чуткости на этот счет женщин, не угадывала подлинную соперницу, хотя их прошло перед ней и немало. Почему-то она чувствовала особенную ревность к поэтессе Аде Чумаченко, единственной в те годы таганрогской поэтессе, действительно талантливой и, можно сказать, неожиданной для тогдашней таганрогской жизни.

Ада, девушка лет двадцати двух, была дочерью учителя математики местной женской прогимназии, солидного и еще не старого человека. Он был вдов, нежно любил единственную дочь и считал ее приверженность к поэзии наказанием, ниспосланным ему богом за дурное отношение к покойнице жене, да еще за склонность к зеленому змию. Что касается Золотарева, он однажды выступил на вечере поэтессы в так называемом приказчичьем клубе «Самопомощь», больше под влиянием постоянной страсти к популярности, чем из любви к поэзии или к поэтессе. Но Клеопатре кумушки поспешили сообщить о горячем и несколько преувеличенном восхищении Александра Сергеевича стихами Ады и его любезном с ней обращении, любезность же преподнесли как любовность.

У Клеопатры Петровны случился новый приступ мигрени. Всегда вежливый с женой и терпимый к ее истерикам, Александр Сергеевич с каждым годом все больше отдалялся от нее. Его отец, коммерсант на покое, жил во дворе сыновнего дома, во флигеле, который был более похож на особняк, а с ним невенчанная жена, довольно молодая женщина по имени Адель, скорее всего переделанном для красоты из Авдотьи. Впрочем, некоторая загадочность в именах касалась и самого Александра Сергеевича: он был Сергеевичем, а между тем отца звали Осип Павлович. Переделка тоже, видать, была сделана для красоты.

Тучный и красивый старик с седой бородкой «буланже» и в ухарски примятой шляпе на голове, которую он,

оберегая лысину, не снимал и в комнате, Осип Павлович относился к знаменитому сыну скептически. Своему сверстнику, какому-нибудь греку Попандопуло или Синадино, сидя с ним за чашкой кофе с графинчиком коньяку, говаривал, подмигивая:

— Александр-то! Слыхал, брат? Вчера в суде пустил такую слезу, что присяжные оправдали этого жулика Чангли-Чайкина! А ведь поджег-то он, даже керосином чи бензином воняло пожарище! А?!

Попандопуло или Синадино с непроницаемым лицом наливал себе и другу коньяку в рюмки и предлагал нейтральный тост:

— Будем здоровы, маста!

Позвольте же именно здесь, упомянув дело о поджоге магазина галантереи Чангли-Чайкина, остановить бег нашего рассказа. Право же, дело стоит того.

Галантерейный магазин был как магазин: в самом центре главной Петровской улицы, в один раствор, не то чтобы слишком тесный, но и не слишком просторный. Да ведь здесь торговали воротничками и галстуками, а не роялями, к чему и простор!

Хозяином магазина, как мы уже сказали, был Чангли-Чайкин. Трудно было установить национальность этого таганрожца! Чангли — это мог быть англичанин. Но Чайкин — как будто окончательно русская фамилия. А почему фамилия двойная? Кто состоял в предках этого бледного человека с седыми усами, бритым подбородком и тихим, нерешительным голосом? Может быть, и англичане, и русские? Мало ли английских капитанов гостило в Таганроге, а иные ухаживали за русскими девицами и дамами! Да ведь не со вчерашнего дня, а уже два столетия! Мало ли какой союз двух иноплеменных людей мог созреть здесь, на полуострове, именуемом Таганрогом?

Не будем пускаться в исторический анализ. Фамилия этого таганрогского негоцианта была именно Чангли-Чайкин и никакая другая. У купца было два сына: один — молодой юрист, красивый, высокий и холеный, чем-то, пожалуй, и в самом деле похожий на англичанина, а другой — пианист, худой и хромой в результате детского туберкулеза голени правой ноги. А мать? Может, она-то и была англичанкой?.. Она давно умерла от чахотки, совсем еще молодой, я ее не помнил. А сыновей знал. Особенно младшего, пианиста. Это был удивительно мягкий

и застенчивый юноша. Играл задушевно. К сожалению, он вынужден был ради заработка (отец торговал плохо) ходить по домам богатых и в праздники играть танцы на рояле: тапер!

У парня были способности настоящего музыканта. Да мало ли у кого были в те времена артистические особенности, разве это шло в счет?

Младшего Чангли-Чайкина, пианиста, звали Иваном. А старшего, помощника присяжного поверенного, Николаем. Если Ваня запомнился мне мягкостью своей, природной веселостью, которая как-то совсем не вязалась с не очень веселой домашней обстановкой (отец — неудачник и, несмотря на всю свою торговлишку, бедняк), а вот старший, Николай, ничем не был — или не казался мне — примечательным. От кого-то из местных адвокатов я слышал не слишком-то восторженный отзыв о его профессиональных способностях. Да оно, пожалуй, так и было: Николай слегка заикался, был явным тугодумом — качества, едва ли пригодные для судебного оратора. Однако же он был, мне кажется, незаурядным человеком: уж очень много усилий и настойчивости проявил он в попытках склонить к браку с ним красавицу блондинку с недобрым выражением лица, как говорили, внучку или правнучку знаменитого русского путешественника-барона Софью Н., год назад окончившую таганрогскую Мариинскую женскую гимназию и осевшую в скучном городе. В ожидании женихов? Наверно. А что еще оставалось делать этой внучке мореходного барона?! И вот жених нашелся: Николай Чангли-Чайкин. Что же невеста? Она категорически ему отказала!

Соня! Не один только Николай Чангли-Чайкин был влюблен в нее. Я помню довольно известного впоследствии поэта Валентина Парнока, уроженца Таганрога, человека до такой степени худого, что его хотелось повести в ресторан накормить. Валя студентом уехал в Париж и бедствовал там, время от времени посылая своим таганрогским знакомым, которых он считал зажиточными, отчаянные телеграммы, всегда одного и того же содержания: «Позисион террибль» («Положение ужасное»). Далее следовала просьба выслать деньги. В конце концов, уж неизвестно на какие средства, он вернулся в Таганрог и здесь занялся насаждением нового тогда танца — танго, главным образом в самом трагическом его варианте —

«танго смерти», «танго отчаяния» н пр. Он сам танцевал на эстраде, худой и рыжий, нзвнваясь всем телом н дрыгая худущнмн ногамн, танцевал во фраке, завезенном нз Парнжа н, вндно, купленном там у старьевщнка.

Вскоре он катастрофнчески влюбнлся в Соню Н. Он посвящал ей сонеты, но она впервые слышала это слово н была шокирована и чрезмерной рыжестью воздыхателя, и его двусмысленной професснеи танцора-поэта.

Шансов Валя Парнок, вндимо, имел не больше, чем водовозная кляча — прийти первой на дерби. А тем временем Нниколай Чангли-Чайкнн действовал напористо и еще — в который? — раз сумел доказать, что женщнна — это крепость, которую легче взять осадой, чем штурмом. Нниколай женнлся на Соне. На свадьбе Ваня истово играл на разбнтом рояле танцы...

Через полгода Соня ушла к богачу-экспортеру Канакн, но это лежит уже за пределами нашего рассказа. Оставаясь же в его граннцах, отметим, что именно Нниколай толкнул своего отца-галантерейщика на преступленне...

Николай сразу же увидел, что, если он не достанет в ближайшие днн двух тысяч рублей на свадебную поездку за граннцу, он потеряет все познцни, которые завоевал с такнм трудом.

— Папа,— сказал он отцу,— она хочет ехать в Биаррнц.

— А сколько нужно денег? — деловито спроснл старик.

— Много. Тысячи полторы, две. Она привыкла к роскоши.

Старый галантерейщнк ненатурально засмеялся:

— Прнвыкла?! Живет без роднтелей, у теткн — и привыкла?!

— Все равно,— убнтым голосом сказал сын.— Еслн я не достану денег, я повешусь.

— Достанем! — крикнул отец.— Пусть повеснлся бы чертов барон, который носнтся по свету, а внучку подкннул тетке в Таганрог! — Он спохватился и на этот раз тихо и уверенно сказал: — Достанем!

Вот тут н начннается возвращение прнсяжного поверенного Золотарева в нашу нсторию. Именно ему и была поручена защнта старого Чанглн-Чайкина на суде, перед которым он вскоре должен был предстать по обвнненню

в преднамеренном поджоге своего несчастного магазина для получения страховой премии. Он обещал сыну деньги, твердо рассчитывая именно на эту премию, которую, по его убеждению, он легко получит в результате пожара. Правда, магазин не был застрахован, но для этого достаточно одного часа: страховые агенты в Таганроге — люди энергичные, жаждущие заработка. А заработок они получают только после того, как кого-то или что-то застрахуют. Волокиты здесь ждать не приходилось. Без волокиты последует и так называемый «страховой случай», то есть пожар. Мало ли от чего могут загореться столь горючие целлулоидовые воротники и манжеты! Разве люди не знают, что целлулоид горит особенно охотно? Знают! Ну, а заодно загорятся и манишки, и дамские панталоны, и корсеты с китовым усом, и разноцветные пуговицы, которые лежат в ящиках уже седьмой год без спроса, потому что они не кокосовые, модные, а какие-то деревянные: Чангли покупал в кредит, а в кредит присылают товар сортом похуже. Но неважно! На всякий товар — своя цена, а страховка будет в размере полной стоимости. Только так!

— Деньги я достану через неделю,— твердо сказал сыну Чангли, обдумав всю процедуру: день — на страховку, день-два — на пожар, дня три — на оформление и получение денег.

Сын ушел обрадованный и вместе с тем задумчивый: откуда отец возьмет такую сумму? Займет, конечно! Но ведь придется платить проценты...

Страховым агентом общества «Саламандра» был, между прочим, старый Илья Федорович Слезников. Ему перевалило за восемьдесят, но он по-прежнему волочился за доступными красотками, выпивал по маленькой, и по-прежнему все знакомые звали его Ильюшкой. Имущества у него числилось: старый топчан, на котором он спал в короткие стариковские ночи, и щегольская палка-тросточка с набалдашником, изображающим голую женщину.

Агентом страхового общества Ильюшка сделался совсем недавно и даже невзначай. Прогуливаясь, по обыкновению, со своей щегольской тросточкой, которую он умел крутить в воздухе, как французский тамбур-мажор крутит жезл, приводя в восхищение таганрогских мальчишек, он слегка припадал на правую подагрическую ногу и

все же не терял лихой походки; в старом, истрепанном пиджаке, в брюках с бахромой и с шейным платком вместо воротника, Илья Федорович ни в какой мере не опускал седой головы в старой рваной шляпе перед прохожими.

И вот однажды его внимание остановило рукописное объявление, приклеенное на дверях таганрогского отделения страхового общества «Саламандра». Илья Федорович прочел, шевеля губами с окурком:

— «Ищем сдельных агентов по страхованию. Хорошее вознаграждение».

И тут его судьба была решена. Он, наверно, сильнейшим образом поразил своим появлением заведующего отделением украинца-толстяка Соломатенко. Однако быстро соображающий полпред горящей, но не сгорающей «Саламандры» решил в душе, что он тут ничем не рискует, благо никакого жалованья агентам не платилось, а буде Ильюшка кого застрахует, то и получит свой процент, вот и все. Поэтому разговор состоялся весьма благожелательный, и через десять минут Илья Федорович вышел на улицу, ощупывая в кармане своего видавшего виды пиджака несколько новеньких хрустящих полисов, уже подписанных Соломатенко и припечатанных печатью. Только и оставалось вписать имена новых страхующихся и получить их подпись, равно и первый взнос.

Получить проценты, или, как именовали в Таганроге эти самые проценты, «про̀цент», очень даже привлекло Слезникова. Тут был какой-то элемент игры, тут тоже мог быть выигрыш в случае удачи. Не ленясь — это было не в характере Ильюшки — и уже не вертя палку в воздухе, а опираясь на нее при ходьбе для скорости, он обошел несколько лавок на Петровской улице и повсюду удалялся ни с чем: лавки были уже давно застрахованы или же их хозяева больше уповали на волю божию, чем на «Саламандру». И вдруг — о удача! — Слезников узнал у хозяина очередной лавки, галантерейного магазина Чангли-Чайкина, понурого старика, выглядевшего сегодня особенно понуро, что он совсем не прочь застраховать свой товар. Больше того, услышав от Ильюшки цель его прихода, Чангли-Чайкин явно оживился и даже сказал, что сам собирался в «Саламандру» просить страховки.

— Не ровен час, Илья Федорович,— деловито сказал неудалый галантерейщик,— займется (этим таганрогским

словом обозначилось понятие «загорится») что-нéбудь, а у меия товар нежный: дамские панталоны, опять же воротнички...

— А на какую то есть сумму вы желаете совершить страховаиие? — солидно спросил Илья Федорович, сразу впадая в нужный деловой тон.

— На две тысячи! — быстро, пожалуй, чересчур быстро, ответил Чангли и беспокойно посмотрел на странного противопожарного агента, имевшего вид скорее пострадавшего от пожара.

— На две? — переспросил Ильюшка, памятуя наставление заведующего отделением, объяснившего, что страхующие склоины преувеличивать стоимость страхуемого.

— Да, на две! — как будто с вызовом, во всяком случае иастойчиво подтвердил хозяин лавки.

«Ну и хорошо, что на две! — подумал Слезииков.— Мне же лучше: больше будет прóцент!»

Ои вынул из кармана бланк полиса и, надев на толстый, в лиловых прожилках, нос кривое пенсне, стал заполнять пустующие графы бумаги, повторяя вписываемые слова вслух:

— «...галантерейный товар разного рода и пола, как мужеского, так и женского... Сроком год... с сего числа... иа сумму две тысячи рублей...»

Через двадцать минут, несмотря на некоторую замедлеиность рукописных действий Ильюшки, бумага была готова и подписаиа Чангли-Чайкииым, который все время заполиеиия полиса вел себя крайие иеусидчиво, вертелся иа стуле, вскакивал и снова садился; следуемый с иего первый взнос отдал почти весело, без обычного купеческого вздоха, что, впрочем, не вызвало подозрения со стороиы Ильюшки: «А хоть бы иа голову стал, прóцент-то мне идет!» Подумал ои, уже передавая хозяину лавки готовую бумагу, еще и другое: «Лишь бы пожара ие случилось в скором времеии, выгоиит меия старый хохол. Да нет: откуда же пожар? Сам Чаигли-Чайкин не курит, огия не зажигает: как стемнеет — закрывает лавку. Авось все будет хорошо!»

Заполучив полис, Чангли бережио спрятал его в карман, зачем-то очеиь внимательно оглядел свою лавку, точио ожидая увидеть в ней что-то новое, и рассеяиио простился с Ильей Федоровичем, который заспешил в от-

деление и честно отдал взнос. Может быть, читателю будет небезынтересно узнать, что в тот же час, довольный успехом «молодого» агента, Соломатенко выплатил ему вознаграждение: три рубля двадцать четыре копейки, чем привел Ильюшку в неописуемый восторг. «Каждый день по трешке — это составит за месяц девяносто... ну, пусть семьдесят пять целковых,— подсчитывал Илья Федорович.— Вот дай бог здоровья этой чертовой «Саламандре»!»

А назавтра, под вечер, старый Чангли-Чайкин, торопясь соблюсти сроки, обещанные старшему сыну, и болея за него душой («Как бы не решился на отчаянный шаг!»), сам не понимая, что именно он-то и идет на отчаянный шаг, запер изнутри лавку и опустил жалюзи. Дрожащей рукой он вытащил из бокового кармана рваного пиджака довольно большую бутылку керосину (так называемую «кварту») и окропил товары в наличниках и в ящиках под прилавками и самый пол, потом еще более задрожавшими руками зажег одну за другой пять, десять спичек и стал совать их в груды облитых галстуков, сорочек и панталон. Убедившись, что огонь пусть и не повсюду, но в достаточном количестве точек принялся, Чангли, немного шатаясь от волнения, бросился к заднему выходу во двор, не забыв захватить опустевшую бутылку. Хлопнул, замкнул дверь и быстро — насколько его слушались ноги — вышел на улицу; заглянул в щелочку закрытых и заставленных окон лавки: там было еще темно.

Чангли ушел, радуясь удачно сделанному делу и вместе с тем испытывая какую-то ужасную тоску. «Лишь бы Колечке на пользу!» — думал он несколько лихорадочно одну и ту же думу. По дороге он швырнул бутылку прочь, она разбилась с веселым звоном. Домой он пришел часов в восемь вечера, а ушел из магазина в четыре или в пять. Так он никогда потом и не смог вспомнить, где же шатался он эти три-четыре часа!

А дома был уже переполох. Кто-то прибежал и крикнул жене:

— Беда! Ваша лавка сгорела!

Чангли услышал эту новость со страхом и с радостью. Завтра же он пойдет за страховой премией, за двумя тысячами рублей!

Он не думал, чем же будет жить в дальнейшем. Все заслонила тревожная, болезненная дума о судьбе стар-

шего сына, так некстати, так неудачно женившегося на этой «фре», как называли невестку и Чангли, и его жена. Но теперь все будет хорошо!

А Ильюшка между тем уже третий час сидел в турецкой кофейне и пил отнюдь не кофе, пропивая свою честно заработанную трешку. Он мечтательно смотрел на висевшую на стене картину «Битва при Синопе» и воображал себя — в зависимости от количества выпитых рюмок коньяку — сначала унтер-офицером, потом полковником. Уже чувствуя себя полным генералом, старик вдруг услышал разговор за соседним столиком: пожар в лавке Чангли-Чайкина!

Он бросил на стол рубль и побежал, то есть чуть быстрее, чем обычно, заковылял на улицу.

И вот он у дома с лавкой своего первого клиента. Толпа уже расходилась, хлипкая пожарная команда уехала. Все было кончено. Лавка чернела в неверном свете газокалильного фонаря на другой стороне улицы. Окна были выбиты старательными пожарными, кругом стояли лужи воды: на этот раз помпы поработали на славу. Внутри лавки был первозданный хаос, разбитые доски плавали в воде, стоял дым и смрад.

Ильюшка в сердцах плюнул и, выругавшись по-итальянски, по-курдски и по-татарски, ушел с разбитой душой.

Можно после этого верить людям?! Разве не мог чертов Чангли подождать для приличия хоть месяц? Слезников понимал: страхуют в основном, имея в виду поджог собственного застрахованного имущества. Но разве порядочные люди это делают на второй же день?! Чангли забыл, что существует прокурор! Полиция! Суд! Да, но где доказательства поджога — единственное, что могло бы спасти его, страхового агента, репутацию в глазах начальства «Саламандры»? Конечно, если был поджог, то страховое общество не отвечает, и деньги останутся при нем. Ясно, в таком — и только в таком — случае он, Слезников, останется при деле и будет время от времени получать по трешнице, пусть даже не каждый день.

Но где же доказательства поджога?! Их, скорее всего, нет. Но если их нет — а поджог, конечно уж, был! — их надо создать. Явный запах керосина — вот что решит дело. В самом деле, откуда в галантерейной лавке возьмется запах керосина, если только дамские панталоны не были облиты в угоду задуманному поджогу?!

Слезников не поленился вернуться обратно, к сгоревшей лавке. Народ уже окончательно разошелся, кругом было по-обычному пустынно, и — что очень подозрительно! — не было рыдающего хозяина лавки. Ильюшка огляделся и прошмыгнул в широкую дыру на месте сгоревшей двери. На этот раз он не только оглядел послепожарное разорение, но и принюхался: нет, керосином, как говорится, и не пахло!

Агент страхового общества «Саламандра», видимо, на что-то решился. Он быстро покинул помещение и поспешил к своему убогому дому, вернее, в свою одинокую каморку во дворе, близ выгребной ямы.

Он открыл никогда не замыкавшуюся дверь своего жилища, зажег двухлинейную с разбитым и подклеенным стеклом керосиновую лампу и, радуясь своей запасливости, налил керосину из четвертной бутылки в маленькую бутылочку. Заткнув бумажкой, старик сунул ее в карман и, чертыхаясь на откуда-то взявшийся холодный морской ветер, сразу превративший этот вечер в осенний, поковылял к той же сгоревшей лавке. Здесь он снова прошмыгнул в дверь, подождал с минуту, пока глаза привыкнут к этой чертовой тьме, затем вынул бутылочку и брызнул на пожарище керосином. Когда бутылка опустела, он швырнул ее в угол и поспешно удалился.

«Сядет — поделом ему! — мстительно подумал старик.— По миру хотел меня пустить!»

Может быть, не выпей Ильюшка восемь рюмок пьяной греческой «мастики» (коньяку), он и не решился бы на такой отчаянный шаг. Но тут напиток подействовал, так сказать, вдвойне: и опьянив, и заставив горько пожалеть, что такое возлияние сделается в будущем маловероятным, если только его, Ильюшку, после этого случая выгонят из «Саламандры».

Уже через два дня Чангли-Чайкин получил все свои две тысячи: частные страховые общества, конкурируя одно с другим, были крайне заинтересованы в уверенности клиентуры насчет быстрого получения страховой премии. А затем заведующий отделением подал жалобу прокурору на «явный поджог и наглую аферу». Бумага пошла к и. о. судебного следователя по фамилии Тарантулов (царское правительство не назначало следователей ввиду их несменяемости по закону, а назначало и. о. — исполня-

ющих обязанности следователя, и тогда при проявлении ими строптивости легко отделывалось от них).

Тараитулов сделал тщательный обыск в пострадавшей от пожара лавке и, между прочим, занес в протокол: «В лавке стоит явный запах керосина. В углу обнаружена бутылка, также отчетливо издающая запах керосина». И в заключение: «Есть все основания подозревать поджог, произведенный в условиях, когда поджигатель не опасался чужого глаза, скорее всего, сам хозяин, тем более что, по справке банка, его финансовое положение было плохое, а кредит закрыт».

На этом основании исполнявший обязанности написал постановление о привлечении старика Чангли-Чайкина к уголовной ответственности и к заключению его впредь до суда под стражу.

Так злосчастный поджигатель попал в тюрьму. Передачи ему носил младший сын, сильно и даже как будто сильнее прежнего хромая. А старший, получив от отца деньги, в тот же день выехал за границу со своей знатной и красивой женой, еще ничего не зная об аресте отца...

Младший, Ваня, и пригласил Золотарева защищать отца. Следствие шло быстро, было установлено, что Чангли-Чайкин сильно нуждался в последнее время в деньгах, тянул в банке со взносом процентов по ссуде, была установлена и нужда в двух тысячах (как раз сумма страховки!).

Сам Чангли-Чайкин туповато отрицал свою вину и оживился, лишь когда и. о. следователя предъявил ему бутылочку: поджигатель и в самом деле видел ее в первый раз! Он чуть было даже не проговорился, что окроплял керосином лавку не из этой бутылочки, а из кварты, но вовремя сдержался.

Процесс предстоял громкий: старый, всеми уважаемый купец — на скамье подсудимых! Золотарев больше из-за этой «громкости», чем из-за гонорара, согласился защищать испуганного и еле живого старика: денег-то у Вани было всего ничего, это уж старые друзья его отца наскребли пять сотен для адвоката, чей обычный гонорар за уголовную защиту был тысяча, а то и две.

И вот настал день суда. Чангли-Чайкин не спал всю ночь и горячо молился: «Господи, ты-то знаешь, для чего я это сделал, отпусти мне сей грех!» Но не было свыше знака; как бы теперь сказали, связь оставалась односто-

ронней, и под утро старик совсем пал духом. Главное, его угнетала невозможность повидаться с уехавшим старшим сыном, Николаем. Он так бы хотел узнать, на пользу ли пошли те две тысячи, смягчилась ли к молодому мужу гордая жена?

Утром он, давясь, съел кусочек колбасы, принесенной ему накануне Ваней. Его торопил усатый унтер, старший надзиратель.

Потом его вели в суд под конвоем двух солдат с обнаженными шашками у плеча по залитым летним солнцем улицам родного Таганрога. Прохожие узнавали купца и кто с сожалением, а кто с жадным любопытством смотрели ему вслед, старые женщины крестились.

Ему пришлось долго ждать в отведенной для арестантов каморке: его дело шло вторым, а первым слушалось дело о разбойном нападении. Только часа в три дня, когда старик был уже окончательно измучен и совсем пал духом, дверь распахнулась и, сопровождаемые усиленным конвоем, в камеру вошли двое осужденных. Один был совсем молодой, с заплаканными глазами. Старший буркнул ему:

— Нишкни. Авось кассацию уважут!

Унтер зычно прикрикнул на обоих и приказал Чангли-Чайкину следовать за ним. Старика повели по гулким лестницам наверх, и он как-то незаметно для себя оказался в огромном и заполненном людьми светлом зале. Сидя на скамье подсудимых, он видел по обе стороны от себя конвойных с примкнутыми к винтовкам штыками. Чтоб не глядеть в зал, Чангли-Чайкин уставился на какую-то мудреную штуковину на подставке перед судейским столом. Он вспомнил вдруг, что она символизирует закон и справедливость.

— ...Суд идет, прошу встать!.. Прошу садиться!

За столом, неестественно высоким и торжественным, сидели трое в мундирах, поодаль от них с пером в руке — видно, секретарь, а на скамьях внизу — тринадцать присяжных: тринадцатый был запасным. Справа от судей за отдельным столиком сидел молодой вертлявый господин в мундире — товарищ прокурора, а слева — Золотарев во фраке. Его-то Чангли-Чайкин знал в лицо очень хорошо: кто же в Таганроге его не знал? «Вот кого взял мне Ваня»,— с благодарностью подумал старик. Он не

чувствовал никакой обиды, что перегруженный делами защитник не удостоил его посещением в тюрьме.

— Подсудимый, встаньте! — строго сказал председательствующий.

Чангли отлично его знал: это был сам председатель окружного суда, действительный статский советник Боголюбов.

Боголюбов посмотрел на Чангли-Чайкина даже как будто с сожалением. Он знавал ранее этого таганрогского купца. Как же его угораздило?

— Признаете ли вы себя виновным? — задал Боголюбов стереотипный вопрос, на который, как известно из литературы, один подсудимый во французском суде ответил: «Как же я могу сказать, признаю ли я себя виновным, если я еще не слышал показаний свидетелей и не знаю, насколько они меня изобличают?!»

Чангли-Чайкин ответил проще, слабым, еле слышным голосом:

— Нет, ваше превосходительство, не признаю. Потому — невиновен я!

— Хорошо, потом расскажете,— махнул рукой Боголюбов, раздосадованный непризнанием подсудимого. Это вызывало необходимость в подробных допросах свидетелей и неминуемо затягивало процесс.

Первым был допрошен понятой, при обыске показавший, что сам ощущал запах керосина и видел в углу брошенную бутылочку. Это вполне совпадало с данными оглашенного в самом начале судебного заседания обвинительного акта, содержавшего, между прочим, и аналогичные показания экспертов. Прокурор победоносно поглядел на своего знаменитого противника, ответившего ему едва заметной насмешливой гримасой, и, когда пришло время обвинителю задавать вопросы подсудимому, прокурор, как говорится, «не слезал» с этого самого предательского запаха. Спрашивал он не без едкости:

— А скажите, подсудимый, вы ведь керосином не торговали? И освещение у вас, как видно из обвинительного акта, было газокалильное?

— Так точно,— упавшим голосом подтверждал Чангли, понимая, что гибнет.

— Так откуда же у вас в магазине взялись и бутылка из-под керосина, и керосиновый запах?

— Не могу знать,— уныло отвечал подсудимый, перешедший с отчаяния на солдатский язык.

— Ах, вы не можете знать,— насмешливо подхватил молодой прокурор, предчувствуя, что этот процесс создаст ему имя и положение.— А скажите, что же именно вы можете знать? Откуда взялся запах керосина? Может быть, эксперты страдают болезненным извращением обоняния и им чудится керосин там, где на самом деле лишь запах гари?

В этом месте острослов председатель остановил прокурора и насмешливо внушил ему, что прокурор, кажется, не кончал медицинского факультета и специалистом в области болезней уха, горла и, конечно, носа считаться не может.

Прокурор сильно покраснел и спросил уже попроще:

— Подсудимый, не можете ли вы привести причину появления в лавке и керосина, и его запаха?

— Нет, не могу,— слабеющим голосом ответил Чангли.

Председатель пристально на него поглядел — не теряет ли тот сознание, но увидел, что это не обморок, а естественный испуг перед грозным прокурором, и в свою очередь задал вопрос довольно мягко:

— Может быть, перед пожаром кто-нибудь из вашей семьи ходил за керосином для лавки и, возвратившись, случайно разлил его?

— Нет,— окрепшим голосом ответил подсудимый, взявший себя, видимо, в руки.— У меня в лавке газокалильное освещение.

— Больше вопросов не имею! — торжествующим голосом заявил прокурор и, раздвинув фалдочки вицмундира, уселся.

Слово перешло к Золотареву.

И Золотарев задал вопрос, который заставил председателя вскинуть свою красивую голову с серебристыми кудрями:

— Подсудимый, а как вы считаете, остался бы в лавке запах керосина и осталась бы несгоревшей бутылочка из-под керосина, если бы и керосин был разлит, и бутылочка была брошена, п е р е д, а не п о с л е пожара?

Подсудимый в ответ на вопрос адвоката молчал. Точно отсвет пожара промелькнул по его посеревшему лицу, губы его шевельнулись, но он ничего не сказал. Тогда

адвокат поднялся и ясным, несколько форсированным голосом сказал:

— Господа судьи, я ходатайствую об изменении установленного обвинительным актом порядка допросить сейчас же хотя бы одного из экспертов, приглашенных по делу!

Председатель пошептался с членами суда и провозгласил:

— Суд удовлетворил ходатайство защитника.

Потом он вызвал благообразного старика с серебристой бородой, богатого оптового торговца керосином Турицына.

Турицын был приведен священником к присяге, врастяжку, точно на клиросе, повторяя за гривастым попом слова присяги, потом с достоинством уставился на судей.

— Господин эксперт,— обратился к нему Боголюбов,— вот вы слышали вопрос господина присяжного поверенного Золотарева к подсудимому относительно...

Турицын громко и взволнованно сказал:

— Так точно! Слышал! И понял-с! Так вот, позвольте доложить, ваше превосходительство, что, по моему понятию, будь керосин разлит перед поджогом, коли тут был поджог, а бутылочка с остатками керосина была бы здесь же брошена, то после того, как там отполыхал пожар, ни керосинного духа, ни керосиновой бутылочки не стало бы! Аминь...

Это «аминь» прозвучало уместно: сказанное вскоре после принятой экспертом церковной присяги, оно как бы служило ее продолжением. Расчет эксперта был сделан правильно и достиг нужного или желательного ему эффекта. Кто-то в публике громко сказал: «А ведь верно!» Боголюбов посмотрел было в сторону сказавшего, но промолчал.

— Вопросы у сторон к эксперту есть? — спросил Боголюбов, не глядя ни на прокурора, ни на адвоката.

— Нет,— нарушая порядок очередности, ответил адвокат.

— Есть,— пролепетал растерянный прокурор. Он спросил эксперта, чуть насмешливо посмотревшего в его сторону, вернее, только скосившего глаза, потому что он был обязан смотреть на председателя: — Скажите, эксперт, разве запах керосина совсем истребляется огнем?

— Это — смотря сколько керосина и сколько огня,—

уже открыто насмешливо отвечал иконописный эксперт.— В данном же случае керосина вроде было мало — махонькая склянка, а огня много — весь товар на две тысячи рублей сгорел, да пожалуй, что и поболее!

Адвокат тотчас вцепился в эксперта:

— Стало быть, вы считаете, что подсудимый, получив страховки две тысячи, своих убытков не покрыл?

— Где там! — махнул рукой эксперт.— Цельный магазин!..

Адвокат сел с очень красноречивым видом: вот, дескать, страдальца на скамью подсудимых посадили!

Боголюбов усадил эксперта и вызывал по очереди остальных. Оба, один — молодой, скороговористый, другой — степенный, судя по всему, «твердый орешек», в голос подтвердили справедливость слов допрошенного эксперта: если керосин и был разлит до пожара всего с бутылочку, то запаху не осталось бы. А может быть, две бутылочки было: одна — до пожара, другая — после?

Свидетелей допросили наскоро:

— Был пожар?

— Был.

— Все сгорело?

— Все.

— Запах керосина слыхали?

— Слыхали.

— Садитесь!

После сбивчивой речи прокурора слово предоставили Золотареву. Он был на этот раз предельно краток:

— Мы должны в пояс поклониться эксперту господину Турицыну, а за ним и остальным экспертам за то вразумление, которым они нас просветили. Да, просветили, я иначе и не мыслю сказать! Кто-то, злой и преступный, или глупый шутник, пролил из бутылки керосин на потухшее пожарище, а может быть, поджигатель намеренно кинул бутылку,— и вот злосчастный, разорившийся от пожара почтенный купец пошел под суд, испытал горечь презрения, позор скамьи подсудимых! Самое меньшее, что может теперь сделать для него суд,— это оправдать.

Присяжные оправдали Чангли-Чайкина, и суд немедленно освободил его из-под стражи. Когда он, окруженный толпой, обнявшись с ликующим Ваней, шел к выходу, ему в ноги кинулся плачущий Ильюшка.

— Петрович,— рыдал он,— это я, убоявшись гнева

проклятой «Саламаидры»... Это я облил твое сгоревшее добро керосиином... Это я кинул бутылочку! Вяжите меня, православиые!

Но иикто ие придал значения бессвязиой речи старика. Ииые же, зная его пристрастие к спиртиому, говорили, покачивая головой:

— До чего водка доводит человека!

Они ие зиали, до какой степеии были правы. И только заведующий отделением «Саламандры» Соломатенко, когда ему рассказали о происшествии, подумал: «Ах, старый черт! Вот кто попытался исправить иаше положение бутылочкой керосииа! Да теперь ведь все равио...»

И в самом деле, вышло «все равио»: раз Чангли-Чайкин был судом оправдаи, стало быть, ие было и поджога, и убыток страхового общества остался убытком.

Без объясиеиий причии Ильюшка был Соломатенко уволеи. Впрочем, он объяснений и ие спрашивал...





Городской голова

История многих людей в старом Таганроге причудлива и петлиста.

Таганрогский аптекарь И. Дельсон, хилый и маленький старичок с козлиной бородкой, обладал фантазией и тщеславием Тартарена из Тараскона. Начиная хвастать, он терял всякую меру. Из его рассказов помнится запутанная история о необычайной дружбе, которую якобы Достоевский питал к аптекарю. Когда старый враль бывал в ударе, из его повествования можно было заключить, что он писал для своего друга наиболее трудные главы романов, а, например, «Преступление и наказание» будто бы было написано Дельсоном целиком, с начала и до конца, и к тому же — за один вечер.

Трагедия беззлобного враля была в том, что местные слушатели знали его репертуар наизусть и неделикатно высказывали ему недоверие. Рассказчику это было до крайности обидно — он сам, увлекаясь, верил в то, что рассказывал.

Но случилось однажды так, что ему поверили, и окончилось это худо.

Странные дела стали твориться в городе. Осенью 1917 года в Таганрог приехал бежавший из Петрограда кадетский лидер Родичев и выступил на митинге, организованном местными кадетами в большом зале кинотеатра «Аполло». Тон ораторских выступлений по адресу большевиков был явно погромным.

В зале бросалось в глаза обилие калединских офицеров и юнкеров, демонстративно аплодировавших заявлениям о скорой гибели «захватчиков власти».

Неожиданно на сцене появился Дельсон. Он был в чрезвычайном ажиотаже. Наконец-то его будут слушать не двое-трое знакомых, а полный зал! Задыхаясь от волнения и радости, он закричал, напрягая старческий, надтреснутый голос:

— Карл Маркс не раз советовался со мною, когда писал свои труды!..

В зале вспыхнул смех, но в группе офицеров, державшихся особняком, раздались злобные выкрики:

— Кто пустил этого большевистского прихвостня?!

— Наверно, он приехал в запломбированном вагоне!

— Да, в запломбированном! — крикнул в восторге аптекарь.— Слушайте же, я вам сейчас расскажу, как мы ехали...

Но знакомые уже уводили полупомешанного старичка за кулисы.

Он немного посидел там в одиночестве, что-то бормоча и с кем-то продолжая спорить, потом, нащупав в полумраке дверь, вышел в темный сад, шумевший голыми верхушками деревьев. А утром аптекаря нашли на аллее мертвым, с головой, размозженной чем-то тупым и тяжелым, вероятно рукояткой офицерского пистолета...

Может быть, этот рассказ нуждается в добавлениях. Может быть, стоит рассказать о неожиданном знакомстве старого аптекаря с городским головой, меценатом и богачом доктором Павлом Федоровичем Иорданиовым, с которым состоял в переписке Чехов, и о странной попытке аптекаря связать свое имя с сооружением в Таганроге памятника Петру Первому.

Иорданов был женат на богатейшей землевладелице Таганрогского округа Лякиер. Землевладелице, а не

помещице: ей принадлежало не так уж много (на тогдашний счет) сотен десятин земли, но вся эта земля была под знаменитыми фруктовыми садами промышленного значения. Злые языки говорили, и, кажется, не без основания, что истинная девичья фамилия жены городского главы была не Лякиер, а Лякер: буква «и» заставляла звучать фамилию на французский манер. Кажется, аптекарь Дельсон состоял в каком-то родстве с семейством Лякер. Вероятно, так и было, иначе чем объяснить частное знакомство старого бородатого аптекаря с блестящей дамой, всегда одетой по последней парижской моде, женой будущего члена Государственного совета?

А между тем мадам Иорданова частенько заезжала в квартиру Дельсонов и подолгу беседовала с женой аптекаря, знаменитой в городе Миной Марковной. Это была веселая и острая на язык старуха. Позже, в 1914 году, когда Мину Марковну война застала на каком-то заграничном курорте и она кружным путем, морем через Швецию, вернулась в Таганрог, счастливо избегнув немецких мин, она сама острила по этому поводу, что, мол, старику Дельсону не повезло: жена его избежала мин, а он сам столкнулся с Миной.

Впрочем, она относилась к старику очень заботливо и терпимо. Его отчаянную похвальбу и вранье она пропускала мимо ушей и только с сожалением наблюдала, как подраставшие два ее сына, Роберт и Иосиф, полностью и даже, кажется, с добавкой унаследовали склонность отца к лживым и хвастливым рассказам.

Иногда мадам Иорданова приезжала к старикам Дельсонам со своими двумя же сыновьями — сверстниками сыновей Мины Марковны — Михаилом и Сергеем. Оба мечтали о поступлении в привилегированное высшее учебное заведение, училище правоведения или хотя бы в Александровский лицей. Оба были оболтусами, но каждый на свой лад: Михаил был оболтус меланхолический, а Сергей — сангвиник. Это мало что меняло. И Михаил и Сергей считали появление их матери у жалкого аптекаря ужасным шокичгом. Они сидели за столом «этого старого еврея» вытянувшись, точно аршин проглотивши. Мина Марковна радушно приглашала их отведать многочисленные вкусные яства, стоявшие на столе, но они чопорно отказывались, щелкая под столом каблуками лаковых туфель.

— Да вы кушайте,— уговаривала их Мина Марковна.— Вы, может, думаете, что мы кладем в пироги христианскую кровь? Нет, мы ее кладем только в мацу!

Она не очень весело смеялась. Мадам Иорданова делала ей большие глаза.

Возможно, что именно чопорные Михаил и Сергей Иордановы зародили в Роберте и Иосифе Дельсонах тягу «наверх». Роберт рвался в столицу, а Иосиф однажды заявил матери, что у него открылся голос и что он поступит в консерваторию.

— Голос? — язвительно переспросила Мина Марковна.— Голос тебе пригодится и на юридическом факультете.

Добыть обоим сыновьям звание помощника присяжного поверенного было для Мины Марковны пределом мечтаний. Роберт вскоре уехал учиться в Петербург, и следы его на много лет затерялись. Только в конце двадцатых годов его фамилия промелькнула в нашей прессе: эмигрировав в Лондон, Роберт Дельсон, бывший русский присяжный поверенный, стал видным адвокатом в Англии с немалой известностью и практикой. Именно ему, судя по газетам, поручила одна из уцелевших русских великих княгинь ведение знаменитого дела об истребовании бриллиантов русской короны. Дело это он, впрочем, с треском проиграл.

Что же касается Иосифа Дельсона, то, учась на юридическом факультете в столичном университете, одновременно — по крайней мере, по его утверждению — он учился в Петербургской консерватории по классу пения, совершенствуя свой природный бас. Хотя, приезжая на вакации в Таганрог, он подробно рассказывал о своих необыкновенных успехах именно в пении, таганрожцы ему не верили. Легкомысленной репутации Оси, как все звали Дельсона-младшего в Таганроге, способствовали его смешная наружность круглолицего толстяка с бычьей огромной головой и его желание выглядеть «белоподкладочником», как тогда называли особо франтящих и подражающих гвардейским офицерам студентов.

Конечно, оба молодых Иордановых, приезжая на рождественские каникулы в Таганрог, далеко оставляли за собой Оську, хотя тот напяливал студенческий мундир, который так редко можно было увидеть (студенты обычно носили тужурку или форменный сюртук),

и шпагу, что совсем уж было в редкость. Рядом с блестящими мундирами лицеистов, в которых щеголяли высокие, худосочные и прыщавые братья Иордановы, Оська проигрывал и сам это понимал. Он компенсировал проигрыш неимоверной похвальбой о своих успехах певца. Он уже утверждал, что его приняли на сцену императорского Мариинского театра в Петербурге, что он дебютировал в Милане в театре «Ла Скала» в роли Мефистофеля и что Шаляпин от зависти заболел. Когда же таганрожцы приглашали Осю спеть на благотворительном концерте или просто на именинах, Ося обижался и отвечал, что ему профессора запретили петь слишком часто:

— Я ведь не любитель какой-нибудь!

Что касается Дельсона-отца, тот удваивал и утраивал похвальбу младшего сына и рассказывал истории совсем уж фантастические, например, что итальянский король Виктор Эммануил валялся в ногах у Оси, умоляя навсегда поселиться в Италии, или что папа римский катал Осю в ландо, причем прохожие спрашивали друг друга: «Кто этот старик, который сидит в ландо рядом с знаменитым русским певцом Иосифом Дельсоном?!»

Потом Ося вдруг переменил амплуа. Спустя год или два, приехав в Таганрог, он уже ни слова не говорил о консерватории и о своих успехах певца, а солидно рокотал (бас-то у него все же был!) о своей карьере банкира. Будто бы знаменитый банк Лионского кредита пригласил его на пост вице-директора.

На следующий год слегка облысевший Дельсон-младший толковал уже не о Лионском, а о Международном банке, к тому же утверждая, что побывал в Лондоне у английских финансистов и договорился занять должность директора ростовского филиала.

— Разве вы говорите по-английски? — высокомерно спросил его старший из сынков Иорданова.

— Лучше, чем вы — по-русски,— дерзко ответил Ося.

— Говорит ли он по-английски? — с хорошо деланным удивлением переспрашивал любопытствующих знакомых Дельсон-отец.— Я сам читал ему вслух Диккенса по-английски, когда Осе было десять лет!

Забегая несколько вперед, скажем, что в 1919 году в Ростове он действительно занял пост директора крупного отделения именно Международного банка. Как и

почему это случилось — неизвестно. Но случилось. Ося был поистине человеком больших неожиданностей!

Правдой отчасти обернулось и вранье Дельсона-отца относительно собственных его связей с русскими писателями. Что касается сказки о близости с Достоевским — Дельсон утверждал, что «Братья Карамазовы» написаны под его, аптекаря, влиянием,— это было чепухой, а вот случайное личное знакомство аптекаря с Чеховым, кажется, и в самом деле произошло.

В один из приездов в Таганрог Антон Павлович както зашел вечером в аптеку Дельсона. Со звоном открылась дверь в аптеку, и на звонок из каких-то глубин, а точнее — из квартиры, спрятанной на антресолях, вышел заспанный аптекарь с седеющей бородой и ворчливо спросил, что надо. Он взглянул на рецепт, бормоча жалобы на судьбу, не дающую покоя ни днем, ни вечером, и вдруг прочел латинские слова «Pro me», что значит — «Для меня», и увидел подпись Чехова. Он внимательно посмотрел поверх очков на посетителя...

Это было возможно. Но дальше шло уже то, что на таганрогском языке именовалось «брехня»: Дельсон будто бы обнял Чехова, который, как известно, вовсе не был склонен к фамильярностям, и повел его к себе на антресоли, где Ося стал не то петь для гостя «Блоху», не то читать вслух Шекспира в подлиннике.

В рассказе «Неосторожность» Чехов смешно описывает старого аптекаря, жалующегося на судьбу: «Каждая собаке, каждая кошке имеет покой...» Дельсон клялся, что это списано с него. Утверждал старый Дельсон еще и другое: что именно он подал городскому голове Иорданову идею просить Чехова помочь в сооружении в Таганроге памятника Петру Первому. Дело было так: однажды аптекарь вошел в свою гостиную, когда там была мадам Иорданова, и не очень внятно произнес взволнованный монолог. В общем, урожденная Лякнер поняла просьбу старика передать мужу, что если уж ставить кому-нибудь в Таганроге памятник, о чем усиленно говорят, то именно Петру, поскольку он насадил здесь дубовую рощу и лично посетил город. Правда, город посетил и другой царь, Александр Первый, и даже всемилостивейше соизволил умереть здесь, но рядом с Петром он проигрывал и ростом и заслугами, и к тому же одному Александру, именно Второму, памятник в

Таганроге уже имелся. Помнят старые таганрожцы, что какие-то колебания в выборе царской фигуры для памятника среди управцев были. Кто знает, может статься, что мнение властной мадам Иордановой, если только она приняла точку зрения Дельсона, и сыграло какую-то роль...

Деятельная переписка Чехова с городским головой Иордановым хорошо известна. Известно, что именно по просьбе Чехова замечательный скульптор Антокольский безвозмездно выполнил модель памятника и отлил в бронзе за свой счет, не взяв с города ни рубля. Такова была дань любви замечательного скульптора замечательному писателю.

Привычные хапуги из так называемого городского самоуправления Таганрога меньше всего ожидали отказа прославленного скульптора от многотысячного гонорара и заранее заверстали в свой личный доход некий «навар», привычный для них во всех случаях подрядов и поставок для города. Узнав, что заказ столичному скульптору должен стоить тысяч двадцать пять, а то и больше, управцы составили смету на сорок две тысячи рублей, считая, что тысяч пятнадцать им останется наверняка. Если бы член управы Кулаков, непосредственно ведавший материальной частью, к тому времени не проигрался шибко в карты, возможно, что он не стал бы форсировать события. Однако ему невмоготу стало ждать представления счета, и он уже заранее положил в карман пятнадцать тысяч городских средств, имея в виду позже «перекрыться» исполнительной сметой. Антокольский сразу же разбил все расчеты хапуги, отказавшись от вознаграждения. Об отказе напечатала местная газета «Таганрогский вестник», известие распространилось слишком широко. Что же оставалось делать? Вернуть в кассу пятнадцать тысяч?

Павлу Федоровичу Иорданову, чуждому корысти (благодаря крупному состоянию жены он в деньгах не нуждался), стало доверительно известно о затруднениях члена управы Кулакова, и он рвал и метал. Что скажет Чехов?! В суд! Прокурору! Доложить на заседании городской думы!

Пыл Павла Федоровича охладила его супруга. Дело в том, что шалопаи сыновья то и дело присылали ей слезные письма с просьбой перевести телеграфом от од-

ной тысячи до трех, во избежание «бесчестия и пули в лоб»: речь обычно шла о карточных проигрышах то старшего, то младшего оболтуса, изо всех сил подражавших в столице образу жизни золотой молодежи. Елена Александровна Иорданова предпочитала улаживать неприятности, не посвящая в них мужа, человека вспыльчивого. Она брала деньги у своего управляющего садами. На этот раз управляющий заупрямился: урожай еще не поспел, а продавать на корню — значило продешевить немало. На помощь любящей матери пришла случайность: история с присвоением Кулаковым крупной суммы в счет ожидавшегося, но сорвавшегося «отчисления». Посредницей оказалась аптекарша Мина Марковна.

Зная о знакомстве или даже, быть может, родстве ее с блестящей супругой городского головы, Кулаков поведал ей свое горе.

— Мадам Дельсон,— сказал в заключение, задыхаясь от астмы, толстяк Кулаков, с багровым лицом и огромной шишкой на лбу,— выручайте! А уж что касается благодарности...

— Пять тысяч,— коротко сказала Мина Марковна.

Кулаков открыл рот и даже не делал усилий его закрыть.

— Да, пять,— твердо повторила Мина Марковна.— Иорданихе для сына надо три, а мне, по-вашему, за хлопоты две много?!

Порешили на четырех. Точно предвидя размер неизбежной жертвы, Кулаков прихватил с собой завернутые в носовой платок именно четыре тысячи рублей хрустящими пятисотенными с изображением Петра, из-за памятника которому загорелся сыр-бор. Сделка состоялась, и на следующий день, утром, умиротворенная Елена Александровна сказала мужу:

— Поль, ты просто ничего не понял в истории с этими глупыми деньгами. Оказывается, Кулаков истратил на памятник не пятнадцать, а гораздо больше!

— Да, он проиграл восемнадцать,— язвительно согласился Иорданов.

— Да нет же, он уплатил рабочим за эту... как ее? Отливку!

— За отливку памятника в бронзе уплатил сам Антокольский,— сердито возразил городской голова.

Мадам Иорданова мило засмеялась.

— Что-то там оказалось не в порядке, пришлось заново переливать. Да у Кулакова все расписки!

— Это кто же, твоя Мина поведала?

Лицо Иорданова, холеное лицо интеллигента лет за сорок, покраснело от гнева. Впрочем, нос у него всегда и в спокойном состоянии почему-то сохранял бурачный оттенок, хотя никто никогда не видел городского голову в состоянии подпития.

— Я не понимаю, зачем ты к ней ездишь! — крикнул Иорданов с запальчивостью и стукнул кулаком по столу.

Видимо, этот жест был лишним. С Иордановым случилось то самое, что и до и после него случалось со слабыми людьми: он переиграл и вынужден был отступить. Елена Александровна разбушевалась и даже прибегла к угрозе «порвать с вами и уехать!». Павел Федорович особенно был травмирован этим местоимением во множественном числе: он в душе всегда опасался, что его блестящая и богатая жена когда-нибудь бросит его. Примирение состоялось на условиях безоговорочной капитуляции мужа. О деньгах, будто бы присвоенных Кулаковым, с этого момента не стало речи ни между супругами, ни в думских кругах. Пятнадцать тысяч рублей были списаны на памятник Петру Первому. Сам гневливый царь поступил бы, наверно, иначе и велел бы Кулакова отодрать, но царствовавший тогда Николай Второй был милостив к хапугам, и вообще, как говорится, ему было не до того.

Десятилетием или двумя позже Павел Федорович Иорданов, уже не городской голова, а член Государственного совета, возил автора этих строк на прием к знаменитому министру просвещения царской России Кассо.

Этот был тот самый год, когда впервые за всю историю царской России ее министра били по физиономии в присутственном месте. Ранее бывало всякое: министров убивали бомбой, стреляли в них, но бить по лицу — не били. В этом смысле молодой, жизнерадостный министр Кассо был, так сказать, новатором.

Дело было так. Кассо сидел с дамой в известном петербургском ресторане Донона, когда в зал вошел студент-первокурсник, сын этой самой дамы, и, увидев свою мать с каким-то посторонним мужчиной, отмстил за честь отца: подошел и залепил кавалеру звонкую по-

щечину. Кассо не нашел ничего лучшего, как вскочить и крикнуть на весь замерший зал:

— Как вы смеете?! Я — министр его императорского величества!

Тотчас двинулся из-за своего прикрытия всегда дежуривший в ресторане околоточный и добросовестно составил протокол о том, что «студент Беликов ударил рукой плашмя по лицу господина Кассо Льва Аристидовича». Протокол облетел все либеральные газеты, давно точившие зубы на ультрачерносотенного министра. Университеты России ответили на известие трехдневными забастовками протеста, а царь, видимо в утешение, пожаловал Кассо высший орден империи — Андрея Первозванного, и битый сановник продолжал ведать «просвещением».

Это произошло в марте 1912 года, а незадолго, в октябре 1911-го, я приехал в Петербург хлопотать о переводе с первого курса юридического факультета Харьковского университета на такой же курс Петербургского. По идее это, казалось бы, не заключало особых трудностей, но по циркуляру Кассо было затруднено до крайности. Циркуляр предписывал «лицам иудейского вероисповедания» поступать только в университет «своего» округа. Своим округом я должен был считать Харьковский, поскольку окончил Таганрогскую гимназию, входившую в этот округ. Я туда и поступил.

А вот теперь я искал возможности перевестись в столичный университет по семейным обстоятельствам (моя родня жила в Петербурге).

Мой отец списался с Иорданом — коллегой по врачебной профессии, и милейший Павел Федорович немедленно изъявил согласие мне посодействовать. Он был рад показать землякам свое могущество в новом положении члена Государственного совета.

В общем, в некое холодное, серое петербургское утро за мной на Пески заехал в своей карете Иорданов.

День оказался неприемным. Впрочем, общий прием мало нас устроил бы: обычно посетителей («просителей») выстраивали в зале полукругом, а сановник обходил всех и две-три минуты выслушивал жалобы и просьбы каждого. Затем секретарь отбирал заранее приготовленные прошения — и машина двигалась дальше. Трудно было в таких условиях добиться толку!

Визитная карточка Иорданова с указанием его положения члена высшей «законодательной» палаты сделала свое дело: министр принял нас в своем мрачном кабинете, наполовину занятом огромным письменным столом. Это был совсем нестарый человек, с каштановой бородкой клинышком, в визитке, с бриллиантовой заколкой в галстуке. Словом, у министра оказался довольно интеллигентный вид.

Кассо поздоровался с нами кивком головы и пригласил сесть.

— Чем могу?..— спросил он приятным баритоном, обращаясь к Иорданову.

Иорданов вынул заранее заготовленное прошение, заговорил, и я с удивлением заметил, что он робеет и, вероятно, потому излагает суть дела довольно бестолково. Кассо, впрочем, его понял.

— Молодой человек — иудейского вероисповедания? — вежливо переспросил министр, глазами указав на меня. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Дайте прошение.

Иорданов подал, и Кассо острым четким почерком написал в уголке резолюцию, которую тут же и прочел вслух:

— «Перевод разрешаю при условии, что одновременно какой-либо студент императорского Петербургского университета, также иудейского исповедания, пожелает перевестись в Харьков».

Нам ничего не оставалось делать, как откланяться и уйти.

— Хочет баланс соблюсти... каналья! — процедил еле слышно Иорданов, когда мы вышли на улицу.— Все же надо попробовать!

Я попробовал. В газете «Русское слово» поместил объявление: «Ищу студента Петербургского университета, еврея, желающего перевестись в Харьков. Звонить по телефону...» Над этим объявлением в те дни в столице много потешались, и мне со всех сторон звонили остряки.

— Желаете вывести гонимое племя из Петербурга? А как обмен, с доплатой?

В конце концов отыскался вполне серьезный претендент. Я помню, что его звали Гриша Барский и что он

отлично играл на бильярде. Нам казалось, что дело в шляпе: ведь есть резолюция господина министра!

Мы написали и передали в канцелярию короткое прошение на имя Кассо: «согласно Вашей резолюции» и прочее, я желаю перевестись в Петербург, а Барский — в Харьков.

К нашему изумлению и огорчению, Кассо нам отказал. Основание? Вот оно: «Имея в виду, что один из просителей — студент юридического факультета (это я), а другой — физико-математического (Барский)».

Я был уже в Харькове, когда до нас докатилась весть о мордобое в ресторане Донона. На общефакультетской сходке я внес к основному предложению о трехдневной забастовке добавление: «Выразить коллеге благодарность за нанесение пощечины». Поправку встретили дружным смехом, но отвергли...





Букет

Немецкий ландштурм, последиий резерв гермаиского кайзера, иарушил условия Брестского договора. Тагаирог давио уже перешел из Екатериностлавской губернии (Украииа) в состав Области войска Доиского, то есть в состав РСФСР, и по точиому смыслу договора ие подлежал оккупации. И все же гермаиское комаидование в апреле 1918 года двинуло войска к Азовскому морю.

Первого мая раио утром в Тагаироге иачался переполох...

В помещение городской управы еще с вечера явился осведомлеиный об отходе большевиков в Ейск бывший городской голова, меньшевик, прапорщик Михайлов и с ним еще двое местиых деятелей. Оии попытались соединиться по телефоиу с Марцево, ближней стаицией, чтобы узнать о продвижеиии иемецких войск, ио безуспешно.

— Плохо,— сказал Михайлов, молодой человек с невыразительиым лицом. Старые члены городской упра-

вы кооптировали его и сделали городским головой главным образом за молчаливость и вежливость в обращении («Смотрите: эсдек, а первым здоровается!»). Став мэром города, Михайлов обрел металл в голосе, дотоле тихом и почтительном.

Второй из компании — член управы Боровский, пожилой беспартийный инженер, с отвисшими щеками и бородкой клинышком, молча, с надеждой посмотрел на третьего из присутствующих, присяжного поверенного Аркадия Семеновича Бесчинского. Этот не был членом управы, но явился сюда как общепризнанный лидер местного комитета кадетской партии.

Аркадий Семенович обладал наружностью испанского гранда: он был высок, строен, с черной эспаньолкой и усами колечками. Темные с поволокой глаза его и мягкий вкрадчивый голос привлекали женские сердца.

— Наверно, станция оставлена большевиками, а немцы еще не заняли ее,— сказал Бесчинский.— Некому отвечать. Подождем!

Михайлов, которому в качестве эсдека надлежало бы критически относиться к высказываниям политического противника — кадета, смотрел в рот Бесчинскому. Он ужасно боялся, что Таганрог почему-либо не будет в ближайшие часы оккупирован немецкими войсками и возникнет опасность захвата власти «чернью». Бесчинский его успокоил:

— Раз уж немцы решили скушать и Таганрог, они это сделают!

Боровский предложил идти по домам, но Михайлов запротестовал: а вдруг ночью произойдут события? Например, от немцев поступит ультиматум?!

— Вы правы, останемся. Служение народу требует жертв,— не то насмешливо, не то всерьез сказал своим мягким красивым голосом Бесчинский.

Рано утром в кабинете требовательно зазвонил телефон. Первым проснулся Бесчинский. Он вскочил с дивана и схватил трубку:

— Городская управа слушает!

Он ожидал, что с ним заговорит по крайней мере германский полковник.

Но в трубке раздался знакомый голос Виктора Михайловича Буштаба, коммерческого директора металлургического завода Нев, Вильде и К°, молодого еще

мужчины, с красивой ассирийской бородой жгуче-черного цвета, вечного и часто удачливого конкурента Бесчинского и на политическом поприще и на женском фронте:

— Аркадий Семенович? Получен из Марцево ультиматум от германского командования, едем сейчас сдавать город. Едут члены управы — эсеры, эсдеки и я — от партии конституционно-демократической (деятели этой партии не любили, когда их называли попросту кадетами). Надеюсь, вы не возражаете?

Бесчинский мысленно заскрежетал зубами («И здесь обскакал! Перехватил ультиматум, сукин сын!»), но в трубку сказал вежливо:

— Может, и мне бы следовало поехать с вами?

— Нет места! — заявил Буштаб.— Да и некогда: истекает срок ультиматума! Значит, договорились?

И добавил:

— Или вы против сдачи города и желаете дать сражение немецким войскам?

Так как Бесчинский от злости молчал, то его собеседник насмешливо сказал:

— Ну, пожелайте нам успеха!

И положил трубку. Нахал, нахал!

Бесчинский все же решил опередить Буштаба, не открывая, однако, карт Боровскому, а в особенности Михайлову («Как-никак городской голова. Этот козырнее членов управы!»). Он им сказал, что звонили немцы со станции Марцево, требуют сдачи города. Надо ехать.

— Нужен автомобиль! Автомобиль, понятно?

— Большевики угнали все машины! — испуганно сообщил Михайлов.— Поедем в кабриолете!

— А лошадь? — спросил Боровский, оживая. До этой минуты он молчал. Руки у него тряслись, он ежеминутно смотрел на часы.

— По-моему, лошадь они с собой на пароход в Ейск не взяли,— заметил Бесчинский.— Велите запрягать!

Михайлов потоптался с минуту, потом сказал:

— Я видел, кучер управы Дмитрий ушел с большевиками...

— Идем! — крикнул Боровский, и все трое бросились в дверь.

Во дворе управы было пустынно. Дощатая дверь конюшни, раскрытая настежь, скрипела на ветру ржавыми петлями.

В конюшне царил полумрак: маленькое окошко у самого потолка еле пропускало свет. За решетчатой дверью в глубине конюшни тыкалась мордой в прутья решетки небольшая караковая кобылка. Увидев Михайлова, она приветственно заржала.

— Вы умеете запрягать? — спросил Бесчинский.— Имейте в виду, осталось двадцать минут!

— Сейчас увидите, что вы тоже умеете! — огрызнулся Михайлов, и все трое принялись за дело: выкатили во двор из сарая щегольской кабриолет, вывели из денника лошадь и затолкнули в оглобли.

— Кто будет править? — отрывисто спросил Боровский.

— Я! — сказал Михайлов и влез на козлы. Кобылка заплясала на месте.

— Откройте ворота! — крикнул Бесчинскому Михайлов, с трудом сдерживая лошадь. Боровский молодецки вскочил в экипаж. Бесчинский рысцой побежал к воротам...

Через минуту кабриолет помчался по Петровской улице за город. Немногочисленные в этот ранний час прохожие с величайшим интересом глядели вслед необычному выезду с важными седоками и еще более важным кучером. Уже за городом, у здания больницы, Михайлов натянул вожжи, откинувшись назад, почти на головы седоков.

— Белый флаг! — взволнованно воскликнул он.— Пойдите, Аркадий Семенович, в больницу и попросите простыню!

Бесчинский послушно соскочил с подножки экипажа и ринулся в двери обветшалого двухэтажного здания.

— Иван Иванович, скорее белую простыню! — крикнул он, вбежав в фельдшерскую.— Едем сдаваться!

Фельдшер, известный всему городу Иван Иванович Иванов, пошевелил рыжими усами и спросил себя, не с пьяных ли глаз померещилось такое. Он стоял в нерешительности, когда Бесчинский, вздымая к небу запачканные дегтем руки, сказал с одышкой:

— Немцы! Понимаете? Еще десять минут, и начнется обстрел. Скорее простыню!

Фельдшер исчез и мгновенно появился в дверях с простыней. Схватив ее, как эстафету, адвокат ринулся назад.

Экипаж помчался дальше за город, к станции Марцево, по пыльной дороге меж зеленевших юной зеленью полей, вдоль берега Азовского моря, такого узкого в этом месте, что ясно был виден противоположный берег.

— Скорее! — повелительно крикнул Боровский городскому голове — совершенно так же, как если бы на козлах сидел управский кучер Дмитрий. Михайлов послушно хлестнул по крупу лошади вожжами, кобылка, обидевшись, засбоила.

Подъезжая к станции Марцево, Бесчинский размахивал простыней; она развевалась от быстрой езды, как флаг. Но вот и станционное здание. С трудом остановив разбежавшуюся лошадь, Михайлов молодецки спрыгнул с козел. Боровский слез боком. Бесчинский, по-прежнему держа «флаг», поникший в его высоко поднятой руке, соскочил с подножки и вышел вперед. В конце концов, он один здесь говорил по-немецки. Но где германское командование? Где солдаты?! Ага, вот! Их что-то немного...

Из двери станционного помещения вышел пожилой немецкий обер-лейтенант-ландштурмист с двумя фельдфебелями-артиллеристами и остановился у двери, поджидая приехавших. У него был одновременно и усталый и нахальный вид; трудно сказать, как ему удавалось совместить эти два свойства.

— Мы — делегация от таганрогской городской управы,— сказал по-немецки Бесчинский, когда все трое подошли поближе.— Мы сдаемся!

— Кто вы? — спросил по-русски офицер, небрежно ковыряя носком сапога щебень у двери.

— Я — городской голова,— с важностью ответил Михайлов,— а это (он указал на Боровского) — мой заместитель.

— Кто он? — спросил немец, кивнув на Бесчинского.

— Я — лидер местного комитета партии конституционно-демократической,— сказал Бесчинский, чувствуя, что все идет как-то не совсем правильно.

Он огляделся, точно высматривая подходящий фонарный столб. Но фонарь здесь был только один, да и тот сам висел на крюке у входа.

Бесчинский побледнел, но нашелся:

— Вот этот,— он показал на Михайлова,— хоть и го-

родской голова, но социал-демократ, гораздо левее меня. Наша партия — за монархию.

— А! — сказал офицер.— Социалист — повесить, да. Но он бургомистр, так? Бургомистр нельзя повесить. Ляди! — оборвал он сам себя и рассмеялся громким глупым смехом. Сразу стало ясным, что раньше, чем надеть мундир ландштурмиста, он был на родине трактирщиком или лавочником.— Лядио! Мы сегодня не будем вешать. Идите домой! Наш командований уже подписаться. Ферштеен зи?

Он показал правой рукой в воздухе, как расписалось командование, и похлопал Бесчиского по плечу. Тот тяжело вздохнул, сообразив, что Буштаб и в самом деле обскакал его, подписав где-то («Но где?!») акт капитуляции.

Обманул, чертов ассириец!

Лошадь с кабриолетом офицер отобрал «для нужд кайзер-кенигсарме», и делегация ушла восвояси пешком.

— Непонятно, почему так мало немецких войск? — сказал Бесчинский.— Куда они подевались?

Боровский поглядел в сторону заводов и увидел вдали серую колонну, двигающуюся в Таганрог по другой, параллельной дороге.

— Вот, извольте видеть,— сказал он с таким торжествующим видом, точно это он ведет колонну занимать родной город.

— Так или иначе, мы, управцы, вступаем в свои должности,— заключил Боровский.— Кстати, Алексей Дмитриевич,— обратился он к городскому голове, шагавшему по пыльной улице предместья,— как вы полагаете поступить с выплатой нам жалованья за время вынужденного отстранения?

— А вы что полагаете? — спросил Михайлов признанного авторитета — Бесчинского.

— А как же иначе? — удивился Бесчиский.— Никто из служащих управы не должен материально пострадать из-за захватчиков власти!

— Никто из старших служащих,— внес поправку Михайлов.

Встретилась извозчичья пролетка. После краткого спора решено было ехать втроем, с тем чтобы Боровского и Михайлова извозчик доставил в управу, а Бесчинского отвез затем домой. Спор, собственно, касался

частного вопроса о том, кому именно из трех сидеть на скамеечке, приделанной к козлам. В конце концов спиной к движению согласился поехать Боровский, потому что Бесчинский сослался на свое лидерство в партии кадетов, а Михайлов напомнил о своем лорд-мэрстве.

— Первому лицу в городе неудобно въезжать в город спиной к встречающей публике,— сказал Михайлов.

Однако встречающей публики на этот раз не было. Город будто вымер. По улице с музыкой «Вахт ам Райн» и с барабанами уже шли немецкие войска. Упитанные лошади везли солидные пушки. Вступившая в Таганрог воинская часть, видимо, располагала точнейшими картами города, потому что, ни у кого не спрашивая дорогу, колонна безошибочно направилась к казармам, а господа офицеры — по квартирам, где их ласково и с искренней радостью встретили местные крупные купцы.

— Вот народ, у которого царит порядок,— с восхищением сказал Боровский. Михайлов и Бесчинский только вздохнули.

Назавтра жизнь города, как казалось эсдеку Михайлову и кадету Бесчинскому, вошла в свою колею. Заводы работали, лавки торговали, в управе стучали машинки. Вступил в свои права начальник милиции — местный адвокат, назначенный на эту должность еще при Керенском. Усатые городовые, переименованные тогда в милиционеров, снова стояли на постах и снова кричали плохо одетому человеку: «Куда прешь?!»

Немецких солдат и офицеров почти не было видно. Надо думать, они получили приказ «не раздражать население». Время от времени производились аресты среди рабочих и облавы по ночам в пригородах, но это совсем уж мало интересовало зажиточную часть города.

Вскоре таганрожцы узнали, что немецкие войска заняли и Ростов. Видимо, взятие Ростова давалось не легко, и, между прочим, им пришлось оттянуть из Таганрога войска. Именно к этому времени относится неожиданный обстрел Таганрога с моря...

...С приходом немцев снова в залах Коммерческого клуба были натерты желтым воском паркетные полы. Молчаливый столяр починил и подкрасил мебель. Старшина клуба богач Негропонте купил за собственный счет шелк на новые оконные драпри. Он же справил швей-

цару муидир с позументами. Клуб открылся для игры в карты и для увеселений.

Среди завсегдатаев клуба в часы игры появилась новая фигура: немецкий комендант, худой и высокий майор,— барон фон Гюльтлинген. По его словам, он оставил в Германии огромные поместья. Однако играл он по маленькой.

Сначала игроки стеснялись серого немецкого муидира, потом привыкли и весело приветствовали барона, который говорил по-русски и любил веселую шутку на немецкий манер. Например, когда кто-либо с грустью во взоре бродил по залам клуба, явно проигравшись вдрызг, комендант с невинным видом поздравлял его с выигрышем и первый хохотал над кислой улыбкой неудачника.

Однажды днем толстяк Негропонте, ведавший в клубе хозяйственной частью, осматривал с печником чердачное помещение. Пока печник проверял исправность дымоходов, Негропонте от нечего делать взглянул в слуховое окошко и обмер.

В те времена клубное здание было одним из самых высоких в городе. Из слухового окна просматривался весь город и Азовское море, с трех сторон осаждавшее Таганрог.

Негропонте, в прошлом капитан греческого торгового судна, сохранил еще былую зоркость. Он лениво оглядел морской горизонт и вдруг увидел в дальней дымке вспышку пламени, как будто кто-то зажег в двадцати верстах отсюда свечку и тотчас ее задул.

Потом Негропонте услыхал какой-то негромкий удар, точно в дальней комнате хлопнули дверью.

— Кирие елейсон! Господи помилуй! — испуганно воскликнул Негропонте.— Пушечный выстрел с зюйд-веста!

Не слушая печника, сообщавшего ему тем временем результаты осмотра дымовых ходов, Негропонте ринулся вниз, в первый этаж, в игральную комнату. Вбежав в угловую, Негропонте быстро оглядел игроков и, сразу заметив фон Гюльтлингена, метавшего банк, подбежал к нему и, чуть задыхаясь от быстрого бега, сообщил:

— Эмаста, кто-то из орудий стреляет по городу!

Как бы в подтверждение раздался хотя и глухой, но все же более ощутимый выстрел и металлический звук разрыва.

Игроки побледнели. Негропонте объяснил, что с чердака видно, откуда идет обстрел. Майор отрывисто скомандовал:

— На чердак! Шнеллер!

И, надев зачем-то каску, которую он во время игры клал на маленький столик для кофе, комендант зашагал за побежавшим рысцой Негропонте.

С чердака теперь отчетливо было видно, что стрельба идет с какого-то судна, видневшегося на горизонте. Разрывы приближались к тем пригородным кварталам, где находились казармы, занятые ныне немецкими солдатами.

— Шестидюймовка! — сказал Негропонте.— Но кто стреляет?!

— Большевики! — сквозь зубы произнес барон.

Он сбежал с лестницы на улицу и куда-то помчался в своей чистенькой немецкой коляске, запряженной парой сытых немецких лошадок.

Немецкая комендатура помещалась в особняке, ранее принадлежавшем умершему немцу, владельцу шорной мастерской. Дежурный фельдфебель Кнох, в прошлом преподаватель пения в немецкой средней школе, тощий немец, страдавший выпадением прямой кишки, доныне не мог примириться с тем, что, предъявив приемной комиссии такой веский довод, как выпадающая кишка, он все же был забрит в армию. Уныло отвисшие седеющие усы, бледные, плохо выбритые щеки и кислый взгляд из-под очков не создавали в общем идеального типа воина. Барон и без того недолюбливал этого кисляя, а тут еще выяснилось, что дежурный по части совершенно не в курсе событий. Он даже, оказывается, не слышал выстрелов!

— Очевидно, герр барон, у меня и слух задет тоже,— с беспокойством пояснил дежурный, вытянувшись по уставу, но не являя от этого более воинского вида.— Я прошу вас направить меня на комиссию с участием врача-ушника!

— Молчать! — рявкнул фон Гюльтлинген, багровея.— Вызвать часть по тревоге!

Фельдфебель ударил в колокол, и в уставные минуты во дворе выстроилась воинская часть — все, что оскудевший фатерлянд мог выделить для несения гарнизонной службы в Таганроге. Остальные подразделения были

отправлены командованием в Ростов, на Батайский фронт, и в Екатеринослав, в окрестностях которого было «неспокойно».

— Соединить меня со штабом корпуса! — скомандовал майор. Кнох с редкой для него быстротой стал крутить ручку телефонного аппарата, видно сообразив, что дело принимает плохой оборот.

— Обстрел города с моря! — крикнул через пять минут майор в телефонную трубку.— Возможен десант! Необходимо подкрепление!

Видно, командир корпуса не сообщил ему в ответ ничего утешительного, потому что комендант положил трубку, явно нервничая, и вышел к выстроившимся солдатам.

— Рут! Смирно! — покатилось по двору. Сделав три шага навстречу, младший офицер, толстый с обвисшими щеками ландштурмист, отдал рапорт, после чего майор, не командуя «вольно», обратился к солдатам с короткой речью:

— Солдаты! Нам приказано сражаться за наш дорогой фатерлянд и, если понадобится, умереть!

По вытянувшимся лицам пожилых солдат было ясно видно, что им неохота ни сражаться, ни тем более умирать. Майор сердито приказал им принять походный строй и выступить. Он повел серую колонну по направлению к Петрушиной Косе, туда, куда, по-видимому, был нацелен удар большевиков и где предстояла высадка их десанта. Вся надежда была на быструю подмогу артиллерией и солдатами хотя бы из Екатеринослава; но большевики едва ли станут дожидаться прибытия вражеского подкрепления. Задача майора заключалась в том, чтобы, по возможности, задержать продвижение десанта. Едва ли возможность была велика!

Фон Гюльтлинген, конечно, не знал, что именно произошло в Ейске, куда отступили таганрогские революционные рабочие и красногвардейцы. Кто-то здесь пустил провокационный слух, будто Таганрог вовсе и не занят немцами и что ничего не стоит захватить его с моря. Предложение снарядить десант было на заседании городского комитета большевистской партии отвергнуто как явно авантюристическое.

Однако не все подчинились решению. В конечном счете из Ейска флотилия, обладающая крупнокалиберными

орудиями, двинулась к таганрогским берегам для захвата города с моря.

На судах находилось до десяти тысяч человек. Люди были охвачены благородным стремлением выбить немцев из Таганрога, тем самым облегчив положение советских войск на Батайском фронте. Но не было ни четкого военного плана, ни четкого командования. К тому же суда десантной флотилии оказались совсем не приспособленными для десантных операций. Часть флотилии — в основном мелкосидящие суда — приблизилась к берегам и высадила — с опозданием! — людей, а часть — и как раз наиболее мощные, но именно поэтому глубоко сидящие корабли — отстала. Флотилию разбросало; некоторые суда дрейфовали в районе Платово, другие приблизились к Золотой Косе; частично флот оказался у Петрушиной Косы.

Среди таганрогской буржуазии началась паника. Однако деваться было некуда. Обстановка исключала попытку бежать, да и куда? Это было время, когда один из поэтов-сатириконцев, сам неоднократно бежавший от власти рабочих и крестьян, сочинил парафраз лермонтовских строк:

Бежать? Но куда?
На время не стоит труда,
А вечно бежать невозможно.

Хуже всего была неизвестность. Обратиться к городскому голове Михайлову за информацией? Но он сам до такой степени испугался глухих раскатов орудийных выстрелов, отдававшихся в его ушах отзвуком тяжкой поступи красноармейцев, что почти весь день пребывал в большом, глубоком и комфортабельно обставленном погребе здания городской управы. По крайней мере, снаряд не достанет!

И вдруг через три дня, на радость Бесчинского, Михайлова и клубменов, в городе снова появились немецкие военные! Из-за медлительности командования десанта немцы успели получить подкрепление...

На этот раз шли отборные части немецкой оккупационной армии. Бросалось в глаза обилие артиллерии и ее крупный калибр. Несколько штабных машин везли генерала с моноклем в глазу и двух-трех полковников. Колонна проследовала с музыкой через город, частично осе-

ла в прежней комендатуре и прежних казармах, а большая часть пехоты направилась на марш по двум параллельным улнцам, Петровской н Ннколаевской, к выходу из города, мнмо шлагбаума и больннцы. Когда пропылил последннй ряд колонны, фельдшер Иван Иванович отвериулся н со злостью сплюнул.

А вечером фон Гюльтлннген вновь появнлся в клубе, встречеиный на этот раз особо почтнтельнымн поклонами. К удивлеиию клубменов, он не сел за стол, а, строго оглядев в монокль бородатых н толстых партнеров, сказал:

— Господа, германскнй армнй еще раз спасаль вас, вы поннмайт?

Все дружно подтвердилн, что дело обстонт именно так.

— Альзо,— продолжал барон,— как вы думайт поступать?

Все испуганно переглянулнсь, первым нашелся Негропонте:

— Германскому командованию хох! — закрнчал он тонкнм голосом.

Все нестройно в свою очередь крнкнули «хох!».

— Благодарю, господа,— отрывисто сказал барон,— но вы должны благодарнть кайзера офнцнально. Это есть ваш долг, и германскнй командований ждет.

Все переглянулись, не поннмая, чего домогается комеидант. Судя по его надменному внду и строго поджатому рту, это не была шутка.

Первым догадался гласный городской думы помещнк Платонов.

— Благодарность германскому командованню вынесет дума! — взволнованно восклнкнул он.— Кто здесь гласиые?

Ои оглядел комнату.

— Да почтн все!

— А как городской голова? — с сомнением спросил Негропонте.— Он ведь социалнст?

— Чепуха! — раздалось со всех сторон.— Да он рад до смерти! На этот раз ему был бы от большевиков капут!

— Очень хорошо,— более милостнво отозвался комендант и первым сел за карточиый стол.

Назавтра в три часа дня должно было открыться

заседание думы. В два часа в кабинете головы сидело несколько деятелей эсеровской, эсдекской и кадетской партий. Это были местные старейшины и шейхи. Они обменивались мнениями о предстоящем вотуме благодарности германскому командованию. Видно было, что некоторые из собравшихся испытывают чувство неловкости. Но успокоение внес Бесчинский. Он сказал:

— Господа, мы всегда будем иметь то моральное оправдание, что действовали под принуждением. Нас заставили вотировать manu militari, вооруженной рукой!

Такая формула обрадовала и облегчила совесть тех, кто чувствовал себя не очень ловко. Но таких, видимо, было меньшинство. Остальные испытывали искреннюю благодарность к немецкому генералу, который отвел опасность от города...

...Вся местность у Петрушиной Косы, где с таким роковым опозданием высадился наконец десант, была поделена подоспевшей германской артиллерией на квадраты и закидана снарядами дальнобойной артиллерии. В десанте были большие потери, а у немцев незначительные. Как же тут не благодарить?!

Михайлов, слегка волнуясь, объявил заседание думы открытым. Тотчас поступило предложение объявить германскому командованию благодарность от имени населения Таганрога за «спасение города». Вскочил Платонов и дополнил предложение:

— Возложим цветы на могилу убитого за спасение города обер-лейтенанта фон Бека!

— Возражений нет? — спросил Михайлов, торопившийся покончить с этим делом.

Неожиданно из задних рядов поднялся небольшого роста пожилой человек, с рыжеватой бородкой, крепко тронутой сединой, и с каштановыми кудрями. Это был местный старый и популярный беспартийный врач, доизбранный в думу после Февральской революции «от трудового населения».

— Это неслыханно! — начал он превосходно поставленным баритоном.— Немцы убили тысячи русских, а мы, вместо того чтобы служить панихиду, хотим отслужить молебен в честь тех, кто, ничем не рискуя, произвел расстрел! Опомнитесь, господа!

Все сидели затаив дыхание. Авторитет старого врача был в городе велик, многих из здесь присутствующих он

лечил еще детьми. Однако можно ли так оконфузить людей? Ну, пусть бы совсем не голосовал или даже проголосовал против, зачем же публично говорить то, что обязательно дойдет до немцев и может вызвать нежелательные последствия?!

Первым нашелся Михайлов. Он был человек пришлый, у этого врача не лечился и знал о нем лишь то, что старик невыносимо «бестактен».

— Больше желающих говорить нет? — быстро и несколько нервно крикнул Михайлов.— В таком случае ставлю на голосование. Кто за предложение?

— С цветами? — задумчиво спросил кто-то.

— Да! За предложение выразить благодарность и возложить венок на могилу германского офицера, сложившего жизнь за друзи своя!

В упоении Михайлов заехал в евангельский текст. С какой, собственно, стороны таганрожцы — члены Коммерческого клуба — были «друзи» уроженца Вестфалии Августа Бека?! Впрочем, разбираться в мелочах было некогда. При голосовании нашлось несколько человек, не поднявших рук, но в сумятице это осталось почти незамеченным.

— Принято! — сказал Михайлов.

В лютеранскую кирху, где лежал на постаменте труп обер-лейтенанта Бека, непосредственного помощника барона, вошли старшины Коммерческого клуба Негропонте и Платонов. Впереди шагал городской глава Михайлов в парадном кителе.

Он торжественно нес букет чудесных белых и желтых роз.

— Колоссаль!—негромко произнес барон фон Гюльтлинген с явным удовлетворением.





Номер «Правды»

Шестьдесят лет тому назад в Таганроге поселилась учительница французского языка мадам д'Еспар де Перль, старая француженка, с морщинистым накрашенным лицом и кокетливо завитыми буклями.

Историю своего появления в Таганроге она рассказывала по-разному. То выходило так, что она, жена генерального прокурора Франции, первая красавица и самая остроумная женщина Парижа, была похищена внуком маршала Мюрата, который «сам в душе Мюрат», то она — соперница Сары Бернар, неоднократно возбуждавшая своей игрой зависть в великой актрисе. Во всех случаях история кончалась тем, что враги и завистники добивались и добились изгнания мадам де Перль... именно в Таганрог.

Скорее же всего, ее вывез из Франции в качестве гувернантки какой-нибудь богатый таганрогский купец, а потом, когда дочери подросли, согнал со двора: вот ей и пришлось перейти на амплуа преподавательницы.

В юности я и сам брал у нее уроки французского языка и близко знал ее и Яшу Мельникова, о котором пойдет речь дальше.

Жила мадам де Перль в «Европейской» гостинице, снимая номер помесячно, со скидкой. В номере стоял ореховый письменный стол, за ширмой из старинной узорчатой ткани целомудренно пряталась узкая девичья кровать. От ширмы и от пыльных оконных занавесей шел смешанный запах нафталина и приторных французских духов.

В три часа дня мадам де Перль обедала. Обед в ресторане стоил дорого, а упорно и долго копившая деньги старая француженка умела быть экономной. Готовила ей у себя на дому пожилая коридорная горничная Степановна.

Степановна и мадам де Перль очень дружили и любили поболтать, хотя первая не знала французского, а вторая — русского языка.

Пока мадам де Перль ела борщ, осторожно разжевывая мясо вставными челюстями, Степановна стояла, сложив руки под фартуком, прислонившись к кафельной печи, и ревниво наблюдала за тем, чтобы мадам де Перль съедала порцию без остатка.

— Epatant! — говорила француженка, отложив ложку и целуя себе кончики пальцев.

— Нравится, — с удовлетворением отзывалась Степановна.

Разговор по душам начинался.

— Ах, Франция! — восклицала мадам де Перль на своем родном языке. — Ах, как там умеют приготовлять соусы и супы! Мой бог, когда я вспоминаю суп из черепахи...

Она снова целовала себе кончики пальцев.

Степановна слышала знакомое слово «суп» и обижалась:

— Супу захотелось! Так ведь в нем никакой съедобности, в вашем супе.

— Каким ужином он меня угостил в тот вечер! — понижая голос и закатывая глаза, стонала мадам де Перль и всхлипывала. — А как он меня целовал... Ой, мой бог, где ты, моя юность!

— Ишь, убивается, — участливо говорила Степановна. — Господь не без милости, авось еще и увидите своих

земляков.— Оиа глядела на морщиииcтое лицо старой француженки, иа ее трясущуюся голову и, вздыхая, заканчивала: — Раньше иадо было в путь-дорогу собираться... Меньше золота копить...

Задушевиый «разговор» продолжался примерио до четырех часов, когда Степаиовна уходила в семиадцатый номер стеречь годовалых близнецов премьерши театра, спешившей на репетицию.

Ровио в четыре часа дня раздавался стук в дверь. Мадам де Перль поправляла букли перед мутиым зеркалом, висевшим иад ковровым диваном, и кричала, грассируя: «Антре!» В комнату входил Яша Мельников, огненио-рыжий гимназист.

Урок иачииался. Яша быстро и легко переводил отрывок с русского иа французский, и все шло хорошо: старушка сидела на диване, одобрительно, в такт французским фразам, кивая головой, временами чересчур низко, потому что после обеда ее всегда клонило ко сиу. Но вот наступал неизбежный момент, когда идиллия нарушалась. Вдруг вылезала трудиая для перевода фраза, иапример: «Вдали чернели деревья». Во фраицузском языке иет слова «чериели», оио переводится так: «становились черными».

— Вдали деревья становились черными,— вдохиовенно переводил Яша.

Мадам де Перль вдруг переставала дремать.

— Становились черными? — сердито переспрашивала она.— Их покрасили в чериый цвет, вы хотите сказать?

Яша с разбега останавливался н смущенно моргал. Мадам де Перль убеждалась, что даже ресницы у него были рыжие.

— Какой страниый язык — русский,— говорила оиа с раздражеиием.— Зеленые деревья обладают у вас спобиостью окрашиваться в черный цвет, а живые руки — стаиовиться деревяииыми!

Дело в том, что на прошлом уроке Яша перевел фразу «Руки у него деревенели», за отсутствием на фраицузском языке слова «деревенеть», так: «Руки у него стали деревянными». Что было делать, если мадам де Перль, якобы для того, чтобы ие испортить свой парижский прононс, а скорее всего по бесталанности, преуспевала в русском языке слишком мало?

Мадам де Перль кивком головы давала понять Яше об окончании аудиенции, делая это с высокомерием, достойным, пожалуй, жены самого Наполеона, Жозефины. И в этот момент казалось, что какой-то кусочек правды, быть может, и был в сценическом варианте ее биографии.

Перед тем как уйти, Яша бросал вокруг внимательно-вопросительный взгляд.

— Вот она, берите,— раздраженно говорила мадам де Перль, доставая из ящика комода какую-то газету.— Вы же сами просили прятать ее сюда. В следующий раз будете переводить передовую статью. Я хочу думать, что журналисты у вас пишут лучше, чем писатели!

Яша уходил. «Что бы ты запела,— весело думал он,— если бы я и в самом деле стал переводить эту газету!»

Впрочем, улыбка скоро покидала его мальчишеское лицо. Он вспоминал, что не за горами срок уплаты француженке. Двадцать рублей в месяц!

Мадам де Перль, бывшая прокурорша или трагедийная актриса, кто бы она ни была, ставила условие: плата за уроки должна вноситься золотом, а не бумажками.

«Какие чудаки эти французы! — удивлялись ее клиентки.— С золотыми монетами одна беда, всегда куда-то закатываются».

В начале каждого месяца Яша обменивал смятые бумажки, полученные им от купца Шаронова за репетиторство его оболтуса сына, на две золотые десятирублевки и относил их старой француженке.

Яша Мельников был сыном капельдинера городского театра, перебивавшегося на восемнадцатирублевом жалованье. Капельдинер не мог и мечтать о гимназии для своего сына — для этого у него не было ни денег, ни положения.

Мальчику шел десятый год, когда отец стал брать его с собой в театр. И вот здесь Яша, дождавшись начала спектакля, читал принесенную с собой книгу: дома часто не было керосина. Часов в десять вечера, когда начинался третий акт, Яша брел в капельдинерскую и засыпал в темном углу на груде шуб, доверенных его отцу.

Однажды не занятый в спектакле трагик труппы Незнамов, пожилой мужчина с высоким лбом и болезненно горящими глазами, остановился у потертого диванчика в коридоре театра: усевшись на диванчике с ногами, Яша склонил вихрастую рыжую голову над книгой.

— Чего бы ты хотел в жизни? — очень серьезно спросил Незнамов.

Яша так же серьезно ответил:

— Учиться!

Вскоре актеры собрали между собой пятьдесят рублей, нужные для взноса за «правоучение», и упросили антрепренера выдать Яшу за своего племянника, якобы из «благородных».

Яша отлично выдержал экзамены во второй класс гимназии и был принят. Серые форменные брюки и черную курточку купили ему те же актеры, хотя «благородный» антрепренер уже три месяца не платил им жалованья, ссылаясь на плохие сборы.

Сменялись труппы в городе, но оплачивать «правоучение» Яши Мельникова стало традицией, и никто из актеров даже и не помышлял отказаться внести «в кружку» два-три рубля из своих скудных средств. Впрочем, с шестого класса Яша и сам стал уроками зарабатывать достаточно, чтобы не голодать и уплачивать в канцелярию гимназии установленную сумму. А в седьмом классе он стал брать приватные уроки у мадам де Перль, твердо решив за два года овладеть французским языком, с тем чтобы потом, если удастся, заняться немецким и английским...

С некоторых пор Мельников частенько захаживал на квартиру к соседу, рабочему Алексею Федоровичу Суренко. Яша помнил этого парня еще подростком, гонявшим голубей. Теперь это был молодой отец семейства со смеющимися глазами и строгим лицом.

Возвращаясь как-то домой, Алексей увидел во дворе Яшу и удивился:

— А вы стали совсем взрослым, Яша!

Яша покраснел от удовольствия. Сосед вызывал в нем любопытство и уважение: Яша знал, что Суренко отсидел полгода в тюрьме «за политику».

Неожиданно для самого себя юноша сказал:

— Говорите мне «ты», дядя Алеша.

Алексей Федорович засмеялся, ласково хлопнул его по плечу и пригласил зайти к себе. Яша удивился, как весело и приветливо было у соседа в хате (хозяин, толстый Дроныч, хвастливо называл неказистое жилище Алексея Федоровича флигелем). Хозяйка, чернобровая и

быстрая Анюта, радостным восклицанием приветствовала мужа и застеснялась, увидев с ним гимназиста.

— Ничего,— успокоил ее Суренко,— это свой.

Анюта быстро, в одно мгновение, как показалось Яше, собрала мужу обедать и поставила перед гостем тарелку с огромным ломтем красного арбуза, назвав его кавуном.

После обеда хозяин повел с гостем разговор, как со взрослым. Он расспрашивал его о гимназии и заразительно-весело смеялся рассказам Яши о злобном чудаке — учителе латыни Урбане...

Шел 1912 год. Яша теперь частенько не заставал соседа дома. Мальчик знал о забастовке на металлургическом заводе Нев — Вильде и не сомневался, что Алексей занят там «политикой».

Однажды, зайдя к нему под вечер, Яша увидел, как жандармы обыскивали флигель Алексея. Голубые мундиры задержали Яшу и на его глазах перерыли всю квартиру, взломали половицы и разворошили печь, но ничего, кроме нескольких номеров рабочей газеты «Правда», не обнаружили. Хотя газета в ту пору была легальной, ротмистр пригрозил хозяину квартиры арестом.

После ухода жандармов Алексей спокойно сказал, покосившись на Яшу.

— Придется теперь газету выписывать на имя когонибудь постороннего.

Помогая жене навести порядок в разгромленной квартире, он пояснил юноше, что с выпиской «Правды» сейчас очень трудно. У полиции на учете рабочие — подписчики газеты, все они подвергаются частым обыскам, а во многих случаях и арестам.

Тогда юноша поделился с Алексеем внезапно созревшим планом: он скажет своей учительнице французского языка, мадам де Перль, что там, где он живет, на окраине, почта очень неаккуратна. Пусть мадам разрешит выписывать газету в ее адрес.

— А если она станет читать?

— Не станет! Она по-русски ни бельмеса.

— Что ж, попробуй,— разрешил Суренко. Он так стиснул на прощание руку Яши, что тот вспыхнул от радости.

— ...А как называется ваша газета? — рассеянно спросила мадам де Перль, когда на следующий день Яша с

замиранием сердца изложил ей свою просьбу.— Может быть, «Долой царя» или что-нибудь в этом роде? Я не хочу ссориться с вашим царем, у него, говорят, тяжелый характер.

— Газета называется «Правда»,— тихо сказал Яша, чувствуя, что почва из-под ног его уходит.

— А-а, «Правда»! — с удовлетворением заметила мадам де Перль.— Прекрасное название. Наверно, это орган богатых, солидных людей, с устойчивым положением в обществе, они поэтому и не боятся сказать правду!

С нового месяца почта в адрес мадам де Перль стала доставлять, помимо «Матэн» и «Фигаро» — парижских газет, также и газету «Правда». Уходя от француженки, гимназист прятал «Правду» на грудь, под гимнастерку, и относил ее Суренко. Прежде чем войти во флигель, наученный опытом Яша тщательно осматривался и, только убедившись в отсутствии незваных гостей, переступал порог.

Прошло несколько месяцев. Яша скрывал от Алексея, что продолжать уроки у мадам де Перль ему стало трудно. Отец болел, его уволили из театра. Теперь существование всей семьи Мельниковых зависело от заработка юного репетитора. Вместе с тем Яша понимал, что, если он откажется от дорогого урока, организация лишится регулярно получаемого номера «Правды».

Часто недоедая, юноша относил каждое первое число две золотые монеты старой учительнице...

Своей таксы мадам де Перль не меняла и для взрослых учеников, а их у нее было трое или четверо. Впрочем, в наш рассказ вписываются, как говорят математики, истории лишь двух зрелых мужей, обучавшихся у мадам де Перль изящному произношению в нос,— истории Севастьянова и Бокова.

Вот уже третий месяц аккуратнейшим образом посещал старую француженку частный поверенный Севастьянов, страдавший хроническим флюсом. Левая щека Севастьянова была сильно вздута, и в связи с этим голова его на короткой, толстой шее сидела криво, всегда склоняясь вправо, к плечу.

Редко выступление Севастьянова у мирового судьи обходилось без скандала. Когда его дело слушалось с утра, все было в порядке. Склонив раздувшуюся физиономию почти на плечо, Севастьянов бубнил нечто невра-

зумительное, но вполне мириое. А если выступать приходилось позже, адвокат уже оказывался в подпитии и стаиовился болтливым и заносчивым.

— Держитесь ближе к делу,— морщился мировой судья.

— Ближе к делу? — иадменно возражал Севастьянов.— Ближе меня к делу иикого нет. Если желаете зиать, меня сам господии жандармский полковник к делу допускает!

С некоторых пор положение Севастьянова упрочилось: его выбрали председателем таганрогского отделения черносотенного «Союза русского народа», всероссийским шефом которого состоял сам Николай Второй.

Однажды, получив непосредствеиио из Петербурга какой-то секретиый пакет, таганрогский полицеймейстер вызвал к себе Севастьянова.

Севастьянов явился к начальнику полиции в чериом сюртуке, с парадно вздувшимся флюсом и с сильио бьющимся сердцем.

Полицеймейстер окинул критическим взглядом странную и иеприглядную фигуру Севастьянова и сказал с отвращеиием, точио увидев его впервые:

— Ну и р-рожа! А ведь, может статься, придется тебе предстать перед очами государя императора, вращаться, так сказать, среди великосветского общества. Пофраицузски знаешь?

— Я могу обучиться, ежели... предначертаиия начальства...— забормотал Севастьянов.

Полицеймейстер закричал:

— Чтобы через месяц ты мог написать доиесеиие пофраицузски! А не то другого председателя найду!

Три дня после этого Севастьянов ходил задумчивый, а иа четвертый пошел в гостиницу Европейскую.

— Объясни этой фраицузской старушке, братец,— попросил он швейцара Никиту, суиув ему рубль,— желаю я брать у нее уроки. Человек я, сам зиаешь, образованный, да вот по-иностраиному ие обучеи. Я бы ей и сам объяснил, да ведь оиа по-русски — ии в зуб иогой.

— Две красиенькие в месяц, Хрисанф Павлович,— пробасил Никита,— меиьше у нее и разговору нет. И, заметьте, кредитиый билет ей не носите, одно золото приемлет.

Севастьянов досадливо отмахнулся:

— За деньгами нет остановки.

Швейцар, подумав, повел Севастьянова наверх и в коридоре второго этажа постучал в третью дверь справа.

— Антре! — донесся из-за двери слабый голос мадам де Перль.

— Это значит — можно, я не занята,— снисходительно пояснил швейцар. Первым в комнату вошел он, за ним, стараясь держать голову прямее,— Севастьянов.

— Вот, сударыня,— округленным жестом человека, знающего, как себя надо вести в обществе, показал на него швейцар,— желают обучаться.

— Э? — с недоумением спросила француженка, приглядываясь к несимметричным щекам незнакомца.

— Так что желаю брать уроки,— громко, как глухой, прокричал Севастьянов, выступая вперед.— Условия ваши известны.

Он выложил на стол две золотые монеты. Сейчас же мадам де Перль все сообразила и приятно заулыбалась.

— А-а, вы хотите учиться языку Мольера,— сказала она по-французски.— Это прекрасная идея. Садитесь же, мой друг, мы начинаем.

Она показала Севастьянову на стул рядом с собой. Швейцар, убедившись, что его миссия увенчалась полным успехом, с достоинством поклонился и вышел. Севастьянов, опускаясь на стул, не без сожаления увидел, что его золотые уже исчезли в кармане шелкового фиолетового платья учительницы.

— La table,— сказала старушка, указывая на стол.— Повторите, мой друг.

— Латабль,— радостно повторил Севастьянов, удивляясь легкости, с которой он овладевает французским языком...

А в два часа дня к гостинице подъезжал в богатом выезде отставной генерал-майор Алексей Иванович Боков, коренастый, угрюмый человек с седеющей головой, подстриженной ежиком.

Алексей Иванович был потомком по материнской линии донского казачьего атамана графа Платова. Последний представитель рода Платовых по мужской линии незадолго до того умер без прямых наследников. Все родовые поместья, в том числе и богатейшее имение близ Таганрога — Платово, были унаследованы Боковым. Од-

нако графский титул по законам Российской империи ему, как родственнику по женской линии, не достался.

Жизнь Бокова была отравлена. Он неустанно хлопотал в департаменте геральдики сената о присвоении титула, раздавая богатые подарки и выслушивая щедрые обещания. Дошел он в Петербурге до вице-директора департамента, барона Греве.

— По указу императора Павла Первого,— строго сказал ему Греве,— титул наследует мужчина...

— Но я, в некотором роде, мужчина, ваше превосходительство! — чуть не плача, воскликнул замученный препятствиями генерал.

Греве строго посмотрел на него оловянными глазами:

— Вы, ваше превосходительство, мужчина по женской линии, а не по мужской. Император же Павел Первый:..

Тут Боков наконец догадался положить на стол заранее заготовленный толстый пакет, и барон Греве сразу забыл об императоре Павле. Он любезно улыбнулся, смахнул пакет в ящик стола и обратился к посетителю с длинной французской фразой, содержавшей, по-видимому, в себе также и какой-то вопрос, потому что на тощем лице вице-директора департамента некоторое время сохранялось выражение вопросительно-выжидательное. Но Боков смущенно молчал: родители генерала, мелкопоместные дворяне, французскому языку его не учили.

— Будущему графу,— ободрительно сказал по-русски барон Греве, смекнувший, в чем дело,— прежде всего следует... вспомнить французский язык.

На этом, собственно, аудиенция и кончилась, но Боков уехал из Петербурга окрыленный, с твердым решением обучиться французскому языку в наикратчайший срок. Вот от чего теперь зависел успех дела!

Так генерал Боков стал учеником мадам де Перль, учеником наиприлежнейшим, но не слишком способным.

— Мон шер женераль! — как всегда, с оживленным видом приветствовала его появление в своей комнате мадам де Перль, и сейчас неравнодушная к звону шпор и блеску эполет. Генерал отрывисто, как на плацу, отвечал заученной галантной французской фразой, звучавшей почему-то в его устах весьма бранчливо. Француженка морщилась и объясняла, как именно следует кавалеру произносить приветствие при входе в гостиную.

Алексей Иванович терпеливо повторял за ней, стараясь придать своему хриплому басу нежные оттенки и звучания.

Весьма возможно, что и частный поверенный Севастьянов, и генерал Боков, давно уже превратившийся в погоне за графским титулом в маньяка, в конце концов овладели бы с помощью мадам де Перль тайной французской болтовни, но тут случилось одно непредвиденное обстоятельство.

В город приехал из Петербурга вновь назначенный полицеймейстер, бывший гвардейский офицер фон Эксе.

По слухам, фон Эксе вынужден был оставить столицу и блестящий гвардейский полк в связи с некоторыми неудачами — или, вернее, чрезмерными удачами — за карточным столом. Говорили также, что назначение в провинцию он принял крайне неохотно.

— Извольте прекратить возражения,— строго сказал ему директор департамента полиции.— Лучше покинуть столицу с назначением, чем... гм... с предписанием. Надеюсь, вы там не сойдете слишком скоро с ума от скуки и не вздумаете возвращаться в столицу!

— Как знать, ваше превосходительство,— холодно ответил фон Эксе.

Прибыв в Таганрог, он остановился в гостинице «Европейской» на втором этаже; по случайности комната его оказалась бок о бок с комнатой мадам де Перль. Тотчас по приезде он пригласил к себе в номер владельца гостиницы, сухопарого немца Гавиха, и очаровал его своими светскими манерами. Гавих растаял и после нескольких рюмок отличного коньяка, предложенного любезным хозяином из своих петербургских запасов, развязал язык.

Рассказал Гавих и о соседке фон Эксе, мадам де Перль, о ее чудаковатых взрослых учениках и сумасбродной идее — получать с клиентов золотом. Старуха, должно быть, накопила за эти годы не менее двадцати пяти тысяч в золотых монетах!

Фон Эксе весело смеялся.

— А где же она хранит свой золотой запас? — шутливо спросил он Гавиха.

Тот развел руками:

— Наверно, у себя в номере. Где же еще?

После ухода Гавиха фон Эксе минут десять просидел

в глубокой задумчивости, потом, воскликнув вполголоса: «Надо попробовать!», поехал в полицейское управление.

Здесь он холодно поздоровался со старшими полицейскими чинами, собравшимися для встречи и представления, и прошел в свой кабинет, в котором еще стоял запах «Шипра», излюбленных духов его предшественника. Вскоре в кабинет был вызван старший пристав первой части Шумейко.

— Имею честь явиться,— выпучив от страха и преданности глаза, отрапортовал поджарый, как гончая, пристав.

— Прошу,— небрежным жестом указал ему фон Эксе на стул и сразу же приступил к делу: — Скажите, гостиница «Европейская» ведь входит в подведомственную вам территорию, не правда ли?

— Так точно,— подтвердил Шумейко, опускаясь на стул и с беспокойством вспоминая, нет ли в гостинице упущений с пропиской и выпиской жильцов. «Проклятый Гавих,— подумал пристав,— даст в месяц четвертную, а беспокойства — на сотню!»

— Простите, ваше имя-отчество? — любезно спросил фон Эксе.

У пристава отлегло от сердца: «Сразу видно, что из Петербурга!».

— Евстафий Епоминоидович,— звякнул шпорами Шумейко.

— Епоминоидович? Из греков? Нет? Так вот что, голубчик...

Голос полицеймейстера снова сделался сухим и отрывистым. Шумейко вытянулся.

— Что вам известно... гм...предосудительного о мадам де Перль, проживающей в гостинице под видом преподавательницы французского языка?

Шумейко обомлел: «Так вот что! Проживающей под видом... Предосудительного!.. А я и не подумал, что здесь дело не чисто. Боже мой!»

Пристав вспомнил, что уже давно получил от начальника почтово-телеграфной конторы список подписчиков «Правды». Там стояло также имя мадам де Перль! Тогда он, как дурак, рассмеялся и сказал помощнику: «Должно быть, выписала по ошибке, старая перечница, она не читает по-русски...» Вот когда он погиб!

— Выписывает газету «Правда»! — взволнованно доложил Шумейко.— Подозреваю старуху в преступных связях с подпольными революционерами!

— И давно? — спросил фон Эксе. Глаза у него просияли.

— Что именно-с? — переспросил сбитый с толку пристав.

— Давно ли подозреваете?

— Давно-с! — ответил пристав.

— Давно — и никаких мер не изволили принять?

Полицеймейстер поднялся. Вскочил и Шумейко...

Фон Эксе вернулся в гостиницу в парном экипаже, в сопровождении Шумейко и двух городовых. Приставу фон Эксе приказал остаться в вестибюле и следить за тем, чтобы никто не поднялся наверх, а городовых взял с собой.

В коридоре второго этажа он столкнулся у двери комнаты мадам де Перль с выходившим оттуда генералом Боковым...

— Безобразие,— сказал генерал,— шляется этот... крючок. Не иначе как хочет меня шантажировать!

— Изволите говорить, ваше превосходительство, о частном поверенном Севастьянове? — твердо сказал фон Эксе, обнаруживая большое знакомство с ситуацией.— Именно до него-то я и добираюсь. Он здесь? — фон Эксе указал на дверь.

— Притащился на полчаса раньше времени,— сердито пробурчал генерал, даже забыв удивиться такой проницательности собеседника.— Вы, ротмистр, новый полицеймейстер, должно быть?

— Я попрошу, ваше превосходительство...— не отвечая, фон Эксе взял под руку вяло сопротивлявшегося генерала и отвел его к площадке лестницы.— Я очень прошу вас тотчас оставить эту гостиницу и благодарить бога, что я появился здесь вовремя.

— А что? — испуганно спросил генерал, на всякий случай спускаясь с первой ступеньки.

— Террористический акт против особы вашего превосходительства,— многозначительно сказал фон Эксе.— Появились новые претенденты на титул графа Платова.

Не слушая, генерал быстро сбежал вниз.

Переждав, пока красный затылок Алексея Ивановича

скрылся за поворотом лестницы, фон Эксе приблизился к комнате француженки и рванул незапертую дверь.

За столом сидели дремавшая старушка и еще не оправившийся от встречи с грозным генералом Севастьянов.

— Встать!— гаркнул фон Эксе. Городовые за его спиной вытянулись.

Севастьянов, вздрогнув, медленно поднялся со стула. Чувствуя, что ноги ей не повинуются, мадам де Перль продолжала сидеть, с недоумением и страхом взирая на неожиданных визитеров. Она всегда боялась, что когда-нибудь ее схватят и отвезут в холодную, пустынную Сибирь: ей рассказывали еще во Франции, что здесь это принято. И вот момент, кажется, наступил!

— Взять! — скомандовал фон Эксе, грозно указав на обоих. Топоча пудовыми сапогами, городовые схватили каждый по жертве. Ошеломленный Севастьянов молчал, мадам де Перль закричала тонким голосом: «О секур!» (На помощь!)

— Мадам, вы арестованы по обвинению в государственном преступлении,— строго сказал на французском языке фон Эксе.

— Каком преступлении? — пролепетала старушка, повиснув на дюжих руках городовых.

Не отвечая, фон Эксе грозно сверкнул глазами на Севастьянова:

— Занимаешься совместно с нею распространением революционной литературы, каналья? Обманул доверие начальства?

— А-ва-ва,— хотел что-то ответить Севастьянов. У него громко стучали зубы и голова клонилась к плечу.

— Свести обоих вниз к приставу и под его наблюдением доставить в участок! — приказал фон Эксе.

Оставшись один в номере, он запер дверь на ключ и тотчас же принялся за поиски. Заглянув под кровать, под диван, поднял постель и снова уложил ее на место, открыл и захлопнул платяной шкаф. Отерев пот со лба и бормоча под нос ругательства, он осмотрелся и заметил небольшой деревянный сундучок, походивший на те, какие бывают у новобранцев по прибытии в часть.

Фон Эксе попробовал открыть сундучок — не тут-то

было. Тогда он выхватил из ножен шашку и, засунув острие в щель, нажал. В замке что-то звякнуло, крышка отскочила. В сундучке лежали два тяжелых мешочка. Фон Эксе опустил руку в один, потом в другой — послышался мелодичный звон золота.

— Господи, пронеси! — набожно прошептал фон Эксе.

Он вложил шашку в ножны, быстро расстегнул шинель и ловко привязал к белому муаровому поясу, стягивающему мундир, слева и справа по мешочку. Мешочки свисали ниже колен, полы шинели оттопыривались, но это все же было лучше, чем появиться в коридоре с ношей в руках. Тяжело ступая, фон Эксе, бледный и готовый ко всему, вышел из номера. Но коридор был пустынен и тих. Немногочисленные жильцы прослышали, что у француженки обыск, и попрятались в своих номерах, чтобы не попасть полиции под горячую руку.

Считая себя уже в безопасности, фон Эксе вдруг увидел рыжего гимназиста, подымающегося по лестнице...

Трудно сказать, как случилось, что Яшу не задержали внизу, в вестибюле. Возможно, что пристав, увозя и городовых и арестованных, впопыхах не оставил швейцару соответствующих распоряжений.

Возможно, что швейцар Никита, погруженный в размышления о превратности судьбы, в рассеянности не заметил мальчишеской фигуры, легко взбежавшей наверх. Так или иначе, но ничего не подозревающий Мельников беспрепятственно поднялся на второй этаж. Сегодня было первое число, день платежа за урок мадам де Перль.

Внезапно Яша увидел незнакомого полицейского офицера, глядевшего на него в упор с самым недобрым выражением.

— Ты... куда? — чуть задыхаясь, спросил тот.

— Прошу мне не тыкать! — с мальчишеским задором ответил Яша.

К его удивлению, офицер обмяк и послушно переспросил:

— Вы куда?

— К мадам де Перль,— радуясь победе, ответил Яша и хотел пройти.

Неожиданно офицер дружески обнял его за плечи и зашептал:

— Идите, молодой человек, отсюда поскорей. У нее сейчас обыск!

Первым движением Яши было ринуться в комнату мадам де Перль, защитить ее, сказать, что он, он один во всем виноват, что француженка даже не подозревала, какую газету он выписывал на ее имя. Однако Мельников тотчас сдержал свой порыв. Сколько раз говорил ему Суренко, что никто не вправе хотя бы косвенно ставить под удар организацию. А ведь если он, Мельников, явится с повинной, неминуемо пойдет расследование, и ниточка легко протянется к Алексею: все в Касперовке знали дружбу Яши с «политическим» Суренко.

Яша молча сбросил с плеч руку фон Эксе и, круто повернувшись, стал спускаться вниз.

Полицеймейстер несколько мгновений напряженно следил за удаляющимся гимназистом, потом с облегчением вздохнул и скрылся в своем номере. Здесь он переложил мешочки в чемодан и слегка дрожавшими руками тщательно запер его на ключ.

* * *

Суренко выслушал взволнованный рассказ Мельникова об аресте старой француженки и задумался.

— Не похоже, чтобы тут пахло политикой,— сказал он наконец.— Содержат ее в участке в общей, а не в одиночке; далее, обрати внимание, обыск делал полицейский, а не жандармский офицер. Тут, брат, что-то не так!

Словом, насколько понял Яша, мучившая его мысль, что из-за него арестовали мадам де Перль, вызывала большое сомнение.

— Что и говорить, один экземпляр «Правды» для нас теперь безвозвратно потерян,— вздохнул Суренко.— Но, кажется, нового полицеймейстера заинтересовало в комнате старухи что-то совсем другое... Ты Федяева знаешь? Сидел по делу Совета рабочих депутатов, слесарь... Жена его служит горничной в гостинице.

— Степановна? — оживился Яша.— Как же, знаю.

— Ну, так вот, сходи к ним на дом, расспроси ее. Может быть, она что-нибудь поняла во всей этой странной истории.

Яша не застал Степановну дома...

На свою беду, она сразу же заподозрила какую-то связь между пропажей золотого клада и странным пове-

дением полицеймейстера. Возможно даже, что она кое-что заметила в то утро, когда он воровски шмыгнул из номера мадам де Перль к себе. Словом, Степановна заявила в полицию на фон Эксе.

Прнстав Шумейко внимательно выслушал ее и задумчиво сказал:

— Это твой муженек участвовал в беспорядках в девятьсот пятом? Как же, помню...

— Он тоже доси вас вспомннает,— ответнла, вздохнув, Степановна.

После паузы пристав вежлнво спросил:

— А не вы ли, почтенная, самн и стащили золото госпожи де Перль? Сознавайтесь!

Степановну посадили.

* * *

Старый слесарь-инструментальщик Федяев, отбывший ссылку по делу Таганрогского Совета рабочих депутатов, явился на вечерний прием к прнсяжному поверенному Золотареву, защищавшему его на процессе.

— Малость постарелн, Александр Сергеевич,— сказал Федяев, опускаясь в кресло у стола и глядя на красивое, чуть обрюзгшее лицо адвоката.

— Ага, Федяев! — тотчас узнал адвокат своего подзащитного и с любопытством оглядел его.

Чисто выбритый, с резко очерченной линией рта, Федяев, казалось, был вполне спокоен. «Силен!» — со смешанным чувством уважения и завистн подумал Золотарев.

— Отбылн? — спросил адвокат.— Весь срок? Полностью?

— Нам скндки не полагается,— чуть усмехнулся Федяев.— Старый срок отбыл, нового еще не заработал. Но сейчас не об этом речь.

Голос его едва заметно дрогнул:

— Жену мою, Анну Степановну, взяли. Совсем без причины, она никакого участия в моих делах не принимала. Помочь бы ей надо, Александр Сергеевич.

— Как же без причины,— со вздохом возразил Золотарев,— если вы ее муж? Вы н прнчина! И, уверяю вас, вполне достаточная.

Адвокат поднялся, бесшумно по мягкому ковру подошел к двери и убедился в том, что она плотно прикрыта. Потом он подошел к Федяеву и шепнул ему на ухо:

— Столыпин, Петр Аркадьевич, слыхали небось? Весьма серьезный господин. Словом, при всем моем сочувствии, больше политических дел не беру. Откровенно скажу вам: и опасно, и бесцельно.

* * *

Севастьянов, едва он был доставлен в участок, принес повинную в подлоге каких-то векселей. Его не слушали. Вскоре влиятельные покровители открыли перед ним двери темницы.

А что касается мадам де Перль, то, по воспоминаниям одних, она недолго пробыла в заключении, будто бы тот же фон Эксе освободил ее из узилища, после чего она поспешно выехала на родину, по утверждению других, старушка померла в первый же вечер ареста от удара. Так или иначе, следы ее теряются.

* * *

А тем временем новый полицеймейстер стал проявлять чудовищные странности. Из-под его пера выходили приказы один нелепее другого, а однажды среди белого дня он появился на главной улице на коне в одном исподнем.

Все сразу поняли, что имеют дело с сумасшедшим. Из Новочеркасска прибыла медицинская комиссия.

Врачи приехали вечером и, узнав, что фон Эксе на представлении «Ограбленной почты», поспешили в театр и среди действия зашли в атаманскую ложу, где одиноко сидел он. Публика, перешептываясь, смотрела не на сцену, а на полицеймейстера. Артисты играли запинаясь.

Фон Эксе «удил», забрасывая детскую удочку в глубь ложи.

— Тише, господа, и так сегодня плохо клюет,— досадливо сказал он врачам, не отрываясь от своего занятия.

— Едем! — прошептал ему с решительиым видом старший из врачей, с погоничикамн надворного советника.

* * *

Фон Эксе был признан областной санитариой управой неизлечнмо помешаниым н уволен в отставку.

Года через два один таганрогский обыватель, побывавшнй в Петербурге, встретил фон Эксе в светском обществе. Бывший полицеймейстер был снова в гвардейском мундире и вел себя вполне здраво. Денежные дела его, по-виднмому, также пришлн в порядок: фон Эксе, сев играть в «шмен-де-фер», ставил на карту стопки золотых с этакой легкостью. Впрочем, карта шла к нему очень счастливо.

Что же касается генерала Бокова, то о фон Эксе ои долго вспоминал с благодарностью, как о своем спасителе, и в сумасшествие его ие верил, утверждая, что «попросту выжили бла-ароднейшего человека».

После отъезда мадам де Перль Алексей Иванович стал брать уроки французского языка у преподавателя гимназнн мосье Босснона и достиг изрядных успехов. Однако графского титула бедняге так н не прнсвоили.

* * *

Степановиу, после шести месяцев отсидки, выпустнли за недостатком улик.

Владелец гостиницы Гавих получнл секретиое указание не приинмать обратио жену бунтовщика н забастовщика. Впрочем, Гавих н без того решил не пускать иа порог эту «наглую женщину, у которой нет инчего святого...»

Об освобождении Степановны Яша узиал в тот же деиь от Суреико.

— Пойди к ией, пойди, расспросн,— с ласковой иасмешкой сказал Алексей Федорович.

Нервиый и впечатлнтельный юиоша до сих пор ие вполие отделался от мысли, что катастрофа постигла мадам де Перль, а может быть, и Степановну по его, Яши, вине.

Он покраснел:

— И пойду!

— Вот-вот. Я и говорю — пойди.

Дождавшись, когда стемнеет, Яша отправился, увязая в осенней грязи, на Камбицневку, где жили Федяевы.

«Если мадам де Перль все-таки была взята из-за «Правды», найденной у нее, а Степановну арестовали из-за ее близости к старой француженке,— размышлял Яша,— лучше бы мне и не показываться у Федяевых. Ничего, кроме тяжелого разговора, не получится».

Вечером, волнуясь и ругая себя в душе за страх и мнительность, Яша добрался до покосившегося домика на окраине.

На столе, у стенки, стояла маленькая керосиновая лампа с подклеенным стеклом. Лампа освещала лишь небольшой круг, а Яша стоял на пороге. Однако Степановна тотчас узнала гостя.

— Яшенька! — радостно сказала она.— Петро, это Мельниковых Яша, знаешь?

— Не помню что-то,— спокойно отозвался Федяев, а Яша легко признал его голос, удивившись странной холодности человека, с которым он уже несколько раз встречался на собраниях. Впрочем, юноша тотчас же сообразил: «Конспирация, даже перед женой не хочет признаваться в своих знакомствах. Это — да!»

А Степановна уже помогала Яше снять мокрую гимназическую шинель, обмякшую от дождя фуражку с гербом. Усадив его за стол, угощала чаем...

И вдруг Яша спохватился, что с наслаждением глотает горячий чай, забыв о важном деле, ради которого пришел сюда.

— А за что вы были арестованы, Степановна? — спросил он голосом, которому пытался придать спокойствие.

— Я? За правду,— вздохнула Степановна, не замечая, как вздрогнул юноша.

— За «Правду»? — ужаснулся Яша.

— Ну да, ведь я по дурости думала, что начальство и в самом деле правды добивается...

— То есть это как же? — спросил Яша, окончательно растерявшись.

— А вот как! Я-то видела, что старушку только для

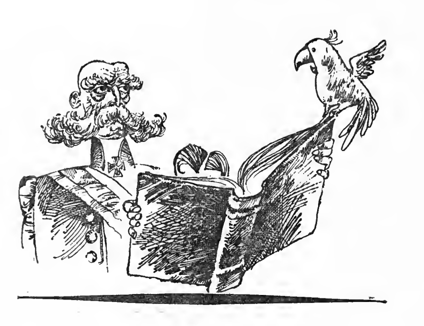
видимости убрали и что сундучок ее вскрыт, да пустой. Ну, ко всему этому заприметнла, что чемоданчнк у нового постояльца уж больно отяжелел. Я и брякнула в участке: так н так, имею подозрение. Вот за эту-то правду мою меня же и посадили.

У Яши отлегло от душн.

— Ну и как? — очень серьезно спросил жену Федяев.— Больше не хочешь правды?

Степановна в ответ рассмеялась. Яша никогда не предполагал, что эта пожилая и серьезная женщина способна так заразительно смеяться. Улыбнулся и Федяев. За нимн весело засмеялся и Яша.





Тайный советник Поляков

Весной 1908 года в Таганрог из-за границы приехал исконный таганрожец, уже много лет проживавший то во Франции, то в Швейцарии, тайный советник Яков Соломонович Поляков — знаменитый строитель железных дорог на Юге России и основатель русских банков.

После беспокойного для него 1905 года он ушел от дел, с полным основанием считая, во-первых, что почва под ногами русских банкиров что-то уж очень стала колебаться, а во-вторых, что накопленных богатств ему хватит до конца дней, тем более что он приблизился к тому возрасту, когда ждать этого конца уже недолго.

Оно так бы и случилось, если бы не бес корыстолюбия, толкнувший его на, казалось бы, верный шаг к сохранению капитала и его приумножению: продав свой контрольный пакет акций основанного им же крупнейшего русского банка — Азово-Донского коммерческого, Поляков купил облигации Крестьянского банка на огромную сумму, внеся в частичное обеспечение всю свою

наличность. Облигации неожиданно стали резко падать в цене, и Полякову пришлось заложить этому же банку для покрытия задолженности свое знаменитое имение — так называемую Поляковку[1], примерно в пятнадцати километрах от Таганрога.

Поляковка занимала около двух тысяч десятин. Часть имения была расположена на берегу Азовского моря. На прибрежной полосе управитель имения Иосиф Бересиевский насадил по указанию Полякова сосновый бор, выглядевший в этом южном уголке России и неожиданно и экзотично. На территории усадьбы был построен конный завод, растивший особую породу лошадей: помесь бельгийского першерона с русской орловской. Метисы были одновременно и рысисты и выносливы.

Самую большую достопримечательность Поляковки составляла электрическая станция, по времени сооружения — вторая после петербургской. Станцию построили бельгийские мастера, присланные Поляковым из Брюсселя, где он проводил зиму 1888 года. Станция работала на постоянном токе и освещала все жилые и хозяйственные постройки имения, вызывая завистливые толки в соседней «метрополии» — в Таганроге, где высшим достижением считались газокалильные фонари.

В центре Поляковки был выстроен по проекту модного архитектора двухэтажный дом-дворец, с бесконечной анфиладой высоких комнат, с двухсветными залами, с дворцовыми ходами и переходами. Парадная лестница поражала драгоценными сортами дерева и великолепной резьбой работы крупнейших мастеров, специально выписанных из столицы. При спальных покоях строитель предусмотрел — и это, пожалуй, считалось наибольшим «шиком» поляковского дворца — настоящие, на английский образец, туалетные комнаты. В каждом этаже в конце коридора были сооружены ванные комнаты, совсем такие, как в «Европейской» гостинице в Петербурге. А полы! Паркет, выложенный крупными звездами, паркет в узкую шашку, паркет светлых сортов, перемежающийся с темным, паркет углом и крестом — да мало ли еще какими геометрическими фигурами был выложен твердый и сухой, как мрамор, паркет в различных покоях дворца, принадлежащего богачу-выскочке, тайному со-

[1] Ныне дом отдыха имени Красного десанта.

ветннку н кавалеру высших орденов Российской империн. Благотворительное ведомство императрнцы Марии легко и торовато одаривало жертвователей и чннами, н ордеиами, и даже титуламн. Титула Поляков ие получил, но, пожалуй, прославился больше, чем ниой граф: высокий, с женственнымн маиерами, узколицый старик угодил в только что появнвшийся тогда роман графа Льва Николаевнча Толстого «Аина Кареиина», иа те его страницы, где речь идет о Стнве Облоиском, приехавшем просить хорошо оплачиваемую должиость к богачу и воротиле Болгарннову. Со свойственной Толстому маиерой ие очеиь далеко искать замеиу подлииной фамилии, прославлеиный автор романа перемеиил фамилию Поляков на Болгаринов, оставив на месте и иеслыханиое богатство, и влияиие крупнейшего железиодорожника — баиковского деятеля, и еврейскую иациоиальность.

Болгариив-Поляков заставил долго ждать киязя-рюриковича у себя в приемиой и иакоиец «с чрезвычайной учтивостью прниял его, очевидио, торжествуя его уииженнем, и почти отказал ему».

Надо сказать, что честь появиться на страиицах романа Толстого оспаривали у Якова Полякова его родиой старший брат Самуил и младший — Лазарь, благо у Толстого имя богача ие назваио. Однако, видимо, тайный советник Яков Соломонович Поляков, единственный из трех братьев — саиовник, и был тем требовавшимся киязю Облоискому влиятельиым и важиым лицом, к которому ои обратился за должиостью. К тому же имеиио Яков Поляков отлнчался особой ловкостью и иаиграиной светскостью, которая в прошлом помогла ему проиикнуть к морганатической супруге царя Александра Второго киягине Юрьевской и с ее помощью, за взятку, заполучить важиую коицессию иа строительство Владикавказской железиой дороги. «Приорнтет» Якова Полякова перед братьями иесомиеиеи.

В годы своего иеобычайиого взлета Поляков упивался могуществом миллноиера; ему иравилось поражать воображение размером пожертвований иа больиицы и институты благородиых девиц ведомства императрицы Марии — матери царя. Потом, уйдя от дел и проживая за границей, ои радовался, когда о его иеожндаиных лесных насаждениях иа берегу Азовского моря писали русские газеты «Русское слово» и «Новое время» и французская

«Фигаро». Он был чувствителен к сообщениям парижских биржевых газет (а Франция тех времен была мировым банкиром) о преуспеянии двух банков, учрежденных им, Поляковым, в тихом Таганроге: Азово-Донского земельного и Азово-Донского коммерческого. Особенно преуспел второй: в короткий срок настолько разросся и окреп, что его правление было переведено в Петербург, где на Большой Морской улице для него построили огромный и мрачный дом в стиле модерн, с рельефными голыми фигурами на фронтоне. Кстати, по поводу этих раздетых фигур петербуржцы грустно острили, что банк на своем фасаде изобразил разоренных им клиентов. И в самом деле, банк был колоссальной воронкой, в которую устремлялись средства дельцов помельче. Поляков как-то не сумел удержать в своих руках верховодство, и фактически хозяевами банка стали французы.

Видимо, Поляков умел наживать, но не сохранять нажитое. Впрочем, в капиталистическом мире всегда случалось немало примеров внезапных богатств и столь же внезапных потерь состояний. И всегда тут играла решающую роль слепая страсть богача к быстрому и легкому увеличению богатства.

Крах для Полякова наступил в начале двадцатого века, но крах очень и очень относительный. К моменту приезда в Таганрог, так сказать, на старое пепелище, Поляков отнюдь не мог быть причислен к беднякам: у него сохранился какой-то, хотя и не очень значительный, текущий счет в таганрогском отделении им же основанного Азово-Донского коммерческого банка, ему еще принадлежала конюшня беговых лошадей, бравших призы на ипподромах империи, у него был особняк на Греческой улице в Таганроге и прогулочное парусное судно на Неве, будто бы столь же роскошное, как царская яхта «Штандарт», в Швейцарии на озере Веве стоял принадлежащий ему охотничий домик. Наверно, сохранилось еще кое-что, например кольца с крупными бриллиантами, несколько золотых портсигаров с изумрудами. Но всего этого было совершенно недостаточно, чтобы вновь пуститься в крупную биржевую игру и попытаться вновь выплыть в первые ряды мировых богачей. Вот потому-то Поляков и приехал на этот раз в Таганрог, где он на старости лет задумал сделать новый прыжок к миллионам. Ему был нужен воздух Таганрога, чтобы

обрести былую сноровку, именно здесь когда-то он начинал свой взлет.

Да, тогда он был молод, ему казалось, что в нем работает тысяча сердец и каждое с небывалой силой посылает кровь по артериям его тела. Поляков никогда не был бабником, женщины занимали в его жизни, как и в жизни Наполеона, малое место.

Разумеется, у него случались шикарные любовницы, он дарил им бриллиантовые колье, и они совершали прогулки в богатом выезде, сверкая, как выставка в окне ювелира. Скорее они были его рекламой, чем утехой. И все-таки было два-три случая в его жизни, когда женщины по-настоящему влюблялись в этого холеного и необыкновенно удачливого сына таганрогского зубного врача. Однако не эти воспоминания волновали сейчас старческую кровь тайного советника. По мере того как уходило богатство, он все чаще вспоминал свои необыкновенные былые удачи. Вот он видит себя после сдачи казне первой построенной им железной дороги на Юге России, Екатерининской. Его принимает министр путей сообщения, человек необычной для царского сановника внешности и необычных повадок: темные баки, чисто выбритые губы и подбородок, кургузая визитка, быстрая, молодая манера держаться. Ну конечно, не обошлось в этом свидании с глазу на глаз в роскошном кабинете без изящно врученной взятки в плотном запечатанном конверте. Легкий с полуулыбкой кивок головы министра, конверт небрежно брошен в средний ящик стола, впрочем тут же предусмотрительно запертый на ключ.

Но вот приятные воспоминания обрываются. Поляков председательствует на собрании акционеров Азово-Донского коммерческого банка в Таганроге в тот день, когда решалось, переводить ли правление в столицу, и когда было решено переводить. В тот несчастный день он-то и дал приказ своему биржевому маклеру купить на десять миллионов рублей проклятых земельных облигаций, с покрытием всего лишь на один миллион шестьсот тысяч рублей — почти все денежные средства Полякова. Однако впереди ожидалось повышение курса облигаций, банковский кредит легко будет погашен, отчислится огромная прибыль. И вот — все получилось иначе...

Приехав в Таганрог, Поляков остановился не в своем особняке на Греческой улице, он его не любил за мрач-

ность и провинциальность. Он предпочел заехать в «Европейскую» гостиницу, содержимую немцем Гавихом, и здесь снял два смежных самых больших номера. Кроме того, на нижнем этаже была комната для его лакея француза Людвига.

Этот молодой и легкомысленный француз доставлял Полякову много хлопот и неприятностей. Он постоянно то встревал в какую-нибудь историю со служанкой в соседнем доме, то жаловался на недостаточную почтительность постовых городовых: Людвиг считал себя свободолюбивым европейцем и видел в городовых главную опасность для европейской свободы. Вместе с тем Полякову очень импонировал французский язык лакея, производившего неотразимое впечатление на окружающих, особенно в русской провинции. И сейчас хозяин гостиницы толстый Гавих, пожалуй, с большим почтением обходился с завитым и напомаженным Людвигом, чем с его постаревшим и уже сутулым барином.

А Поляков боялся признаться себе в том, что с каждым месяцем ему все труднее становилось содержать капризного и требовательного француза и выплачивать ему довольно значительное жалованье. Но Поляков скорее отказался бы от обеда, чем от возможности бросить при народе через плечо изящному молодому человеку в отлично сшитой тройке приказание на французском языке.

Уже в первое утро после приезда тайный советник вынужден был улаживать инцидент, виновником которого был все тот же Людвиг. Оказывается, он потребовал себе на первый завтрак порцию зернистой икры, но, видимо из-за плохого знания русского языка, не сумел толком объясниться, и ему подали паюсную. Рассерженный Людвиг швырнул тарелку с икрой в официанта, или, как тогда говорили, в «человека». Икра запачкала бороду и белую манишку пожилого, всеми уважаемого в гостинице работника. Половина людей, работавших на кухне и дежуривших в ресторане гостиницы, бросились с жалобой сначала к Гавиху, а потом, увидев, что тот не склонен идти объясняться со знатным постояльцем, пошли на второй этаж к Полякову. Людвиг был уже здесь и успел выложить свою претензию: ему-де не хотят подавать к столу те кушанья, которые он требует, и вообще обращаются с ним не как с французскоподданным, а как с рядовым

русским. Поляков досадливо от него отмахивался. Он ждал в это утро посещения своего бывшего управляющего имением Бересневского, имея в виду очень важный и нужный разговор. Какая икра?! Почему этот французик из Бордо размахивает перед его лицом руками и, грассируя, выкрикивает угрозы уйти с места?

А тут в комнату ввалились пятеро или шестеро номерных и официантов, при виде которых Людвиг пришел в окончательное неистовство.

— Зют! — в бешенстве крикнул Поляков своему лакею короткое, но выразительное словцо парижских предместий, обозначающее требование замолчать.— Еще слово — и я выселю вас с полицией на родину!

Людвиг, точно подавившись, замолк. Он до смерти боялся русской полиции, хотя и выказывал пренебрежение отдельным городовым. «Ля полис рюсс» — это была почти мистическая угроза. Людвиг слышал немало страшных рассказов о всемогуществе и длинной руке русской тайной полиции. Недаром в Париже, как он знал, сидел русский господин, директор департамента петербургской полиции или что-то в этом роде, Рачковский! Этого резидента русского царя побаивались даже и важные русские господа, попадавшие в Париж на зимний сезон.

Людвиг попятился и нырнул в дверь. А явившиеся с жалобой люди наперебой стали рассказывать Полякову об обиде, полученной их товарищем от этого сморчка. Поляков, довольный тем, что поставил наконец на место обнаглевшего лакея, заявил, что он его «строго накажет», и жалобщики, доверчиво глядевшие в рот этому важному старику, удалились успокоенные.

— Рак-калия! — еще чувствуя барственный гнев, молвил тайный советник.

И не совсем кстати в комнату протиснулся, чуть-чуть приоткрыв дверь, небольшого роста старичок в черном сюртуке, держа на отлете цилиндр,— бывший управляющий имением поляк Иосиф Модестович Бересневский.

— Низко кланяюсь, Яков Соломонович,— сказал Бересневский и действительно низко поклонился.

— Здравствуйте, здравствуйте, пан Бересневский,— величаво отозвался тайный советник, уже давно научившийся этой барственной величавости.— Садитесь.

Не садясь, посетитель осведомился о здоровье Полякова, при каждой фразе вежливо повторяя имя-отчество бывшего богача, от которого Бересневский за время своей службы управляющим утаил не одну тысчонку. Неожиданно Поляков поморщился и, прерывая Бересневского, брюзгливо сказал:

— Что это вы называете меня «Яков Соломонович» да «Яков Соломонович»? Называйте меня просто ваше превосходительство.

По чину своему тайного советника Поляков и в самом деле имел право на такое величание, но все же пан Бересневский несколько опешил. Как-никак он, Бересневский, был шляхтич, а этот старикашка — прогоревший еврейский торгаш и даже не крещеный. Денег у него, как твердо знал бывший управитель, осталось — кот наплакал, поэтому не поставить ли его на место? Но Бересневский рассудил, что корова, дававшая много молока, может и теперь дать, хоть и поменьше,— зачем же ссориться?

— К вашим услугам, ваше превосходительство! — воскликнул Бересневский и махнул перед Поляковым цилиндром, как его предки махали шляпами с пером.

Поляков сидел перед ним, развалившись в кресле. Он был в вышитом восточном халате с кисточками, из-под ворота выглядывала белоснежная кружевная, как у дамы, рубашка. На голове торчком сидела расшитая золотом тюбетейка. На ногах у бывшего железнодорожного воротилы были какие-то необычные туфли без задников, с задранными носами; все это — и халат, и туфли — подарил ему эмир бухарский, в свое время прибегавший к займам у русского миллионера на игру в рулетку.

Козлиная бородка и франтовски подстриженные усы (это-то Людвиг умел делать!) Якова Полякова были еще не совсем седые, с рыжинкой. Несколько выпуклые карие глаза печально, но с какой-то надеждой глядели на Бересневского.

— Садитесь,— сказал, вздохнув еще раз, Поляков.

И Бересневский осторожно присел на кончик стула, поставив на пол цилиндр донышком вниз. «Неужели попросит взаймы?» — испуганно подумал бывший управляющий имением, но Поляков небрежно спросил:

— Объясните мне: каким образом банк слопал мое имение? Там, сидя в Биаррице, я не понял. В конце кон-

цов, именне было всего лишь в залоге, в обеспечение кредита. В какой сумме был залог?

Конечно, он и сам отлично знал, что заложил Крестьянскому банку свою Поляковку в сумме шестисот тысяч рублей, то есть в той сумме, которой на момент залога не хватало для покрытия задолженности банку, образовавшейся из-за падения облигаций. Конечно, знал он и ту нехитрую механику, которая позволяла банкам хищнически заглатывать заложенные имения. «Торги» проводились келейно, явившимся покупателям давались отступные — лишь бы ушел, и заложенное имение оставалось за банком в сумме залога. Поляковка стоила не менее чем полтора миллиона рублей, пошла же она в покрытие долга в шестьсот тысяч. Банк заглотал немалый кус! Впрочем, и сам Поляков, основатель банков, знаток «финансового» дела, не раз и не два практиковал эти нехитрые операции, наживаясь и давая наживаться своим компаньонам. Но теперь он стоял, так сказать, по другую сторону баррикады.

Бересневский внимательно посмотрел на своего бывшего шефа, желая узнать, не шутит ли тот, задавая столь наивный вопрос. Но Поляков, помимо всего, был превосходный актер. Никто никогда не умел угадывать по его лицу истинных намерений и мыслей. Он и на этот раз вежливо и ожидающе сидел в кресле, точно задал какой-то невинный вопрос о погоде или о том, какая пьеса сегодня идет в театре. Бересневский, который считал себя знатоком настроений своего бывшего хозяина, растерялся. Может быть, и в самом деле, сидя там, в далеком Биаррице, на берегу лазурного моря, этот старый выжига и жуир не был в курсе дела? Может быть, и в самом деле Крестьянский банк, имевший в Таганроге филиал в помещении Государственного банка, сделал какую-то формальную ошибку? Но тогда Поляков обрушится на него, Бересневского, который до последнего момента был управляющим имением и обязан был проследить за ходом дела и поставить в известность шефа о допущенном промахе.

А тем временем Яков Соломонович сидел, задумавшись, с благосклонной улыбкой, и точно что-то вспоминал или даже о чем-то грезил. На самом же деле он в этот момент быстро соображал — он не потерял этой способности,— какие последствия могут иметь нарушения

формы торгов заложенного имения. Прежде всего полагалась повестка о предстоявших торгах. Повестку-то ему прислали, но он уклонился от подписи, поручив расписаться Людвигу, который русским языком не владел и вывел свою фамилию — Сюшар — столь неразборчиво, что сам черт теперь не разобрал бы, кому принадлежит кривой росчерк. Это — в порядке, на этом можно сыграть. Отрицать получение повестки — вот ключ к шкатулке!

Бересневский собрался с духом и чуть дрожащим голосом сказал:

— Як... то есть... ваше превосходительство! Никто не явился соревноваться, банк оставил имение за собой. Порядок вам известен, ваше превосходительство!

На этот раз титулование прозвучало немного иронически, но Поляков и бровью не повел (было время, и не так давно, когда от движения одной его брови зависела судьба просителя, а их было немало!).

— Вы присутствовали на торгах? — ровным голосом задал еще вопрос Поляков.

— Присутствовал, ваше превосходительство! — уже испуганно отрапортовал Бересневский и вытянулся на своем стуле.

Прожженного, но мелкого делягу беспокоила сейчас новая мысль. Заправила банка Нейтцель сунул ему в день торгов сотнягу, причем смысл этого подарка был более чем ясен: Бересневский не должен был придираться к нарушению — такому обычному! — прав залогодателя, на этот раз — Полякова. Присутствовавший на торгах товарищ прокурора Кретлов придрался было к неразборчивой расписке на обратном листке повестки, посланной в Биарриц Полякову. Он даже что-то сказал о желательности требовать удостоверения собственноручной подписи вызываемого владельца, но находчивый Нейтцель возразил, что закон этого не предусмотрел. Бересневский смолчал, и торги пошли гладко. За неявкой соискателей имение было оставлено за банком в сумме залога с процентами, а всего в шестьсот тысяч двести двадцать три рубля семнадцать копеек. По окончании процедуры Нейтцель позвал Бересневского в кабинет и сунул ему еще двести рублей. И вот теперь надо держать ответ!

— Соучастие в мошенничестве,— тихо, как бы с состраданием сказал Поляков.— Я не расписывался в по-

лучении повестки, любая каллиграфическая экспертиза это подтвердит. Вы не опротестовали мою подпись, хотя ваше положение управляющего и доверенного лица вас к этому обязывало. Выходит, что тут мошенничество, как говорит закон, учиненное лицом, облеченным особым доверием, что наказуется особенно строго. Конечно, вас будут судить одновременно с этим жуликом Нейтцелем, но его могут оправдать, так как он в свою очередь доверился вам. Кстати, сколько он вам дал? Если меньше десяти тысяч рублей — он просто свинья.

— Какие десять тысяч?! — воскликнул в бешенстве Бересневский. Он только сейчас сообразил, как ужасно продешевил.— Дал мне три сотни, пся крев!

Собственно, скрывать от шефа полученную взятку ему не было уже смысла. Может быть, даже выгоднее потянуть за собой взяткодателя Нейтцеля, который иначе и в самом деле сошлется на свое заблуждение, возникшее из-за молчания управляющего имением.

Поляков одобрительно кивнул. Его бывший управляющий — человек с головой. Не стал запираться. Хотя это пока ничего не дает: Нейтцель-то упрется, а доказательств взятки, кроме признания взяточника, нет. Этого недостаточно. Но все-таки — это кое-что! Поляков остался доволен сам собой: деловое чутье у него еще не выдохлось. Да, но как повести игру дальше? Другими словами: как добиться в кратчайший срок признания торгов на Поляковку недействительными, в результате чего к нему вернется имение и он сможет, уплатив банку долг, положить в карман около миллиона рублей. Можно начать крутить рулетку снова!

Кое-какие мысли на этот счет у Полякова были, но сейчас он не стал их открывать Бересневскому. Он только строго и внушительно ему сказал:

— Учтите, что вы — в моих руках и сядете в тюрьму по первому моему заявлению. Будьте наготове: может быть, вы мне понадобитесь. Разумеется, для восстановления нарушенного права. Полное молчание! Если проговоритесь, я немедленно начну действовать против вас. Можете идти.

Старый банкир умел быть внушительным! Кланяясь и пятясь задом, как плохой актер в придворной пьесе, Бересневский, весь красный и потный, чуть было не забыв

на полу цилиндр, исчез за дверью. Поляков встал и крикнул в соседнюю комнату:

— Людвиг, одеваться!

Тотчас в дверях появился французик с полным набором — сорочка, вызутюженные брюки, визитка — через руку. Недаром Поляков тащил его за собой повсюду — Людвиг был незаменим.

Тщательно одевшись с помощью лакея и надушившись английским «Шипром», Поляков поехал на кровном рысаке из своей знаменитой конюшни к присяжному поверенному Яковенко. На козлах вместо кучера в кучерской одежде сидел самый ловкий наездник Полякова Кузьма Денисыч, который в трезвом виде был молчалив и строг, а в подпитии любил хвастать, почему-то перенося все свои выдуманные приключения по ту сторону океана. «Иду это я по Америке с графом Татищевым и князем Панчулидзевым,— говаривал он развесившим уши молодым конюхам,— и вижу: стоит передо мной ихний президент в невыносимо блестящем мундире». Дальше шел путаный рассказ о том, как он выпивал с президентом и даже выиграл у того пари — кто придет в этом году первым на ростовском дерби.

Сейчас он был трезв, как памятник основателю лиги трезвенников, и величественно и впрямь очень ловко правил кровным норовистым жеребцом Богатырем-первым.

Превосходный экипаж работы петербургского мастера Евдокимова сиял на весеннем солнце посеребренными спицами и лаковой кожей. Выезд донес Полякова к дому Яковенко и замер: уж что-что, а Кузьма Денисыч умел осадить рысака у парадной двери, а что касается адреса Яковенко, то кто же в городе его не знал?

Присяжный поверенный Яковенко был почтенный и заслуживающий доверия юрист. Он жил одиноко, среди множества клеток с птицами. Два попугая в мрачной прихожей внимательно глядели на посетителей. Один из попугаев отлично говорил, разве только чуть гортанно. Клиента, входящего в прихожую, он встречал не совсем тактично звучащей здесь фразой:

— Плати гонорар! Плати гонорар!

Бывало, что какой-нибудь мужичок из села Новониколаевского пугливо смотрел на птицу и рапортовал ей:

— Так что уже уплатимши!

Где-то в темном углу прихожей прятался старый лакей, в обязанности которого между прочим входило красить седые бороду и усы хозяина в смолянисто-черный цвет. На стук открываемой двери (в часы приема она не запиралась) старик лениво вставал со своей лежанки и молча тыкал корявым пальцем куда-то в сторону, говоря:

— Проходите!

Старые клиенты ко всему уже привыкли, а вновь появляющиеся удивлялись и даже пугались странностям дома. А Яковенко сидел в своем кабинете, по стенам которого висели желтые канарейки, и чижи, и соловьи, и еще какие-то птички, и величаво принимал клиентов. Он не гонялся за крупными гонорарами и вообще проявлял странное для тогдашнего адвоката равнодушие к деньгам. Да и то сказать: зачем они были нужны одинокому, старому и неприхотливому человеку? Он не пил, не играл в карты, любовниц давно уже не держал, жены и детей у него не было. Впрочем, иногда, озорства ради, он «закидывался» и называл несуразную цифру...

«Человек» в прихожей равнодушно оглядел щегольскую фигуру тайного советника и молча ткнул пальцем, указывая на кабинет хозяина. Поляков, впервые появившийся в квартире Яковенко, с удивлением огляделся, сердито послушал дерзкого попугая и, кинув пальмерстон на руки «человеку», прошел, осторожно ступая по рваному коврику, в кабинет присяжного поверенного.

— Разрешите, Иван Яковлевич? — спросил он, входя в кабинет и несколько нервно ожидая каких-либо сюрпризов со стороны многочисленного птичьего царства, заключенного здесь в ряды клеток по стенам: может, еще и не то скажут?

Но птички, весело чирикавшие до того, смолкли с появлением гостя. Яковенко, сидевший за огромным столом, поднял от книги голову, похожую на голову Мефистофеля, и не очень дружелюбно уставился на франтовскую фигуру старика.

— Поляков Яков Соломонович, — нашел нужным представиться посетитель, ожидавший, что его громкое имя сразу преобразит мрачную рожу хозяина в приветливо осклабившееся лицо.

Однако этого не случилось. Яковенко вежливо сказал «здравствуйте» и указал на стул перед столом. Поляков

сел, чувствуя себя несколько выбитым из привычно самодовольного состояния.

— Имею к вам, как к знатоку наших законов,— церемонно начал Поляков,— один вопрос, разрешить который можете только вы.

Он замолчал, ожидая знаков одобрения или радости за столь лестное мнение. Но Яковенко равнодушно молчал, выжидающе глядя на Полякова. Поэтому тот, несколько сбившись, поспешил изложить суть вопроса. В самом ли деле обязателен вызов на торги владельца имения, если оно продается за невыкуп залога? Вот и все. Собственно, Поляков знал, что вызов — обязателен, для этого у него в его практике было достаточно примеров, но ведь уже несколько лет, как он отошел от дел, а правила так часто меняются!

Ничуть не удивившись вопросу, Яковенко равнодушно подтвердил:

— Да, вызов в этих случаях обязателен не меньше, чем, скажем, вызов в суд или к следователю. Есть еще вопросы?

— Нет, благодарю вас,— осанливо кивнул головой Поляков.

Он поднялся и полез в боковой карман визитки за бумажником. Однако Яковенко сердито сказал:

— Я за краткие советы... такого рода гонорара не беру. Детский вопрос!

Поляков с достоинством поклонился и вышел, проклиная в душе «этого нахала». Вместе с тем Поляков испытывал радость, узнав, что закон остался незыблем и что, стало быть, у него и в самом деле немалый козырь против разоривших его людей. Главным был, конечно, директор местного отделения так называемого Крестьянского банка, а в действительности — банка чисто помещичьего, немец Нейтцель. Нет сомнения — в этих делах Поляков был силен,— что Нейтцель устроил фальшивые торги на имение не ради обогащения банка, а для обогащения собственного. Мало ли путей «выкупа» и прочих способов оформления на свое имя оставленного за банком имения! Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что легче запугать лицо, чем учреждение. Плохо потому, что лицо будет больше держаться за миллион, чем банк. Но тут на помощь Полякову должно прийти некоторое тонкое обстоятельство...

Поляков, в пальмерстоне внакидку, быстро, молодо вышел на улицу н, садясь в свой роскошный экипаж, бодро крнкнул Кузьме Деннсычу:

— К генералу Клуннннкову!

Кузьма Денисыч сделал почти невидимое движение вожжами. Рысак понесся.

На этот раз Кузьма Денисыч что-то не рассчитал, н экипаж замер шага иа трн дальше виушнтельного парадиого подъезда предводителя дворянства Тагаирогского округа геиерал-лейтенанта Клунинкова. В рассеянности мыслей и чувств Поляков не заметнл этого промаха.

— Подождешь,— бросил он, выпрыгнув из коляски и направляясь к двери, которую распахнул перед ннм швейцар в ливрее.

— Дома? — на ходу спроснл Поляков.

— Так точио, дома, ваше превосходнтельство,— почтнтельно доложнл швейцар, прнинмая на рукн сброшеиный Поляковым пальмерстон.— Пожалуйте наверх.

Поляков, одернув модную кургузую визнтку, почти без одышкн поднялся по шнрокой лестннце иа второй этаж, где с почтнтельным поклоиом пожнлой лакей провел его в прнемную предводителя.

«Посмотрнм, посмотрнм, заставнт ли этот старый дурак меня ждать»,— подумал Поляков, шагая по голубому французскому ковру прнемной. Но нет, ждать его не заставнли.

Массивная белая дверь с позолотой распахнулась — н на пороге показалась солндиая фигура в серой геиеральской тужурке. Четырехугольное лицо с крупным носом н бобрнком стрнжеиными густыми седымн волосами было сейчас полуопущено в вежлнвом поклоне. В коице концов, согласно табелн о раигах, и хозяии и посетнтель былн в равных чннах: хозяин — генерал-лейтенант, а гость — тайный советннк, оба — особы третьего класса, оба — обладатели ряда прнвнлегнй, в том чнсле — права требовать выезда всего состава суда к себе иа дом, коли суд пожелает их допросить как свндетелей.

Однако сверх всего Клунинков был предводнтель дворянства, а Поляков — дворянни в снлу полученного чина, но... Да, здесь было очень серьезиое «но».

Внтте в своих воспомниаиих писал: «...Яков Поляков

кончил свою карьеру тем, что был тайным советником и ему даже дали дворянство, но ни одно из дворянских собраний не согласилось приписать его в свои дворяне...» В какой-то степени это было верно, но и на этот раз в своих мемуарах Витте не совсем точен. Таганрогские дворяне и вот этот самый генерал Клунников, их предводитель, уже давно согласились приписать Якова Соломоновича «в свои дворяне». Это случилось еще в годы расцвета Полякова, когда Чехов в рассказе «В вагоне» упомянул его как некий эталон богатства (1881 год). Во всяком случае, приписка в таганрогское дворянство стоила Полякову много несчитанных денег. Взял куш Клунников, тогда еще войсковой старшина (казачий полковник), взяли и еще с десяток влиятельных членов Дворянского собрания. Деньги давались «на благотворительные цели», вот только никто не выдавал расписок. Дворяне верили друг другу на дворянское слово! Единственно, о чем просил Клунников вновь принятого дворянина,— не разглашать этого принятия. Особенно Клунников побаивался областного предводителя дворянства Области войска Донского генерала Грекова: тот мог бы устроить Клунникову разнос. Поляков и помалкивал: ведь для него принятие в дворянство данной области или округа имело лишь формальное значение. Приписка к определенному месту нужна была: иначе его дворянство повисло бы в воздухе. Но не больше того. Так почему же сегодня дворянин Поляков пожаловал к нему, Клунникову, и что он от него хочет? Этот вопрос был генералу тем более неприятен, что о разорении Полякова — конечно, относительном — в Таганроге было широко известно: стало быть, на поляковские деньги нечего больше рассчитывать. Чего же он хочет? Может быть, все-таки афишировать свою приписку?!

— Прошу ваше превосходительство садиться,— вежливо пригласил хозяин гостя, подставляя ему стул на подагрически изогнутых ножках.

— Благодарю, ваше превосходительство,— поклонился Поляков с парижским изяществом и уселся.

Клунников вопросительно посмотрел на Полякова, но тот молчал, вежливо дожидаясь, чтобы хозяин первым начал разговор.

— Отличная держится погода,— нетвердым голосом сказал генерал-лейтенант.

— Да? — довольно небрежно отозвался тайный советник.— А я даже, признаться, не заметил.

— Весна,— внушительно вздохнул Клунников.

— Да какая же это весна,— снова строптиво отозвался Поляков.— Вот в Париже в это время... действительно весна. Все бульвары расцветают.

— Пожалуй, в таком случае не стоило и уезжать,— довольно ехидно вставил Клунников.

Поляков внимательно посмотрел на него.

Он знал, что Клунников крепко играл в карты и иногда бывал в весьма крупной «запарке», как говаривали игроки. Сердитые складки у генеральского рта и мрачные огоньки в маленьких злых глазах говорили о сильном проигрыше. Генерал был явно расстроен. «Сейчас ты клюнешь!» — сразу решил Поляков и начал плести паутину.

— Продали здесь с торгов мою Поляковку... Слыхали? — небрежно спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Продал банк, с грубейшим нарушением процедуры. Я был в Биаррице и не получил ни малейшего извещения! А между тем я легко бы мог, знай я заранее о назначении торгов, погасить залог.

«Черта с два,— подумал со злорадством генерал,— откуда у тебя сейчас шестьсот тысяч?!»

Не обращая внимания на язвительное выражение генеральского лица, Поляков продолжал:

— Я уже советовался с адвокатом. Торги явно недействительны. И я легко добьюсь возвращения мне имения!

— Очень рад,— сухо сказал генерал, начиная терять терпение,— но при чем тут я? Я хотел сказать: чем я-то могу помочь?

— Я обращаюсь к вам как дворянин к предводителю дворянства! — торжественно и даже патетически произнес Поляков.

Сердце у Клунникова екнуло: этого еще недоставало! Мало того, что вчера в клубе какой-то хлюст сорвал у него банк и он остался без денег, задолжав вдобавок старшине клуба несколько тысяч,— тут еще вот эта неприятность. Чего доброго, этот сукин сын полезет и в Новочеркасск — будет тогда кутерьма с генералом Грековым!

— Но, право же,— молвил, откашливаясь, Клунников,— я что-то не возьму в толк, какое, собственно, имеет отношение высокое сословие дворянства к торгам на имение?

— Ваш зять Генрих Генрихович Нентцель,— твердо заявил Поляков.— Вам должно быть известно, что именно он является директором в таганрогском отделении Крестьянского банка.

— Ну и что же? — слабым голосом спросил Клунников, понимая, что попал в цепкие руки.

Поляков в ответ только усмехнулся.

— Генрих Генрихович, наверно, отлично понимает, что именно воспоследует из неправильного проведения торгов на имение, стоящее около двух миллионов рублей,— небрежно пояснил он.— Я убежден, что, обратись я как дворянин к защите предводителя дворянства Области войска Донского генералу Грекову...

Клунников слабо охнул и замахал руками.

— Нет, нет! — воскликнул он жалобным голосом.— Я сам поговорю с Генрихом!

— А я облегчу ваш разговор,— поспешно сказал Поляков.

У него из головы не выходило, что, в конце концов, у этого немчуры Нентцеля лежит расписка Людвига в получении повестки на торг. Правда, тот расписался нарочито неразборчиво. Нарисовано было что-то вроде гоголевского «Обмокни». Но все же чем черт не шутит! «Маленькая рыбка лучше большого таракана» — этой поговоркой Поляков руководствовался всю жизнь. Он продолжал:

— Конечно, я могу рассчитывать на любезную и бескорыстную помощь вашего превосходительства? Я попрошу вас передать вашему уважаемому зятю, что я решил ограничиться, разумеется при мирном окончании дела, всего лишь половиной той суммы, которая недополучена мною за имение. Скажем, это составит пятьсот тысяч рублей. Вторую половину миллиона, недобранного мною, я оставляю благоприобретателю.

Поляков нарочно выбрал столь неопределенное выражение — «благоприобретатель», чтобы дать понять, что он легко допускает, что имение захапал лично Нентцель.

Столь же любезно он продолжал:

— Помимо того, я попрошу ваше превосходительство при окончании сделки принять от меня на нужды благотворительные, скажем, тридцать тысяч рублей. В пользу нуждающихся дворян.

— Пятьдесят,— быстро отозвался генерал,— нуждаемость велика.

— Да, да, я именно хотел сказать — пятьдесят,— быстро согласился тайный советник и поднялся.— Я остановился в «Европейской», благоволите прислать ко мне человека, если для переговоров... или для окончания их потребуется мое присутствие. Имею честь!

Генерал в свою очередь вскочил и звякнул шпорами. Настроение у него сразу поднялось. Он знал своего зятя и его воровские повадки, да и деньги что-то уж очень большие тот стал в последнее время тратить на певичек. Стоит, стоит дать ему ассаже! Ну, и, конечно, избежать неприятнейших объяснений в Новочеркасске по поводу приписки к донскому дворянству. А пятьдесят тысяч — это совсем хорошо.

Оба генерала — военный и штатский — простились весьма сердечно. Потом Поляков велел Кузьме Денисычу прокатить себя по Петровской и, вдоволь покрасовавшись, вернулся в отличном расположении духа в гостиницу и приказал Людвигу подать себе на второй завтрак осетринки, превосходной и неповторимой таганрогской осетринки.

После сытного завтрака, похвалив Людвига за хорошую и быструю сервировку, разомлевший тайный советник лег отдохнуть. Он сразу заснул и видел себя во сне молодым и полным задора, за «деланием» своего первого миллиона.

Генерал немедленно после ухода Полякова отправился в банк к зятю и, запершись с ним, рассказал о своей встрече с владельцем имения, причем, будучи человеком неделовым, сразу же открыл все свои карты и слишком в лоб попытался взять крепость. А Нентцель был крепенек! Этот молодой человек с коротко подстриженной каштановой бородкой а-ля Анри Катр внимательно выслушал тестя, о вчерашнем проигрыше которого уже знал, и, выслушав, задал только один вопрос: сколько именно Поляков предложил куртажа генералу? Клунников сначала назвал двадцать тысяч, потом тридцать и скоро сознался в пятидесяти.

— Это — настоящая цена,— спокойно сказал Нентцель, рижский немец истинно русских убеждений.— Видите, к чему приводит наше доброе отношение к евреям? Они садятся нам, русским, на голову. Нет, дорогой мой тесть, на этот раз вам не видать этой полсотни тысяч. Я попробую побороться с шантажом.

В душе генерал простодушно подумал, что, пожалуй, тут нет со стороны Полякова никакого шантажа, он лишь добивается восстановления законности, но горечь в генеральской душе от потери куша оказалась сильнее других переживаний, и Клунников, ничего не добавив, мрачно побрел домой.

А Нентцель, не теряя ни минуты, послал за Бересневским, который, как он знал, в это время дня всегда находился в бильярдной при гостинице грека Кумбарули и здесь ловил фраеров, завлекая их в игру на интерес. Бересневский не замедлил явиться.

— Это не его подпись. Но не может быть, чтобы Поляков поручил расписаться на обратном экземпляре повестки кому-нибудь постороннему,— терпеливо объяснял Бересневскому Нентцель.— Это было бы опасным. Нет, видно, что расписался свой человек. Кто бы это мог быть?

Нентцель полез в небольшой сейф, стоявший у него в кабинете, и вынул расписку.

— Смотрите,— внимательно разглядывая подпись, продолжал Нентцель,— разобрать подпись нельзя, но ясно, что она сделана иностранцем: видна латинская буква «S» — начальная буква фамилии. Остальные буквы как бы нарочито искажены, и их разобрать невозможно.

— Фамилия его лакея — Сюшар! — воскликнул Бересневский.

— Теперь все более или менее ясно,— с удовлетворением сказал Нентцель.— Надо вырвать у этого Сюшара признание, что барин ему поручил расписаться,— и дело в шляпе. Постарайтесь получить это признание в письменной форме, а лучше всего — у нотариуса. Ну, что будет стоить — пожалуйста. Вот вам на первый случай... Будет вознаграждение еще.

Говоря так, Нентцель отсчитал три сотни и протянул их Бересневскому.

Как опытный человек, Бересневский попытался воз-

действовать на франтоватого француза лакея с позиций, так сказать, психологических. Придя в гостиницу «Европейскую», пан Бересневский отозвал Людвига и жестами, мимикой и десятком французских слов, известных ему, внушил французу мысль о страшной опасности, нависшей над ним. Полиция следит! Он подделал подпись на повестке! Он подписался вместо хозяина — это подлог! Десять лет (Бересневский показал сначала десять пальцев, а потом несколько пальцев, сложенных в виде решетки), по меньшей мере десять лет каторжных работ ожидают Люн Сюшара за это тяжкое преступление. Таковы законы этой страны! Такова местная полиция!

Бересневский заметил, что при слове «полиция» Людвиг бледнел и дрожал мелкой дрожью. Доведя его до нужного градуса, Бересневский повел лакея в нотариальную контору, и здесь в присутствии присяжного переводчика бедняга объяснил, что он ни в чем не виноват, что какую-то бумагу, написанную на неизвестном ему русском языке, он, Сюшар, подписал по просьбе своего хозяина, и притом подписал неразборчиво и тоже по прямой его же о том просьбе: смертный приговор надеждам Полякова.

В этом через два дня убедился и Поляков. Во-первых, он остался без лакея, который в категорической форме, без объяснения причин, попросил расчет и назавтра укатил за границу, а во-вторых, Полякова постигло разочарование более серьезное. Попытка кончить миролюбиво не вышла. Нентцель решительно отказался от переговоров, о чем с грустью сообщил Клунников, прося Полякова «как дворянин дворянина», не ездить в Новочеркасск к генералу Грекову. А это меньше всего входило в планы тайного советника!

Поляков поехал не к Грекову, а к прокурору, надеясь хотя бы там найти сочувствие и поддержку, но именно там уже подготовленный Нентцелем к беседе прокурор показал ему нотариально заверенное объяснение лакея. Все было потеряно. Выходило, что тайный советник был отлично осведомлен о торгах и к тому же пытался обмануть банк — малопочтенное поведение для основателя двух банков!

Последний визит мрачный и злой Поляков сделал к присяжному поверенному Яковенко.

Попугай по-прежнему встретил Полякова возгласом «Плати гонорар!», заспанный лакей снова проводил, вериее — показал иа кабинет грязной ручищей, и по-прежиему же Яковенко принял клиента ие очень-то любезно. На этот раз, разъяренный неудачами, тайный советник обрушился иа своего советчика:

— Вы, милостивый государь, дали разъяснение, что для действия торгов требуется подпись владельца, но оказалось, что достаточно и подписи его лакея. Что это — иевежество или иасмешка?!

Яковенко поднялся из-за стола и молча направился, как показалось Полякову, к нему. Поляков попятился. Одиако Яковеико спокойио приблизился к стене, увешанной клетками с птичками, и какой-то палочкой с крючком на конце помог одной из пленниц освободиться от придавившей ее деревянной решеточки, вышедшей из гиезда. Потом, так же молча, Яковенко вериулся на свое место и спокойно сказал:

— Я вам совершенно правильно разъяснил, что вызывиая повестка владельцу имеиия обязательиа. Больше ни о чем вы меня не спрашивали. Если бы вы спросили, кто имеиио вправе подписать обратный экземпляр повестки, я бы ответил: вправе, помимо владельца, также и близкие ему люди, как-то: живущие с ним родственники, швейцар, камердииер, лакей и старший кучер.

— Старший? — иесколько ошалело переспросил Поляков.

— Именно старший,— равиодушно ответил Яковенко.— Так разъясиил сеиат. Поскольку же подобного вопроса задано ие было, а я отнюдь не обязаи информировать клиеита о содержании всех четырнадцати томов «Свода закоиов», то ваше неудовольствие мне кажется странным. Впрочем, на мои действия вы можете принести жалобу в иовочеркасский совет присяжных поверенных.

«Опять Новочеркасск!» — неприятно удивился Поляков и, круто повериувшись, направился к выходу.

— Погодите,— столь же ровным голосом остаиовил его адвокат,— на этот раз, ввиду повторности обращения и иеобходимости более широкой коисультации, вам придется уплатить гоиорар...

Он немножко подумал и назвал цифру, которая показалась Полякову по меньшей степени издевательской:

— Двести пятьдесят рублей.

Увидя неудовольствие и даже растерянность на лице клиента, Яковенко столь же равнодушно добавил:

— Впрочем, если состояние ваших дел таково, что внесение этой суммы для вас затруднительно, я готов и на этот раз оказать вам бесплатную юридическую помощь.

Как бы дожидаясь этой реплики, птички вокруг насмешливо засвистали и зачирикали. Поляков дрожащими руками отсчитал двести пятьдесят рублей и положил кредитки на стол...





Конец генерала Ренненкампфа

Луиза Ивановна Вейдель, по прозвищу «генеральша», содержала в Таганроге на пристани трактир с номерами и с женской прислугой, приносившей ей верный и постоянный доход. Дело свое она знала, немало потрудившись в молодости на более низких ступенях этой лестницы, вершины которой теперь достигла. Полицейский пристав уважал ее за тонкость обращения и чисто немецкую аккуратность в приношении ежемесячной мзды. Кроме того, он не мог не ценить в Луизе Ивановне ее какого-то родства или свойства с знаменитым генералом Ренненкампфом, происходившим, как и она, из прибалтийских немцев. Правда, здесь была неясность: Луиза Ивановна забывала, что в прошлый раз она именовала «экселенц» двоюродным братом и уже говорила о нем как о дяде. Что же! Пусть даже он приходился толстой, заплывшей жиром даме просто земляком, и то для пристава первой части города Таганрога этого было немало. Генерал Рен-

ненкампф — шутка ли сказать! Тот самый, кто подавил восстание ихэтуаней (боксеров) в 1901 году. Тот самый, кто расстрелял вместе с другим остзейским уроженцем генералом Мином[1] революцию 1905 года.

Может быть, тут некоторое преувеличение: помимо Ренненкампфа и Мина, в орудийных и ружейных расстрелах революционных рабочих отличились в те поры и многие другие верные царские слуги, но факт остается фактом: и Ренненкампф и Мин выглядели обер-палачами даже на фоне многих других царских палачей, а Ренненкампф, расправившийся с рабочими на Китайско-Восточной, Забайкальской и Сибирской железных дорогах, занял особо почетное место даже и среди обер-палачей. Как же было полицейскому приставу не испытывать уважения к родственнице сановника?! А что касается приносимой мзды, то в этом вопросе в царской России существовал незыблемый порядок. Известно, что даже министр юстиции граф Панин вынужден был дать взятку маленькому чиновнику министерства земледелия за ускорение продажи поместья. Перед взятками и взяточниками все были равны!

Что касается самого генерала Ренненкампфа, то, по правде говоря, двукратные попытки мадам Вейдель завязать переписку не увенчались успехом. На первое письмо с жаркой просьбой припомнить общую родственницу «тетю Эммхен», проживавшую когда-то в Риге, генерал, видимо по чрезмерной занятости, вообще не ответил, а на второе, в котором речь шла уже не о родстве, а просто об общем фатерланде — любимой Курляндии, ответ все же пришел, но какой-то странный: адъютант генерала поручик Ковалев-второй просил больше не беспокоить его высокопревосходительство. Впрочем, письмо было подписано «готовый к услугам», и Луиза Ивановна еще долго думала, какие именно услуги может ей предоставить неведомый поручик Ковалев, почему-то подписывающийся, как и царь Николай, с приставкой «второй». Но так и не придумала.

Конечно, в те дни она нуждалась в помощи влиятельного генерала, а не одного из тех бедолаг поручиков, многие из которых задолжали ей немало денег в связи с высокой таксой в ее заведении. Да, ей требовалась по-

[1] Генерал-майор Мин — каратель Красной Пресни.

мощь: случилась беда. В ее трактире отравили купца. Отравили и ограбили. Тут некстати вспомнили, что уже не в первый раз в порту в номерах Луизы Ивановны совершались уголовные дела и делишки: то кража бумажника у пьяного купца, то попытки напоить до бесчувствия богатого «гостя», тоже явно с целью ближе познакомиться с содержимым его карманов. Пристав разводил руками и принятым басом объяснял рыдающей даме, что это дело не его, а «подлежащих властей», и хотя не отказывался от сверхсметных приношений, но адресовал приносительницу к адвокатам.

Но что адвокат, если он даже не мог защитить даму от оскорбительных вопросов на суде об источниках ее доходов! И — что показалось фрау Вейдель особенно неприличным — давнишний ее клиент, толстый старый прокурор окружного суда Кутейников, попросил Луизу Ивановну в судебном заседании подробно описать расположение всех комнат ее заведения. К чему лишние вопросы, затягивающие и без того неприятнейшие минуты пребывания почтенной дамы перед судом?!

— Да разве вы позабыли, Корнелий Яковлевич?—робко спросила в ответ свидетельница, чем неожиданно для себя вызвала в переполненном зале громкий хохот. Она вовсе не собиралась шутить. До шуток ли было, если готовился запрет заниматься ей избранным промыслом?

Когда смех затих, ничуть не смутившийся прокурор заметил с весьма пристойным видом:

— Я-то не забыл, но, может быть, кто-нибудь из господ судей или господ присяжных заседателей запамятовал. Так не угодно ли свидетельнице все же ответить?

По каким-то формальным причинам дело было судом отложено, и вот тогда-то Луиза Ивановна и решилась обратиться к своему родственнику. Но люди злы. Как мы уже знаем, вместо родственной помощи она получила холодное письмо поручика Ковалева-второго с неясной приписской: «Готовый к услугам...» Думала ли в тот день мадам Вейдель, что примерно через десять лет даже не за услугами, а за помощью обратится к ней сам Павел Карлович Ренненкампф?

С тех пор как неприятное судебное дело окончилось для нее самым благополучным образом и за отравление купца, совсем как Катюша Маслова в «Воскресении» Толстого, пошла на каторгу молодая женщина, а она, хо-

зяйка, вышла нз зала суда с ничем ие омрачениой репутацней, Луиза Ивановна и не вспоминала своего знатного родственника. Между тем в августе 1914 года его нмя снова всплыло. Людн шепотом рассказывали друг другу, что знамеинтое наступленне на Восточную Пруссню армии геиерала Самсонова сорвалось именио нз-за генерала Реииеикампфа, комаидующего первой армней Северо-Западного фронта. Протнвостоявшей германской армией комаидовал его родиой брат. И когда по днспознцни вслед за армией Самсонова должно было немедленно начаться наступленне его правого соседа — армнн Ренненкампфа, каратель даже и не пытался двинуться с места. Ои предоставнл геиерала Самсонова и его солдат своей судьбе, охраняя судьбу своего родного брата. Все же он в коиечном счете оказался хорошнм родственннком!

Измена генерала Рениенкампфа повлекла разгром в лесах восточной Прусснн армнн Самсонова. Что же касается изменннка, то какне-то его оправдання были благосклонио прнняты немецкой царствовавшей в Росснн четой, и на его грудн засияла новая звезда, пожалованная «за геройство и храбрость».

Раиней осеиью 1914 года об этом в Росснн говорилн миогне, но, разумеется, Лунза Ивановна не ннтересовалась и ие заиималась «политикой». Ее ннтересы и занятия были иеизменны и ие выходнли за пределы особияка в порту, освещавшегося по вечерам фонарем у входа.

Менялнсь официантки, меиялнсь клиенты, менялись и тарифы: деиьги падали. Лунза Ивановиа с увлеченнем повышала цеиы, далеко обгоняя инфляцню. Ветер дул в ее паруса. И вдруг Романовы лншилнсь престола, а она — мягкого кресла у окна в зальце своего заведения, да н заведеиня в целом: «иомера» этого рода, просуществовав столько же, сколько существовала империя, повсеместио подверглнсь закрытню. По прнвычке видеть в прнставе высокое начальство, Лунза Ивановна пошла было к нему поплакать на свою судьбу: «Трндцать лет я честно труднлась, н вот теперь меня выгоняют, как драиую кошку!» Да, такую тнраду она приготовнла для разговора с приставом, но оказалось, что прнстав ие то сбежал, ие то сндит под арестом. Только тогда она поияла всю глубнну катастрофы и удалнлась иа покой. Но разве можно быть спокойной в этой стране, ие призиающей ии царя, нн пристава, ии бога?!

С полгода фрау Вейдель пожила без особых огорчений в небольшом одиоэтажном домике, купленном ею после ликвидации «дела». При домике был отличный фруктовый сад. Луиза Ивановна уже подумывала сдавать сад в аренду, как вдруг там, в Петербурге, который был уже не Петербург, а Петроград, что-то случилось осенью такое, перед чем бледнели ее прежние неприятиости. Весьма ощутимые отзвуки Октябрьской революции она увидела и в Таганроге. «Рабочие поднимают голову»,— с правильным классовым чутьем определила для себя суть событий старая содержательница трактира. И вывод она для себя сделала правильный: надо продавать и этот одноэтажный домишко на Митрофаньевской улице и уезжать в Курляндию. Там «приличное» правительство, там порядок, там, может быть, ей удастся открыть фешенебельный дом свиданий, о чем она мечтает вот уже тридцать лет. Но надвинулись события, которые сделали ее планы маловероятными: в снежный январь 1918 года рабочие «захватили власть» в Таганроге...

А уже в феврале Луизу Ивановну ожидало новое неприятное событие. Из Ростова, в котором также установилась революционная власть рабочих и крестьян, к старой немке приехал ее родственник, свойственник или просто земляк генерал Ренненкампф.

Вот когда он мог пожалеть, что в свое время не был «готов к услугам», предоставив это своему адъютанту! Теперь-то услуги Луизы Ивановны ему особенно понадобились. В штатском потертом пальто, с небольшим чемоданом, постучался в дверь высокий и еще сейчас не согнутый летами старик, с начисто сбритыми усами, с висным носом. Он вошел в горенку и только здесь снял перед ахнувшей старухой потертую меховую шапку.

— Узнаешь, дорогая Луиза? — с генеральской хрипотцой негромко спросил Ренненкампф, сразу признав свое родство с хозяйкой дома.

— О, экселенц...— забормотала Луиза Ивановна, приседая в старинном книксене,— я так счастлива!

— Ну, уж счастливым нам с тобой не от чего быть,— отрезал генерал, бесцеремонно усаживаясь в широкое и низкое кресло, обитое красным бархатом: мебель из своего заведения Луиза Ивановна, в общем, спасла и перевезла домой.— Стаканчик мадеры мне не помешал бы, сестрица.

Беспрестанно приседая и ахая, мадам Вейдель поставила на круглый столик, крытый красной бархатной скатертью со старыми следами пролитого бенедиктина, графинчик водки, две бутылки отличного лафита и таганрогскую закуску: икру и балык. Генерал просветлел лицом, встал, скинул пальто и, снова усевшись, налил себе чарку водки.

— За погибель большевиков! — произнес он шепотом и опрокинул чарку себе в рот, показав при этом множество золотых коронок.— Я бежал из Ростова,— нашел он нужным пояснить.— Из Чека ломились в парадную дверь, а я удрал с черного хода. Понятно?

Не дождавшись ответа, он внушительно сказал:

— Теперь ты должна меня спрятать. Большевикам каюк, скоро город займут немцы.

— Немцы?! — с восторгом переспросила Луиза Ивановна.

— Вот именно,— подтвердил генерал, опрокидывая вторую чарку.

Он поглядел на монументальную кровать и, не стесняясь престарелой родственницы, стал раздеваться. Луиза Ивановна скромно потупила глаза.

— В конце концов, мы родственники... и мне уже шестьдесят лет,— сказал генерал, с усилием стаскивая солдатские сапоги.— Кстати, ты помнишь наше родство?

— О да, онкель Пауль! — пылко воскликнула Луиза Ивановна.— Вы — мой дядя!

— Ну, положим, не дядя, а только двоюродный... нет, троюродный брат,— возразил Ренненкампф.— В последний раз мы виделись с тобой в Риге, у тети Эммхен. Помнишь тетю Эммхен?

Луизе Ивановне очень хотелось напомнить этому надменному старику, что было время — она сама ссылалась на тетю Эммхен в надежде разбудить в душе генерала родственные чувства. Но увы: ей достался лишь поручик Ковалев-второй с его бесплодной готовностью к услугам.

— Приятного отдыха! — жеманно пропела старуха и выскользнула из комнаты, прикрыв за собой дверь.

Она пошла на кухню и, попивая здесь за чистым, до блеска выскобленным столом кофе, тяжело задумалась: а как же ей, собственно, быть с неожиданно нагрянувшим родственником? Держать его, не показывая соседям? Все равно они проведают о появлении какого-то подозритель-

ного гостя. И не миновать ей неприятных объяснений с большевистским начальством!

Часа через два, когда из ее горницы раздался стариковский барственный кашель Ренненкампфа, она, уже не стесняясь, вошла без стука и сразу задала волновавший ее вопрос:

— Скажите, братец, а паспорт у вас имеется?

— О да! — сказал генерал.— Меня снабдили...— Он протянул ей паспортную книжку.— Видишь? Федор Иванович Смоковников, из мещан города Витебска.

— Федор Иванович? — опешив, переспросила мадам Вейдель.— Пфуй, значит, вы уже не немец, братец?

— Чепуха,— отмахнулся генерал, вылезая из-под пухового одеяла,— я был немцем и останусь немцем.— А это...— он пренебрежительно махнул рукой в сторону паспортной книжки,— это временная маскировка. Ничего не стоит.

— Хорошо,— твердо сказала старуха, возвращая паспорт генералу,— хорошо! Вы, Федор Иванович, есть мой служащий. Вы имеете обрабатывать мой сад и чистить мой двор!

И она рассказала милостиво слушавшему ее «братцу» свой план.

Днем Ренненкампф лениво окапывал в саду фруктовые деревья. Соседи уже привыкли к его высокой статной фигуре старого солдата и вежливо через забор откликались на его шуточные приветствия.

— Веселый старичок к Ивановне забрел,— говорили соседки.— Война-то людей по всему свету разбросала, она не смотрит — молодой или старый.

— Поди, бездомный,— жалостливо вздыхали старушки,— ему и глаза-то закрыть некому будет.

— Глаза закрыть — это всегда охотник найдется,— мрачно заметил случившийся тут сосед, кожевенник Михайло, квелый человек в солдатской стеганке по колена и в заскорузлых рыжих сапогах.

— Тьфу! — возмутились старушки.— Креста на тебе нет, Михайло!

— Это верно, что нет,— спокойно подтвердил кожевенник, с интересом всматриваясь в Ренненкампфа.— Сосед! — окликнул он генерала.— Да ты когда-нибудь раньше окапывал деревья? Уж больно по-барски копаешь, в полвершка!

Рейненкампф не торопясь выпрямился и спокойно ответил:

— Я ведь, сынок, всю жизнь в городе проработал, в Витебске, там и садов не видно.

— А кем работал? — без паузы спросил рабочий.

— Кем только не приходилось,— вздохнул генерал.— И по сапожному, и по слесарному... Всяко бывало.

— Ясно,— сказал Михайло. И снова, внимательно приглядевшись к Рейненкампфу, повторил: — Ясно!

В тот же вечер к генералу один за другим, прижимаясь в ночной темноте к забору, пришли пять-шесть разношерстно одетых, разных, но чем-то очень похожих один на другого молодых людей. Все проходили в заднюю комнату, столовую, с наглухо закрытыми ставнями, и садились за обеденный стол. На столе лежала чистая клеенка с голубенькими цветочками. На председательском месте, во главе стола, молча и грузно сидел, опершись локтями на стол, генерал Рейненкампф. Когда все собрались, он произнес небольшую речь.

— Господа офицеры,— сказал он,— мы должны облегчить и ускорить вступление в Таганрог дружественной нам германской армии...

— Дружественной?! — удивился один из офицеров, худой молодой человек со шрамом через лицо, видно от сабельного удара.

Рейненкампф тяжело посмотрел на него и, не повышая голоса, ответил:

— Да, дружественная нам, офицерам, германская армия. Она придет освободить страну от ига большевиков. Понятно, поручик?

Не дожидаясь реплики, генерал продолжал:

— По имеющимся у меня сведениям, передовые части германского ландсвера вступят к нам со стороны станции Марцево. Предлагаю установить сменное наблюдение, встретить белым флагом и доложить германскому командованию обстановку в городе на день вступления. Для этого вы должны быть в курсе дел в самом городе, в его органах самоуправления, знать о численности и составе большевистских частей. Поэтому приказываю...

Когда через час заговорщики стали по одному выходить, их ждали у ворот с десяток вооруженных рабочих и среди них — Михайло.

— Тихо, руки вверх! — негромко командовал коже-

венник Михайло каждому, и все безропотно подчинились. После ареста последнего, шестого по счету, он спросил:

— Кто этот старшой, у которого вы были?

Офицеры молчали.

— Ясно,— сказал Михайло и вошел в дом. На пороге его остановила Луиза Ивановна. На ней была ночная кофта с кружевами, жидкие волосы ее были в папильотках, она прижимала молитвенно руки к груди и говорила, сбиваясь и плача:

— Ей-богу, я не знала, кто он есть! Ей-богу!..

Легонько отстранив старуху, Михайло вошел в горницу и насмешливо поклонился генералу:

— А я вас, ваше высокопревосходительство, сразу признал. Старые знакомые! Еще с той поры, когда вы изволили в русско-японскую нашего брата усмирять, может, помните?

И деловито добавил:

— Придется пойти вам со мной, гражданин Ренненкампф, ясно?





Инженер Свиридов

В 1919 году в Таганрог перебазировалась ставка верховного главнокомандующего Юго-Востока России генерала Деникина.

Вслед за ставкой съехались миссии около полутора десятков держав, пытавшихся задушить молодую Советскую республику.

Штаты иных миссий были малочисленными. Бельгийскую и румынскую державы, например, представляли в единственном числе: Румынию — небольшого роста капитан с опереточной фамилией Популеску, Бельгию — рослый, упитанный майор Ван-Рорер. Начальник квартирьерского отдела штаба Деникина полковник князь Щербатов отвел обоим для проживания особняк местного врача, предварительно выселив его в 24 часа и строго запретив вывозить обстановку.

Чинам многочисленной английской миссии был оказан особый почет. Не говоря уже о старших офицерах, но и самому младшему из них, капитану Кляйвелю князь

Щербатов, суетясь и помииутио вытягиваясь, как юикер, предлагал на выбор лучшие особияки иа самой аристократической улице города — Греческой, с фруктовыми садами и розариями.

Капитаи Кляйвель сухо отказался от всех предложений и избрал своей резидеицией иебольшой приземистый домик иа Николаевской улице, прииадлежавший его теткам, старым девам мисс Элизабет и мисс Кэтрии Кародерс.

В этом малеиьком домике с душиыми комиатами, заставлеииыми кадками с мелаихолическими пальмами, с развешаииыми по стеиам портретами стариков в морской воеииой форме и старух с хаижески поджатыми губами, когда-то провел свое детство Эдуард Кляйвель. Отец его, вечно пьяиый разорившийся чайиый торговец, выхлопотал в девяиостых годах прошлого века иазиачеиие в Тагаирог на пост аиглийского вице-коисула и вывез с собой всю семью: тихую, болезиеииую жеиу, ее двух незамужиих сестер и малеиького сыиа. Жеиа вскоре умерла, и Эдуард рос под иаблюдеиием теток, ие устававших бранить его отца за иепробудиое пьяиство и за иевозможность подыскать себе в этом миогоязычиом городе порядочиых жеиихов.

Научившись русскому языку от дворовых мальчишек, Эдуард брал затем уроки у домашией учительиицы, десяти лет выдержал экзамеи в первый класс гимиазии и в положеииое время гимиазический курс закоичил. Когда умер вице-коисул, не оставив состояиия, тетки отправили племянника в Англию к дальией родие...

В разгар первой мировой войиы Эдуард смеиил пиджак скромного клерка на солдатский муидир. В общем, он сделал превосходиую воеииую карьеру: заключеиие перемирия застало его с иашивками капитаиа и с большим окладом жаловаиья, присвоеиным ему как офицеру армейского разведывательиого бюро. Отличиое зиаиие русского языка и русских обычаев заставило высшее комаидоваиие обратить иа капитаиа Кляйвеля особое виимаиие. Справки о служебиом рвеиии молодого разведработиика и о его благоиамереииом образе мыслей окоичательио решили дело, и Кляйвель был откомандироваи в хорошо ему знакомый Тагаирог.

Подтяиутый, с холодиыми серыми глазами иа худощавом, чисто выбритом лице, с пухлыми губами херувима,

Кляйвель еще более подтянулся, узнав о назначении. «Они не ошиблись,— самодовольно подумал он.— Кто из англичан лучше меня знает душу русского человека? Русские интеллигенты против большевиков. А так называемый русский народ любит сильную власть, и мы его тоже заставим идти за нами».

С этими приятными мыслями он ступил на борт английского военного корабля, отплывавшего в Россию...

* * *

Путь из Таганрога на Русско-Балтийский завод лежал недалеко от моря. У развилки надо было повернуть направо, по немощеной, вновь проложенной улице, мимо жилых домиков, крытых соломой. А если повернуть налево — дорога вскоре приведет к обрывистому берегу Таганрогского залива, к почти повисшей над кручей беседке, где когда-то бывал царь Александр Первый.

Главный инженер снарядного цеха Русско-Балтийского завода Иван Павлович Свиридов в это раннее летнее утро ехал на службу в казенной тряской пролетке. Уже прошло три года со времени его переезда вместе с заводом с севера в Таганрог и два года со дня гибели его единственного сына прапорщика Николая Свиридова. Два года — слишком малый срок. И все-таки вполне достаточный для того, чтобы постареть на десять лет. К постоянной, никогда, даже во сне, не покидающей его скорбной мысли о сыне примешивалась ненависть к человеку, которого Иван Павлович считал виновником своего несчастья.

«Глупый, ничтожный адвокатишка,— думал он о Керенском, не замечая, что в воздухе становится жарко, и забыв снять пальто, столь обычное на севере и неуместное здесь, в приазовской степи.— Премьеру понадобилось для поднятия своего престижа наступление! И он погнал людей на гибель, на смерть! Фанфарон!»

Последние слова Свиридов невольно сказал вслух. Возница, молодой парень с опухшей и перевязанной грязной тряпкой щекой, опасливо оглянулся, но промолчал. Числясь на заводе рабочим, он пользовался «отсрочкой» от призыва в армию и слишком дорожил этой привилегией, чтобы о чем бы то ни было спрашивать се-

дока — начальника цеха. Исход беседы с барином всегда был сомнителен!

Уже въезжая в заводские ворота и кивнув вытянувшемуся привратнику, Иван Павлович поморщился: он вспомнил, что и сегодня опять не избежать скучных разговоров о чрезмерном браке снарядных стаканов. Что-то уж слишком часто об этом говорят. Вчера вот приезжал из Ростова главный артиллерийский приемщик генерал Фуфаевский и плакался: «Фронт задыхается без снарядов!» А сам генерал (это Свиридову было хорошо известно) получил от дирекции завода золотой портсигар и ящик шампанского за то, что тот уменьшил в акте приемки цифру брака вдвое!

Свиридов, брезгливо морщась то ли от этого воспоминания, то ли при виде захламленного, немощеного заводского двора, тяжело спрыгнул с подножки пролетки и, увязая в подсыхающей грязи, ступил в цеховую контору. Здесь было душно и неуютно. Пожилая конторщица с усталым лицом стучала на счетах. Не снимая пальто и кивнув конторщице, Свиридов опустился на стул у приземистого пузатого стола. Тотчас в дверях конторы появился мастер, усатый красавец в плисовом пиджаке, и сказал звучным голосом:

— К вам, Иван Павлович.

— Какой процент брака сегодня в ночной смене? — холодно спросил Свиридов.

Мастер почтительно ответил:

— На одной обдирке теряем двадцать процентов, Иван Павлович.

— А всего?

— До сорока.— Мастер сочувственно вздохнул и развел руками: — Резцов новых нет — это первое. А второе...— Он повел глазами на конторщицу, и та немедленно поднялась и молча вышла из конторки.— А второе...

Мастер подошел ближе к Свиридову и, обдав его легким винным перегаром, тихо сказал, почти шепнул:

— Большевики у нас в цехе орудуют, Иван Павлович. Я сам вчера во время работы слышал...

Свиридов рывком встал, положил ладонь на стол и, не повышая голоса, сказал:

— Я вам не жандармский ротмистр, чтобы разбирать доносы. Можете идти.

Мастер с удивлением посмотрел на инженера. Видно, тот не понял.

— Большевистская агитация... Я их всех поименно знаю! — доверительно заметил он.

— Уходите!

Мастер, пожимая плечами и виновато улыбаясь, вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Не иначе, начальник с левой ноги нынче встал! Придется зайти в другой раз...

А Свиридов стал просматривать журнал ночной смены.

* * *

На второй день приезда в Таганрог, превосходно выспавшись в кровати своего покойного отца, капитан Кляйвель позавтракал в обществе обеих старушек, молитвенно взиравших на этапы насыщения полубога. Потом Кляйвель поехал в гостиницу «Европейскую», где расположились секретные учреждения штаба Деникина.

Повез капитана в щегольской рессорной коляске пожилой, бородатый, с серебряной серьгой в ухе казак Нефедов. И коляска, и Нефедов, и выездной вороной жеребец Грозный были «прикомандированы» князем Щербатовым к особе капитана в полное его распоряжение.

Грозный сразу выказал свою орловскую повадку, высоко и несколько в сторону, с тяжеловесным изяществом поднимая на крупной рыси передние ноги и почти не колыхая широким, как печь, крупом. Нефедов, не оборачиваясь, крикнул с искренним восхищением знатока и любителя:

— Идет-то как, ваше благородие!

Капитан поморщился: «Неискоренимая привычка русских нижних чинов к пустому разговору!»

Прохожие угрюмо посматривали на мчавшуюся коляску с английским офицером. Они уже многое видели за эти месяцы нашествия иностранцев...

Проезжая мимо католического костела с огромной латинской надписью на фронтоне: «Ex tuis bonis tibi offerimus» («Из твоих же даров тебе приносим в дар»), капитан с неудовольствием отметил, что несколько вышедших из костела итальянских «тененте» — лейтенантов — не откозырнули ему.

«Союзнички!..— с раздражением подумал он.— Какое счастье, что в дело ликвидации большевизма вмешались мы!»

Коляска уже подъезжала к длинному двухэтажному зданию гостиницы «Европейской».

«Сейчас узнаю создавшуюся ситуацию»,— подумал Кляйвель.

Впрочем, ситуация в основном казалась ему ясной: в «этой полуазиатской стране» вспыхнул бунт; к счастью, могучая Британия имеет кое-какой опыт в усмирении бунтов. Британский интеллект... ну, и британские вооруженные силы, и британское снаряжение, дружеская поддержка французских и американских партнеров сделают свое дело. С этой стороны, насколько знал капитан Кляйвель, дело обстояло неплохо... но с его приездом должно пойти лучше. Да, на него возложены обязанности, которые, как он слыхал, не блестяще выполнялись его предшественником.

Обязанности эти заключаются в некоторой... гм-гм... да, именно «в некоторой дружеской консультации с разведывательными органами правительства Деникина в желательном для обеих сторон направлении». Так сказано в служебной инструкции капитана Кляйвеля. Отлично! Эдуард Кляйвель не мальчик, и ему не требуется толковый словарь. Желательное направление — вполне понятно, сэр. Будет исполнено!..

Сидя в кабинете начальника контрразведки полковника Шавердова (собственно, это был не кабинет, а литерный номер в гостинице: желтые драпри на дверях, вытертый кавказский ковер на полу, мебель, обитая зеленым плюшем), капитан отрывисто говорил, одновременно внимательно приглядываясь к своему собеседнику («Для начальника розыскного учреждения, пожалуй, чересчур молод... Но нижняя челюсть развита достаточно. Почему под глазами мешки? Конечно, пьет без всякой системы...»):

— Вы недостаточно эффективно вылавливаете большевистских смутьянов. Я здесь всего два дня, но знаю, например, что они на Русско-Балтийском заводе хозяйничают, как у себя дома.

— Принимаются меры,— поспешно вставил полковник.

Кляйвель только усмехнулся:

— Меры? Меры хороши, когда они приводят к желательным результатам. Вашей армии необходимы снаряды, весьма необходимы. Вам это известно?

— Так точно,— сказал полковник,— но...

— Вот именно «но»,— строго остановил его Кляйвель.— «Но» заключается в том, что рабочие, разложенные большевистской агитацией, выпускают совершенно негодные снаряды. Это крайне серьезно. Мы отлично осведомлены о том, что большевики добились полного срыва выпуска снарядов на здешних заводах. Это была одна из весьма существенных причин вашего недавнего поражения на всех фронтах. Если бы не наша помощь...

— Она была спасительной.— Полковник звякнул шпорами и поклонился.

Но Кляйвель остался холоден.

— Как это ни парадоксально,— сказал он жестоко,— а все же истинным хозяином положения в Таганроге являлись и являются большевики.

Полковник чуть покраснел и ответил, с трудом подавляя раздражение:

— Никак нет. На днях мы кое-кого изъяли...

— Ах, дорогой полковник...— Кляйвель насмешливо посмотрел на Шавердова.— Кстати, я чуть не забыл вас спросить. Как это здешним большевикам удалось освободить группу арестованных вами забастовщиков? Если не ошибаюсь, вы и тогда возглавляли здесь контрразведку?

— Если бы у большевиков была одна голова,— вырвалось у полковника,— я сумел бы ее отрубить. Но это — многоголовая гидра!

Кляйвель смягчился. Ему понравилась искренность полковника.

— Я надеюсь, что вам и нам удастся отрубить все головы, начиненные большевистскими идеями,— любезно сказал он.— Но мне кажется, что для этого нужно некоторое расширение методов работы. Не пробовали ли вы выяснить, на каких позициях стоит техническая интеллигенция Русско-Балтийского завода?

«Боже, какой пижон!» — подумал Шавердов.

— Полагаю,— почтительно сказал он,— что техническая интеллигенция завода твердо стоит на позициях Добрармии. Русские инженеры не могут не считать большевиков изменниками родины!

«Глуп... и вдобавок фразер»,— поморщился капитан.

— Я тоже так думаю,— пронзнес он холодно,— но в таком случае почему же не попробовать привлечь к работе ну хотя бы верхушку инженерства того же Русско-Балтийского завода, который решает вопросы боепитания русской армии? Войну выигрывает тот, кто умеет находить союзников.

Полковник с досадой что-то сказал о нелепых предрассудках, которые мешают нашим инженерам активно помогать контрразведке, но Кляйвель, уже не слушая, поднялся.

— Очень был рад познакомиться,— сухо сказал он на прощание.

* * *

Через три часа после того, как Свиридов выгнал мастера, вопрос о снарядном браке всплыл снова.

Во время обеденного перерыва инженер встретил во дворе молодого слесаря Добриевского, о котором знал, что он пользуется уважением рабочих. «Наверно, большевик,— подумал Свиридов,— и, может быть, даже один из зачинщиков».

Добриевский вежливо поздоровался с инженером. Тот остановился и сказал:

— Подождите...— И замолчал, о чем-то задумавшись.

Добриевский внимательно и спокойно смотрел на Свиридова. Он знал, что старый инженер хорошо относится к рабочим.

— Вот что, Добриевский,— решился наконец Свиридов, оглядевшись.— Не многовато ли — сорок?

Добриевский искоса взглянул на инженера и пожал плечами.

— Вы отлично понимаете меня,— совсем понижая голос, продолжал Свиридов.— Сорок процентов брака — это слишком бросается в глаза.

— Мы тут ни при чем,— с лукавинкой вздохнул Добриевский и развел руками.— Будем, конечно, стараться...

— Гм, будем...— проворчал Свиридов, чуть усмехаясь уголком рта.— Ну что ж, старайтесь.

Он холодно кивнул и пошел своей дорогой, а Добриевский задумчиво посмотрел ему вслед и быстро зашагал к цеху.

* * *

Лучшее общество бывает у Сарматовой. Она — бывшая знаменитая кафешантанная певица и танцовщица. Сейчас ей за пятьдесят. Больше она не поет и не танцует. Теперь содержит в Таганроге фешенебельный летний сад с эстрадой. По вечерам бывают у Сарматовой офицеры, адвокаты, петербургские и московские тузы, заброшенные в Таганрог революционной бурей. Появляются и иностранцы. По аллеям, усыпанным гравием, прогуливаются люди, обладающие весом и положением. В буфете к их услугам — французский коньяк, английское виски. Пить английское виски считается теперь шикарным. А на открытой эстраде ежевечерне выбивают чечетку настоящая мулатка и почти настоящий мулат: смуглый грек или турок из одесского «Тиволи». Мулатка танцует совсем голая, на ней только что-то вроде фигового листика из перьев диковинной птицы. Тело ее блестит от пота. Мулат — во фраке, в раскисшем от жары крахмальном воротничке.

Капитан Кляйвель по телефону назначил свидание своему гимназическому товарищу, присяжному поверенному Воронову, именно у Сарматовой. Ах, гимназические годы, первая любовь...

Воронов был радостно взволнован дружеским разговором с Эдди Кляйвелем. Для этого у Воронова имелись свои основания. Он был эсером, а отдельные господа офицеры еще до сих пор не взяли в толк, что эсеры — такие же патриоты «единой неделимой», как, скажем, сам генерал Марков. «Жалкие провинциалы,— с раздражением и досадой думал Воронов,— они меня не понимают». Да, да, дружба с высокопоставленным англичанином может в кругах Добровольческой армии высоко поднять авторитет социалиста-революционера Воронова.

Но подумать только, какое удивительное совпадение, что именно Кляйвель оказался в составе английской миссии! Воронов припомнил: Эдди Кляйвель был отличным малым, водку пил, не отставая от других.

Испытывая радостный душевный подъем, Воронов надел белый шевиотовый костюм, превосходно сшитый в Ростове лучшим портным, и пошел в сад Сарматовой.

На улице только начинало темнеть. Прохожих было немного. Воронов сразу заметил впереди себя группу

оперного вида итальянских офицеров в высоких парадных киверах с огромными плюмажами. Офицеров было пять или шесть, они окружили у ворот белого домика с зелеными жалюзи на окнах молоденькую девушку и с хохотом не выпускали ее из круга. Испуганная девушка, прижимая обе руки к груди, просила оставить ее в покое. Воронов увидел, что один из итальянцев обнял девушку за талию, и услыхал жалобный крик о помощи. Не желая наживать неприятности, Воронов перешел на другую сторону улицы. Он все же успел увидеть неожиданный финал сцены: распахнулись зеленые створчатые жалюзи домика, и в окно высунулась полная дама с горящими черными глазами и орлиным носом над усатой губой. Дама принялась выкрикивать в лицо ошеломленным офицерам с поразительной быстротой ругательства и проклятия на итальянском языке. Офицеры смиренно отступили, вежливо откозырнув напоследок своей сердитой соотечественнице. Девушка давно уже вбежала во двор.

«Нарвались! — смешливо подумал Воронов, пристукивая на ходу тросточкой.— Не повезло беднягам!»

Когда Воронов вошел в сад, здесь уже зажглись разноцветные электрические лампочки на протянутой меж деревьев проволоке. За столиками у эстрады садились офицеры, гремя палашами.

Воронов тотчас же заметил скромную худощавую фигуру своего гимназического товарища, одиноко сидевшего за столиком. Чтобы подойти к Кляйвелю, Воронов должен был пройти мимо компании марковских офицеров в черных мундирах, с тканной серебром эмблемой на рукавах: череп и кости. Он уже миновал их стол, когда с замиранием сердца услыхал сзади себя хриплый бас:

— Па-азвольте, да ведь этот тип — из красных. Я сам слыхал, как он ораторствовал в семнадцатом, на митинге...

— А вы, подполковник, ходили на митинги? — насмешливо перебил его кто-то из компании, и в это мгновенне Воронов почувствовал, что чья-то сильная рука схватила его за шиворот, и замер на месте, боясь обернуться.

— Ну-с, милай-дорогой,— дурашливо произнес бас,— так как же насчет социализации земли, а?

— Я стою на платформе поддержки Добровольческой армии,— прошептал Воронов, чувствуя, что голос ему изменил.

— А я вот сейчас покажу тебе платформу... А я вот сейчас покажу... сейчас... платформу...

Приговаривая таким образом, марковский офицер одной рукой теперь держал Воронова за горло, а другой бил его ладонью по лицу. Никто вокруг не обратил особого внимания на это уже ставшее обычным зрелище: белый офицер бьет человека в штатском.

— Оставьте его, подполковник,— досадливо крикнул Кляйвель, не вставая, впрочем, с места.— Я ручаюсь за его благонадежность.

— А ты кто таков? — зарычал марковец, но его тотчас окружили приятели и, что-то шепча ему на ухо, быстро увели.

— Надеюсь, он тебя не очень больно?..— с вежливым участием спросил Кляйвель, усаживая бледного и дрожащего Воронова за свой столик.

— Это возмутительно,— с трудом двигая вспухшими губами, выговорил Воронов, опускаясь на стул рядом с Кляйвелем.— Они думают, что если я — бывший эсер...

— Почему же «бывший»? — спросил Кляйвель.

— Уверяю тебя...

— А я тебя уверяю,— твердо сказал Кляйвель,— что отнюдь не «бывшие», а самые подлинные эсеры, в том числе сам Савинков, доблестно борются против большевиков.

— Ты бы это не мне, а им сказал,— заулыбался воспрянувший духом Воронов. («Между прочим,— подумал он,— получилось не так уж плохо: мерзавцы видели, что Кляйвель за меня вступился!») — Ну, здравствуй, Эдди! До чего же ты похорошел, черт возьми! Знаешь, сколько лет мы не виделись? Десять.

Небо было черное, в тучах, а здесь, в саду, весело и уютно горели фонарики. На ярко освещенной эстраде какая-то пара танцевала танго. Друзья, заказав кофе и бутылочку бенедиктина, предавались лирике.

Воронов уже почти забыл о пережитой неприятности и, запивая горячий кофе обжигающим ликером, весело болтал:

— Ты знаешь, ведь я от тебя не скрывал и тогда: с

гимназических лет я вступил в партию эсеров. Где-то, левее иас, были грубые, озлобленные большевики; рядом — толковые ребята, меньшевики; справа — корректные кадеты; дальше — всякие Гучковы, Марковы-вторые... Полная ясность. Теперь все смешалось, все! Уже не слева, а над иами — большевики, а мы, все остальные, забыли распри и мечтаем об одном: сбросить большевиков в пропасть... Может быть, закажем в буфете что-нибудь посущественней? Здесь неплохо жарят шашлык на вертеле.

Кляйвель немного подумал и отказался:

— Мой рабочий деиь еще не закончен. Слушай, Толя, у меня есть к тебе небольшая просьба, ты не откажешь? Ну хорошо, хорошо, при чем поцелуи? Верю. Итак, скажу тебе по секрету: на Русско-Балтийском заводе снарядные стаканы делаются с браком — иесомненный результат большевистской агитации.

— Всюду, всюду они несут с собой тлен и разложение! Я еще в семнадцатом говорил...

— Погоди. Речь идет о другом. Необходимо выявить большевистских агитаторов. Не знаешь ли ты кого-нибудь из них?

— Но ты разве забыл? — смутился Воронов.— Мы большевиками преданы анафеме и...

— Ты меня не понял,— стал терпеливо объяснять Кляйвель.— У тебя не может быть, так сказать, официальных связей, это понятно. Но, черт возьми, люди остаются людьми, кое-кого ты знал раньше...

— Из старых почти никого не осталось, Эдди!

— Ты сам говоришь—почти. Задача иелегкая, ио если бы тебе встретиться — о, совершенно случайно, конечно! — где-нибудь на улице встретиться, остановиться, потолковать со старым знакомым...

— Ои ие подаст мне руки!

Кляйвель поморщился:

— Будь деловым человеком, Анатолий! Можешь уверить его в своем полном разочаровании в белом движении, пожалуйся, наконец, что тебя сегодня побили офицеры марковского полка... Знаешь, получилось довольно удачно, что этот мерзавец именно сегодня... гм... придрался к тебе, об этом завтра в городе заговорят.

— Пожалуй, действительно, здорово получилось,—

загорелся Воронов.— Ей-богу, ты прав. Ну что же, попробую.

— Отлнчно. Живу я у теток. Будут новости — дашь знать.— Кляйвель посмотрел на часы: — А сейчас — иди. Еслн бы ты знал, сколько у меня дел!

— Еще бы,— почтнтельно сказал Вороиов.— Еще бы!

Он замялся н вдруг, наклонясь к уху Кляйвеля, спросил дрогнувшнм голосом:

— Слушай, Эддн, а что, если все же победят большевнкн? Что тогда делать?

Кляйвель снисходительно улыбнулся, как взрослый улыбается неосновательным страхам ребенка:

— Меня приннмал перед отъездом мистер Черчилль. Ты слышал о мистере Черчилле? Очень влиятельный государственный деятель, хотя относительно еще молод. Я понял из его слов и... некоторых интоиаций его голоса, что опасения твои необоснованны.

— Ну, слава богу! — молитвеиио прошептал Воронов.— Слава богу!..— И крепко пожал, прощаясь, руку Кляйвеля.

Проходя на обратном пути мимо столика, за которым кутили марковские офицеры, он высокомерно скривил губы. Его давеший обидчик, краснолицый подполковннк, отвериулся с ворчанием собаки, собравшейся вцепиться в чью-то глотку, ио услышавшей от хозяина властное «тубо!».

Воронов с поднятой головой миновал опасное место н почти столкнулся с высоким пожилым человеком в элегантном сером пальто и в мягкой шляпе с большнми полями.

«Иижинер Свиридов! С Русско-Балтийского завода! — сразу узиал он прямой стан, бородку клинышком, как на портрете Тимирязева, и твердо сжатые губы.— Вот уж не ожидал его здесь увидеть!»

Свиридов иаправлялся к столику Кляйвеля. Воронов еще с минуту смотрел ему вслед и увидел с чувством, похожим на ревность, как Кляйвель поспешно встал навстречу инженеру...

Кляйвель склоннлся в изящном полупоклоне:

— Я безгранично благодарен вам, Иван Павлович, за то, что вы откликиулнсь на мое прнглашение. Я иадеялся, что наше старое знакомство...

— Приглашенне? — насмешлнво переспросил Свири-

дов.— А я в простоте душевной думал, что это — повестка о явке. Немного меня смущало только одно: почему в сад Сарматовой, а не, скажем, в какую-нибудь комендатуру или... я уж не знаю, как это у вас называется?

Свиридов говорил очень тихо, с уверенностью, что никто его не перебьет. Закончив, он вопросительно посмотрел на Кляйвеля, который явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Что вы, Иван Павлович, что вы! — воскликнул Кляйвель, стараясь развязностью прикрыть смущение. Он ловко подставил стул Свиридову и сам уселся рядом.— Чаю? Вина? Мне говорили, что здесь сохранилось недурное «абрау».

— Вы очень возмужали с тех пор, как я вас видел в последний раз,— сказал Свиридов, не отвечая на любезное предложение. Старый инженер внимательно глядел в лицо офицера и говорил без улыбки, в голосе его совсем не было теплоты.

— И вы, Иван Павлович, очень изменились,— лицемерно вздохнул Кляйвель.— Правда, прошло десять лет, памятных для всех нас... и для вас в особенности. Я никогда не забуду дружбы с вашим сыном, павшим от руки нашего общего врага. («Может быть, удастся его деморализовать, если ударить по больному месту?»)

Свиридов при упоминании о сыне слегка побледнел. Потом быстро овладел собой.

— Сегодня ровно два года со дня гибели Николая,— тихо сказал он.— Как-никак, вы учились в одном классе. И вот — вы сделали такую блестящую карьеру... Мне вина, пожалуйста,— заказал Свиридов подобострастно склонившемуся к нему официанту.

«Дикарь! — подумал Кляйвель со злобой.— Я ведь предлагал ему поужинать. Подчеркивает свою независимость!»

— Вина и чего-нибудь закусить,— отрывисто приказал в свою очередь Кляйвель.

Официант исчез с такой быстротой, что фалды его фрака не поспевали за ним. По всему было видно: он получил особые инструкции от хозяйки.

Кляйвель решил брать быка за рога.

— Известно ли вам, Иван Павлович,— начал он холодным тоном,— что «не все благополучно в королевстве Датском»?

— Это где же? — равнодушно переспросил Свиридов.— Простите, плохо понимаю поэтические метафоры.

— Это — не метафора,— воскликнул Кляйвель,— это — преступление! Ваш цех, коего вы изволите быть главным инженером, недодает белой армии десятки тысяч снарядов!

Официант, щеголяя ловкостью, подлетел с полным подносом, покоящимся на ладони правой руки.

— Виноват-с...

— Шашлыка не угодно ли? — спросил Кляйвель Свиридова.— Нет? Очень жалею, шашлык с виду хорош.

— Карачаевский барашек-с,— осмелился заметить официант, разливая вино в бокалы.

Кляйвель холодно посмотрел на него. Официант, профессиональным жестом сунув салфетку под мышку, тотчас исчез, точно его и не было.

— Чье же это, по-вашему, преступление? — первым вернулся к разговору о снарядах Свиридов.

— О, конечно же не ваше и не других инженеров,— пожал плечами Кляйвель.— И вас, и их, и вообще всю русскую интеллигенцию это большевистское море захлестнет в первую голову... если дать ему разлиться. Дело обстоит гораздо серьезнее, чем вы думаете,— доверительно продолжал Кляйвель, понизив голос.— Я не хочу вас расстраивать, но скажу вам по секрету, что здесь, в городе, имеется опасный заговорщический центр, который именует себя подпольным большевистским комитетом. Это именно он поднял известное вам восстание в Таганрогском округе, и вы знаете, какое восстание! Генералу Деникину пришлось снять несколько полков с фронта, чтобы кое-как локализовать повстанческое движение. Измена таится всюду, рядом с вами, рядом с каждым честным русским человеком!

— Измена? — переспросил Свиридов, медленно потягивая из бокала красное вино.

— Да! Лучшие сыновья Дона борются под знаменами генерала Деникина с наемниками большевистских комиссаров, а в это время рабочие вашего цеха, разложенные агитацией подпольного комитета, саботируют производство снарядов. Или вы скажете, это не саботаж?

Кляйвель впился в него глазами.

— Не знаю,— спокойно ответил Свиридов,— не знаю.

— Послушайте,— поднял белесые брови Кляйвель,— вы ведь прежде всего — русский патриот, не так ли?

— Да, я прежде всего — русский патриот,— подтвердил Свиридов, ставя свой бокал на стол,— но именно поэтому...

— Что? — быстро спросил Кляйвель.

— Именно поэтому я не испытываю особенного восторга от нападения иностранцев на Россию.

Кляйвель впился в него глазами:

— Вы — большевик?

— О нет! — усмехнулся Свиридов.— Я не люблю и не понимаю политики. Я не большевик, а просто — русский человек.— Он большими глотками отпил вина и продолжал, почти не тая насмешки: — Вас ввели в заблуждение. Никакого саботажа на заводе нет. Все дело лишь в нехватке сырья и материалов. Мы все, конечно, очень сожалеем, но что тут поделаешь!.. Я могу идти? — Он встал и окликнул официанта:— Получите, пожалуйста, я тороплюсь.

Оставшись один, Кляйвель в первый раз за последнее время понял, что его миссия будет, пожалуй, не так проста, как это думали в ставке: «Проклятые варвары! Они полны глупейших патриотических предрассудков и совсем не торопятся пожать протянутую им с Запада руку!»

* * *

Свиридов, выйдя из сада, перестал следить за своей походкой и выправкой. Там, у Сарматовой, ему не хотелось выглядеть в глазах англичанина, когда-то учившегося с его сыном, старым и жалким. Сейчас, шагая по темным и поэтому казавшимся мрачными улицам Таганрога, он сгорбился и устало переступал по выбоинам тротуаров.

Иван Павлович мысленно готовил себя к встрече с женой. Дома он бодрился. Иногда это ему удавалось.

Дойдя до одноэтажного особняка на Николаевской улице, Иван Павлович заставил себя подобраться. В квартиру он вошел этаким гоголем:

— А я, Анечка, представь, был у Сарматовой. Знаешь ли, ничего! Шашлык там жарят совсем по довоенному рецепту...

«Боже мой, как она постарела!» — с горечью подумал он, глядя на худенькую женщину в черном, встретившую его в передней. Женщина подняла на него заплаканные глаза и молча обняла его. Нет, ее не проведешь! Она его видит насквозь...

— Иди, чай на столе,— тихо сказала Анна Михайловна.— А тут к тебе с завода звонили. Просили сейчас же дать знать, как придешь.

— А кто звонил? — с неудовольствием спросил Иван Павлович, входя в столовую.

— Андрей Николаевич. Ну, садись же, я налью.

Но Свиридов насторожился:

— Что это я ему среди ночи понадобился?

Он подошел к телефону.

Анна Михайловна, присев к столу, с удивлением слушала странный разговор мужа с директором огромного завода.

— Процент брака сегодня почти не больше вчерашнего,— громко и почему-то возбужденно говорил в трубку Свиридов.— Из-за чего, собственно, волнение?

После паузы, которая, очевидно, была заполнена репликой директора, Свиридов сказал:

— Да, считаю нормальным. Не вижу злого умысла, Андрей Николаевич, нет, не вижу!

Он положил трубку, как показалось Анне Михайловне, не дослушав возражения директора.

— Чаю, чаю! Анечка, умираю — дай чаю! И с печеньем! И с вареньем!

Анна Михайловна молча налила стакан чаю, явно не доверяя неожиданной попытке мужа сыграть весельчака-чревоугодника.

Иван Павлович сел рядом с женой за стол и стал прихлебывать горячий чай.

— Всё саботаж рабочих видят,— сказал он, почему-то прищурив с хитринкой левый глаз.— Помешались они на саботаже.

— А разве не саботаж? — спросила Анна Михайловна.

— Конечно, да! — неожиданно подтвердил Свиридов.

— И ты их покрываешь?! Они ведь большевики! — Она вымолвила это слово со страхом.— Большевики!

— Ну и пусть,— упрямо сказал Свиридов.

Анна Михайловна испугалась:

— Ванечка, ты стал сочувствовать большевикам?! Возможно ли это?

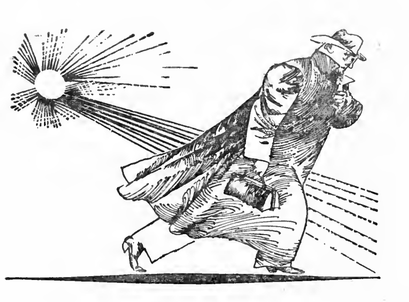
— Нашествие двунадесяти языков! — вдруг как будто совсем некстати воскликнул Иван Павлович.— Наш сын пал в бою с немцами, а тут навалились на нас и англичане, и французы, и еще несколько иностранных армий! Все напали на Россию!

— Подожди,— растерянно сказала Анна Михайловна,— не на Россию они напали, а на большевиков! Разве это одно и то же?

Свиридов немного помолчал, потом обнял за плечи Анну Михайловну и тихо сказал:

— Да, это одно и то же, дорогая.





Октябрь в январе

Таганрог дичал. По заснеженным улицам бродили пьяные от водки и ненависти офицеры; редкие прохожие, завидев их, пугливо сворачивали в ближайшие дворы.

В конце января 1918 года из пригородов Таганрога — Новостроенки, Камбициевки, Касперовки — двинулись вооруженные рабочие устанавливать в городе рабоче-крестьянскую власть. Юнкера местного юнкерского училища предательски стреляли из-за угла, отступая повсюду в открытых стычках. Впрочем, в здании гостиницы «Европейской» они еще держались.

Примерно в двенадцать часов хмурого январского дня 1918 года пулеметная стрельба утихла. Глухие одиночные винтовочные выстрелы еще раздавались не разберешь откуда: то ли со стороны винного склада, где засела большая группа юнкеров, то ли со стороны почты.

В начале первого человек средних лет, одетый в добротную, но несколько мешковато сидевшую на нем

хорьковую шубу, нажал кнопку звонка в подъезде одноэтажного домика. На карточке, прибитой к дверям, значилась фамилия врача, родившегося, выросшего и состарившегося в Таганроге.

— Звонят, откройте! — крикнул доктор из своего кабинета. Не дожидаясь, он вскочил и быстро, юношеской походкой пошел открывать дверь.

Доктору было уже за шестьдесят. О его возрасте можно было догадаться по резким морщинам на высоком, хорошей формы лбу, по легкой седине, уже покрывшей его густые, мягко вьющиеся волосы. Вместе с тем природа сыграла с ним шутку, оставив ему на седьмом десятке звучный голос, порывистость, быструю, легкую походку и страстный интерес к жизни.

Таганрожцы любили своего старого врача, чувствуя его искренность и доброжелательство, и охотно шли к нему не только за врачебным советом. О многих своих горестях поведали они доктору за истекшие сорок лет!

Однако кому это пришло в голову притащиться сейчас за советом, хотя бы и врачебным? Кто этот странный пациент? Какая неугомонная болезнь погнала его к врачу под пулеметным огнем?

— Ну, входите,— ворчливо сказал доктор пациенту.

— Идите, сам справлюсь,— сказал он домочадцам, выбежавшим на неурочный звонок.

Пациент окинул внимательным взглядом пустынную улицу и поспешно захлопнул за собой дверь.

— Здравствуйте, доктор,— сказал он,— извините, что потревожил вас.

Доктор, не отвечая, внимательно вгляделся в лицо посетителя и, вдруг обняв его за плечи, помог ему опуститься на стул. Это было как раз вовремя. Посетитель, видимо, делал над собой усилие, чтобы не потерять сознание.

— Сердце? — отрывисто спросил доктор.

— Да... пуля,— слабым голосом ответил пациент и еле заметным движением руки показал на грудь.

Теперь доктор разглядел крохотную дырочку в ворсистом сукне шубы, как раз против сердца.

Через пять минут пациент, голый по пояс, лежал на кушетке в кабинете, доктор промывал ему ранку у левого соска и говорил:

— Здорово вам повезло, милый человек. Пуля прошла под кожей и вышла, не причинив вреда. Как иглой прошила!.. А какого черта вас, собственно, понесло на улицу?

Пациент вздохнул и сказал:

— К вам, доктор, торопился.

— Ко мне? — Доктор уже заканчивал перевязку.— Довольно оригинально: в поисках врачебной помощи получить пулю в сердце!

— Этого я не предвидел,— весело засмеялся уже совсем оправившийся пациент, подимаясь с кушетки.

Он быстро оделся и, взявшись за шубу, стал разглядывать дырочку, проделанную пулей.

— Как вы думаете, доктор, удастся заштопать? — спросил он озабоченно.

— Не знаю,— рассердился доктор,— я не портной. Вам, кажется, больше жалко шубу, чем собственную шкуру?

Посетитель несколько смутился.

— Видите ли,— сказал он очень серьезно,— шкура — моя, а шуба-то — чужая, напрокат взятая.

— Напрокат? — заинтересовался доктор.

— У домохозяина. Неудобно, знаете ли, сегодня в центре города в своем, рабочем... Юнкерье задержало бы.

— А вы рабочий? — спросил доктор.

Пациент, не отвечая, пристально смотрел ему в глаза.

— Что такое? — рассердился доктор.

Посетитель огляделся, точно боясь, что их подслушают, и сказал, снизив голос:

— Доктор, у нас много раненых... и некому им помочь.

— Я — не хирург, я — терапевт,— ворчливо заметил доктор.— И потом — у кого это «у нас»? У большевиков? Так имейте в виду: я с вами не согласен, не согласен! Гражданская война, которую вы затеяли, сударь вы мой, это такая штука... Постойте, куда вы?!

Посетитель молча и с ожесточением натягивал на себя простреленную шубу.

— Всю жизнь свою лечили богатеньких, я и позабыл,— сурово сказал он, нахлобучив на лоб шапку.— Прощайте.

— Да, да, не согласен! — закричал доктор, торопливо

кидая инструменты в большой кожаный несессер с блестящим никелевым замочком.— Погодите, чуть йод из-за вас не забыл!

— А бинты? — спросил посетитель.— И потом, имейте в виду, если юнкера застигнут вас в нашем расположении...

— Бинты я положил,— нетерпеливо прервал его доктор, надевая пальто,— но меня интересует другое...

— Вата? — деловито спросил посетитель.

— К черту вату! Не выбросите ли вы за борт интеллигенцию?

Увидев улыбку на лице посетителя, доктор сердито отвернулся и крикнул:

— Маша, я ухожу к больному... дня на два. Можете обо мне не беспокоиться!





Старый адвокат

Старший лейтенант, доктор Пааль, состоящий для поручений у коменданта Таганрога капитана Альберти, считал, что при разговоре с русским офицер германского рейха должен вставлять в глаз монокль. Монокль подчеркивал, по мнению господина доктора, превосходство нордической расы.

— Раньше чем обсуждать основательность вашего ходатайства,— надменно процедил сквозь зубы господин доктор, стараясь усесться величественней, что ему, при малом росте и плюгавой наружности, мало удавалось — отвечайте: выполнили ли вы приказ номер шесть господина бургомистра о регистрации лиц свободных профессий и получили ли лицензию на занятие адвокатурой?

Собственно, Паалю было в высшей степени наплевать и на регистрацию, и на лицензию, но он привык выполнять инструкции и приказы, чем выгодно отличался от своего шефа — коменданта итальянца Альберти, пьяного дебошира и к тому же морфиниста.

Русский спокойно сидел перед ним. Густая шапка вьющихся седых волос на голове, глубокие морщины иа лбу, горестная складка у резко очерченных губ должны были бы вызвать у его собеседика чувство уважеиия. Пааль же глядел на посетителя в потертом пиджаке с чувством подозрения и крайнего иедоброжелательства, то есть именио с теми чувствами, которые вызывало в нем всякое общение с представителями «местиого населения». Пааль был убеждеи, что всякий русский — его враг и злоумышляет лично против иего, в том числе даже и чины русской полиции. Если бы его спросил фюрер, он, Пааль, сказал бы, что давать русским оружие, хотя бы оии двадцать раз приняли присягу германского полицейского охраииой полиции, нельзя. Обойдемся и без иих,— сказал бы ои фюреру. Но фюрер его не спрашивал и вообще не подозревал о его существовании.

— Лицензию, пожалуйста! — повелительно повторил Пааль.

Посетитель с каким-то рассеянным видом полез в боковой кармаи пиджака и протянул адъютанту комеиданта бумажку с орлом и свастикой. Старший лейтенант пробежал бумажку и, возвращая ее, задумчиво сказал:

— Ваша фамилия Исаков? Лев Николаевич? Странио...

— Простите, что имеино здесь страиио? — спокойно спросил адвокат.

— Имя и это... фатериейм — русские, а фамилия...

Пааль дернулся и визгливым голосом произнес вопросительио и вместе с тем горестно:

— Исаков — в фамилии что-то еврейское. Вы еврей?

— Русский,— равиодушио ответил Исаков и почти насмешливо добавил: — В Лениинграде — Исаакиевский собор. Название происходит от того же имеии.

— Быть может, ие собор, а сииагога?!

Не отвечая, адвокат, с трудом скрывая иетерпение, напомиил о цели своего визита:

— Вчера в школу, куда было приказано явиться лицам еврейской национальиости, пришла русская женщина, по профессии детский врач, Аниа Иваиовиа Шаповалова...

— Э? — кратко и недоброжелательно спросил, прерывая Исакова, старший лейтеиаит.— Приказано было

явиться... Приглашались только евреи для отправки в сельские местности, где им будет лучше житься...

Последнюю фразу Пааль произнес скороговоркой и явно неодобрительно. Видно было, что формулировка была придумана не им, а начальством. Он в нее не верил, но не склонен был к критике распоряжений и формулировок начальства.

— Видите ли,— сдержанно объяснил адвокат,— врач Шаповалова была обеспокоена участью одной еврейской семьи Красович, детей которой она лечила, и поэтому...

— И поэтому она проникла во двор той школы, куда... приглашались евреи? — закончил с нехорошей улыбкой Пааль.— Ну что же. Это значит, что и она уже поехала в сельскую местность, где ей, несомненно, тоже будет лучше... ну хотя бы в смысле продовольственном...

Исаков вернулся домой: две комнаты, перегородка и — по давней семейной дружеской традиции — незапирающаяся дверь в соседнюю квартиру.

Старик уже давно овдовел. Был у него сын — студент Киевского университета, но его расстреляли махновцы, которым он попался, когда возвращался из Киева в Таганрог. С «бандитами», как называли фашисты партизан, Исаков связан не был и в тот момент не помышлял о связи. Он не эвакуировался из Таганрога не потому, что слишком мал был для этого отпущенный войной отрезок времени, а просто ему не хотелось суетиться, укладывать вещи, искать транспорт. В семьдесят два года человек может сохранить ясный ум, способность трудиться и стремиться преодолеть встреченную несправедливость, но внезапные и особо трудные усилия ему уже не под силу.

Соседка, Марья Васильевна Омельченко, тоже не собиралась эвакуироваться. Старшая дочь ее, Елена, была замужем за местным греком, богачом Скарамангой, и Марья Васильевна рассчитывала, что, на худой конец, Леночка, оказавшаяся греческой подданной по мужу, сумеет охранить и оградить все семейство, а главное — трех дочерей-девушек: Софью, работавшую на телеграфе, Олю, еще школьницу, и Татьяну — красавицу, невесту офицера, который сейчас бог весть жив ли, нет ли. Впрочем, Татьяна нисколько об этом, по складу своего веселого и оптимистического характера, не беспокоилась. Она окончила десятилетку еще два года назад, в вуз не попала и теперь пыталась овладеть специальностью маши-

нистки, работая по нескольку часов на машинке Льва Николаевича. О несчастье с врачом Шаповаловой и с соседкой ее, Краснович, рассказала ему все та же Марья Васильевна.

— Ужасно! — сказал Лев Николаевич.— Ей бы не пойти, тут все построено на слепом, нерассуждающем выполнении приказа... Но почему пошла Шаповалова? К ней-то приказ не относился!

Марья Васильевна только вздохнула.

В разговор вступила Татьяна, которая сообщила в несвойственном ей мрачиом тоне несколько убийствеиных подробностей, объясиявших, зачем, собственно, рииулась в здание школы Шаповалова:

— Она дружит... дружила с Марусей Каждан,— сказала Татьяна, не поворачиваясь к матери и Льву Николаевичу. Опустив руки, она низко склонила голову иад машинкой, точно внимательио рассматривая ее устройство.— У Маруси ребеночек шести месяцев, ее муж эвакуировался...

Она легко выговорила это новое трудное слово, ворвавшееся в иашу жизнь нежданио-негаданно.

— Ребенок больиой... Маруся осталась... И Елизавета Абрамовна Краснович тоже осталась — куда ей ехать, старой и больной?

Татьяна вдруг принялась ожесточеиио бить по клавишам машинки с такой быстротой, которой не достигала еще ни одна самая замечательная машииистка. Видимо, сочетание букв в словах на этот раз ее не интересовало.

Лев Николаевич встал и закричал непривычиым для него злым голосом:

— А откуда вы, собственно, зиаете, что их всех расстреляли?!

Ответила Марья Васильевна, тоже с необычиой для нее строптивостью:

— А оттуда, Лев Николаевич (она говорила не Лев, а Лёв), что люди видели, как их везли в грузовиках к Петрушииой балке и там всех заставили рыть братскую могилу и всех постреляли. И Марусю Каждан с младенцем, и Аниу Ивановну Шаповалову. Люди видели!

— Кто, кто видел? — спросил Исаков.

— Сторожиха с огорода, Ивановиа... Оиа прибежала ни живая ни мертвая в город к дочке! Может, желаете спросить ее?

— Не попытаться ли вам, Марья Васильевна, уйти со своими дочерями? — вдруг спросил Исаков.— Ну хотя бы в Ростов, там немцев еще нет...

Он поймал себя на слове «еще» и сердито поправился:

— Нету там немцев!

Марья Васильевна удивилась:

— Да зачем же свой угол бросать? На худой конец, зять есть, как-никак, греческий подданный!

— Плевать им на греческого подданного! — неожиданно заявил Лев Николаевич.— Уходите! Четыре дочки, все красавицы, не ровен час...

Марья Васильевна всполошилась. Ее моложавое и, видимо, в свое время привлекательное лицо покраснело.

— Нет, батюшка! — сказала она решительно.— Бог не допустит...

— Плохо, когда приходится надеяться только на промысел божий,— сердито возразил Лев Николаевич, в душе удивляясь, почему Марья Васильевна, десятилетиями привыкшая безропотно выполнять все житейские и деловые советы адвоката, на этот раз заупрямилась.

— Пойдем, Танечка,— сказала, вставая, Марья Васильевна.— Надо нам огурцы переложить. Боюсь — запреют в кадушках.

Не прощаясь — у соседей не принято было прощаться,— виделись они на день много раз,— мать и дочь ушли. Оставшись один, Лев Николаевич стал у окна и рассеянно, погруженный в невеселые мысли, смотрел на улицу. Окно кабинета выходило на Чеховскую улицу, как раз на пожарную каланчу, и видны были аккуратные, недавно окрашенные широкие двери, за которыми притаились бешеные пожарные кони и один новенький, недавно купленный управой пожарный грузовик красного цвета. На каланче взад-вперед кружился дежурный.

«А может, самым правильным было бы именно поджечь город... по примеру Москвы? — подумал Лев Николаевич, но тотчас же отверг эту мысль.— Не весь город, а, скажем, их штаб, комендатуру и еще — это проклятое гестапо!»

По мокрой, пустынной улице шел парный патруль. На немцах обмундирование было хорошо подогнано. Каски на головах выглядели, как марсианские шлемы. Солдаты шли мерным, упругим шагом, точно в ногу. «Роботы про-

клятые!» — подумал Лев Николаевич, отшатываясь от окна.

В самые первые дни оккупации Лев Николаевич всерьез задумал заниматься привычным ему делом — адвокатурой. Однако с самых первых же шагов обращения в комендатуру для защиты жизни врача Шаповаловой он убедился в нелепости этой затеи. Каждый день давал ему новые доказательства полнейшего наплевательства немцев на так называемую законность. В судах при бургомистерстве, которые, как бы в насмешку, назывались «народными судами», слушались в основном споры об имуществе расстрелянных советских граждан. Обычно объявлял себя хозяином вещи какой-нибудь полицай, или его жена, или его папаша, утверждая, что расстрелянный остался ему должным сумму, составлявшую стоимость скарба. Часто ответчик не находился, или, вернее, в роли ответчика фигурировало все то же бургомистерство, благосклонно признавая претензию истца. Судья — один из работников бургомистерства, иногда из бывших советских юристов, как правило, из самых бездарных и нечистых на руку,— выносил решение об удовлетворении иска. Иногда же, если имущество было изрядным, находились и другие претенденты такого же типа и по тем же выдуманным основаниям. «Судья», по большей части за взятку, решал дело в ту или иную сторону. Лев Николаевич пошел было в такой «суд» послушать, как там вершатся дела, но как раз угодил на такую сцену: хорошо известный ему бывший советский адвокат, в свою очередь из бывших частных ходатаев, держал речь в суде, говоря, что он «спорит о еврейском имуществе». Его остановила судья — женщина с немецкой фамилией, давно уже жившая в Таганроге: «Истец, еврейского имущества нет, есть жидовское имущество. Вы, как юрист, обязаны знать термины. Продолжайте!»

Лев Николаевич ушел, так и не дослушав процесс. Он чувствовал себя отвратительно. «И я — адвокат с немецкой лицензией,— со злостью думал он, возвращаясь домой.— И это — мои коллеги!»

Он перестал интересоваться судебными делами и, как и все или как огромное большинство жителей Таганрога, тянул грустную лямку подневольного житья, существуя продажей носильных вещей. Много добывать еды ему не требовалось: в семьдесят два года аппетит невелик. Он

страдал не от голода, но, во-первых, от волнений за участь семьи Омельченко, о чем речь пойдет дальше, а во-вторых, из-за чтения им местной «русской» газеты «Новое слово», выходившей под редакцией Кирсанова — сына местного торговца, с пометкой «Издатель — бургомистр А. В. Ходаевский».

Конечно, Лев Николаевич должен был прекратить это мучительное чтение, но, подобно верующему магометанину, истязающему себя в дни поста, Лев Николаевич не мог заставить себя больше не читать этот подлый листок.

Сразу же ему бросилось в глаза, что газета заполнена материалами, проповедующими «новый порядок» вообще, то есть, видимо рассылаемыми каким-то центральным фашистским агентством во все оккупированные города. Особенно выводили Льва Николаевича из себя многословные статьи о «варварстве русских», не желающих оказывать почтение германским офицерам и солдатам при встрече на улицах, то есть не снимающих шапки и не уступающих дорогу, «хотя тактичность и культурность требуют от русских оказывать оккупационным войскам необходимое почтение». Эти статьи, рассчитанные на лакейские души, особенно бесили Льва Николаевича: он задумывался над психологией изменников, и не только тех, кто, видимо, сочинял или переводил на русский язык эти лакейские статейки.

Вот он встречает в газете несколько подвалов местного русского историка, который доказывает, что главными деятелями истории Таганрога были... немцы. Вот похвала заместителю бургомистра Акимченко за его высокополезную деятельность на благо оккупантов, вот благосклонно упоминается инспектор 2-го участка полиции П. Т. Зачесенко, вот благодарность «русскому директору» завода № 65 (ныне комбайнового) Шестопалу «за умелое руководство работами», вот объявление о наборе в охранную полицию, из чего Лев Николаевич понял, что помимо русской милиции существовала еще охранная полиция, составленная также из русских. В объявлении о наборе было указано, что «будут приниматься также и бывшие офицеры». Это упоминание особенно взорвало Льва Николаевича. «В полицию пойдут подонки, злые на советскую власть,— думал он.— Но советский офицер туда не пойдет. Может быть, они имеют в виду бывших офицеров старой русской армии?.. Но те — уже старики, тоже едва

ли и среди иих иайдется такой предатель! Но... может быть, есть там и засланные иашими партизанами? — мучительно думал Лев Николаевич.— Вот Коля Букатин, я его знал! Знамеиитый тагаирогский футболист, работал при иаших директором «Дииамо», ио почему-то остался при иемцах и ими отличеи: иазиачили... директором мясокомбината. Почему мясокомбииата? Почему иазиачеи на директорский пост он — заведомый большевик? Страиио! Надо предполагать какие-то ухищреиия со стороиы Букатина. Но... может быть, это ие ухищрения, а героизм?..»

Старику начииало казаться, что ои ровным счетом иичего не поимает и что вокруг творятся необыкиовеииые дела, о которых он только читал в старомодных ромаиах: тайиы, самопожертвоваиия, двойиая жизнь... А он? Бережет свою старость? Для кого? Была когда-то жеиа. Оиа ушла от него с итальяиским заезжим музыкаитом. Был сын и погиб. Остался ои один, как приговоренный к смерти в смертной камере. Никто не придет освободить его. А палач уже за стеной!

В комнату постучали. Вошла Марья Васильевна с тремя незамужними дочерями. Сразу Лев Николаевич понял, что у них неладио.

— Беда! — воскликиула с порога Марья Васильевна, запыхавшись, как будто пробежала километр.— И большая!

Объясиять принялась Софья — самая деловая из сестер. Работая на телеграфе, она, кажется, усвоила телеграфиый стиль.

— Объявлеиие в газете,— сказала оиа.— Смотрите!

Лев Николаевич посмотрел в газету, которую еще не выпустил из рук и держал иистиктивно так, точио ядовитую гадюку,— отведя руку в сторону. Да, в газете объявление, которого он ие заметил: «Распоряжеиие № 8 бургомистра от 18 ноября 1941 года. Приказывается всем жителям Таганрога зарегистрировать в бургомистерстве в трехдиевиый срок все свои ценности, как-то: золото, драгоцениые камии, платину, валюту. В противиом случае таковые будут коифискованы».

— Ну и что же? — сказал Лев Николаевич.— Они все равно будут конфисковаиы, и тем скорее, чем скорее их зарегистрируют! Для того и объявление.

— Вот видишь, мама! — сказала Татьяиа, но, увидев, что мать заплакала, обияла ее и стала утешать: — Поду-

маешь, ценности! Сережки, твои да мои, да эта цепочка. И золотая ли она еще?

— Душа у тебя, Танечка, золотая,— сквозь слезы сказала мать, целуя дочку.— Там и кольцо твое, что отец-покойник тебе подарил, и еще...

— Да неужели вы пошли регистрировать ваши колечки и цепочки? — ужаснулся Лев Николаевич.— Почему вы не посоветовались со мной?!

— Но ведь в газете ясно сказано,— оправдывалась старуха.— Зарегистрировать, а иначе отнимут. Как же я могла детскими вещами рисковать?

— Вы принесли и у вас все отобрали? — сердито спросил Лев Николаевич.

— Если бы только это!..— опять заплакала Марья Васильевна.

Тотчас объяснять ситуацию взялась Софья своим обычным стилем:

— Маму заставили заполнить анкету. Замужняя дочь, греческоподданная? Ага! Сегодня ночью Лену арестовали вместе с мужем. Требуют драгоценности, а Лена закопала в саду, не говорит где.

Мать заплакала сильней.

— Выходит, я виновата,— сказала она сквозь слезы.— Может быть, послать в Грецию телеграмму? — наивно спросила она, чуть оживившись от новой мысли.— Мол, вашего подданного с женой арестовали да вдобавок, как разбойники, требуют выкупа. А?

— Если окончательно хотите погубить Лену, посылайте,— сказал Лев Николаевич.

— Да такая телеграмма и не пойдет! — со знанием дела заметила Софья.— Я знаю...

— Телеграмма не телеграмма,— задумчиво, точно сам с собой, заговорил адвокат,— а вот пойти мне поговорить... Попытаться урезонить, так сказать. Нельзя же так...

— А куда вы пойдете? — спросила Софья.

— Ну, в гестапо, в комендатуру... Нет, в гестапо! — Лев Николаевич вспомнил своего недавнего собеседника, старшего лейтенанта, доктора Пааля, и решил: уж если идти, то не к нему.

— Взорвать их... гранатой! — вдруг воскликнула с пылающим лицом младшая, Оля.— Я знаю людей, которые...

Она прикусила язычок.

— Если зиаешь, то помалкивай! — серьезно приказала ей Татьяна. Мать испугаиио смотрела иа меньшую.

— Олеиька, если ты связалась с партизаиами — тебя расстреляют, я ие выдержу...

Оиа разрыдалась. Лев Николаевич схватился за шапку и пальто.

— Я пойду! Ждите меия. Здесь!

И ои выбежал за дверь.

Улицы были страшиы. «Может быть, мне так кажется?» — спрашивал себя Лев Николаевич.— Дома как дома. Окиа, калитки — все как было до иашествия. И все-таки все ужасно измеиилось! Людей почти ие видно. Вот промчался и завериул за угол, почти ие сиижая хода, немецкий грузовик с солдатами, распевающими свою иемецкую песию. Каждая строфа закаичивается точио собачьим лаем: «Хайль, хайль!» Вот объявление на заборе. Свежее. На немецком и русском языках. В обоих случаях — со свастикой и германским хищным орлом. Что такое? Ага! «Для избежания иесчастных случаев от приема устаревших или негодных лекарств предлагается сдать их в иемецкий госпиталь за плату, а также шприцы и другое медицинское оборудование. За неисполнение — военный трибуиал». Однако позвольте! Если лекарства устарели, то почему же за плату?! А шприцы? Оии тоже устарели? Все шито белыми нитками. Германское воинство нуждается и в шприцах и в пирамидоне...

Лев Николаевич шел дальше и постепенно понимал, что новым качеством улицы, делающим ее страшной, является, вероятно, безлюдье. Дием совершенно оголенная от людей улица — этого раньше видеть не приходилось. Город выглядит вымершим, точно старинный Геркуланум, засыпаиный вулкаиическим пеплом. Пепла нет, но есть мертвенность опустошенного города, покинутого обитателями. Люди сидят по домам, опасаясь выглянуть на улицу и попасться на глаза иемецкому воину, который посчитает твой поклои иедостаточно угодливым и попросту застрелит тебя на месте — тому примеры бывали.

Когда Лев Николаевич был уже близок к зданию, где помещалось гестапо, силы оставили его. Он прислонился к стене, механически, ио уже почти без мысли читая еще

одио объявление бургомистра, на этот раз сразу и о регистрации работников искусств, «обслуживающих столовые, кафе и мюзик-холлы», и детских колясок, ручных тачек и лыж. Лев Николаевич упал духом: ему вдруг стала ясна вся бессмыслица затеи. Еще никто не сумел смягчить каменное сердце поработителей. Почему он воображает, что достигнет этого? Логические доводы? Чепуха, они плюют на логические доводы. У них своя логика — логика захватчиков и убийц. Подумаешь, нашел чем их попугать: Грецией! Да и каким способом он установит связь с греческим правительством? Его расстреляют гораздо раньше, чем ему это удастся! Да, но Лена — девочка с косичками! Она теперь — супруга греческого подданного... или нет, она теперь — заключенная в подвале гестапо. Да жива ли она еще?

Он повернул назад. Им овладела слабость, и он еле передвигался, по-старчески шаркая ногами. Внезапно перед ним вырос доктор Федоренко — высокий, крепкий с виду старик. Он был не очень симпатичен Льву Николаевичу своей повадкой — из тех врачей, которые не лечили, а «спасали» больного, по их собственным словам, легко подхваченным легковерными обывателями. На этот раз у Федоренко не было его обычного победного вида. Даже седые усы его как-то опустились, почти закрывая рот.

— Вот,— сказал Федоренко, опасливо осматриваясь по сторонам и не здороваясь.— Убили моих конкурентов, растак и распротак!

Федоренко, как знал Лев Николаевич, был большой ругатель. Это тоже было в нем противно Исакову. Впрочем, сейчас ему даже понравилось такое проявление ненависти к немцам: Лев Николаевич подозревал Федоренко, человека, не слишком прогрессивно настроенного, в симпатии к немцам. Тут же адвокат уличил самого себя в недавних разговорах с семьей Омельченко о «преувеличениях». А Федоренко продолжал:

— Расстреляли и Любовича, и доктора Курапа, и всех других врачей-евреев. Да что же это такое?!

— А ведь вы, насколько я помню, Иван Николаевич,— сердито сказал Лев Николаевич,— что-то не слишком их любили, а? Вот немцы по-вашему и сделали...

Лев Николаевич тотчас пожалел о своих словах. Федоренко покраснел, и в горле у него что-то булькнуло.

— Стыдились бы,— почему-то шепотом ответил Федоренко и, не прощаясь, зашагал дальше.

Совсем расстроенный, Лев Николаевич побрел домой.

У себя он застал одну Татьяну. Она сидела у маленького столика с пишущей машинкой и горько плакала. Лев Николаевич понял: приключилось что-то еще.

— Мама,— сказала сквозь слезы Татьяна,— выкопала Ленины бриллианты и понесла в бургомистерство... регистрировать.

— Она с ума сошла! — вскричал Лев Николаевич.— Она ведь уже убедилась, зачем объявлена эта «регистрация»!

— Да, она знает,— подтвердила Татьяна.— Но она надеялась, что они выпустят Лену с мужем, если получат их бриллианты...

«А, черт знает, может, и так»,— растерянно подумал Лев Николаевич, без сил опускаясь, как был в пальто, в кресло.

Пришла Марья Васильевна, радостная и возбужденная.

— Взяли, без очереди взяли! — с порога воскликнула она.— Сказали, что теперь, несомненно, Леночку с мужем освободят. Сегодня же освободят! Сам бургомистр сказал. Господин Ходаевский. Такой симпатичный... Посочувствовал. «Немцы, говорит, у меня самого в печенках сидят». Ну, слава богу. Пирог испечь к их возвращению? Да успею ли? Они вот-вот придут!

Она была возбуждена и говорлива. Татьяна с жалостью смотрела на мать. А та вынула из кармана пальто сложенную вчетверо газету и протянула ее Льву Николаевичу:

— Господин Ходаевский дал мне почитать. Ну, я к себе, авось успею пирог-то!

Она торопливо ушла.

— Вы верите? — тихо спросила Татьяна.

Не отвечая, Лев Николаевич читал свежий номер «Нового слова».

— Ах, нахалы! — со злостью сказал он через минуту.— Слушай распоряжение бургомистра — этого самого симпатичного господина Ходаевского, номер девяносто четыре: «У русских родителей нет никаких оснований не посылать детей в школы, однако установлено, что 46 про-

центов детей в школы не ходят и занимаются спекуляцией, чисткой обуви и просто болтаются». Ну, дальше угроза штрафами и обычная фашистская канитель. Поняла? Нет, мол, никаких оснований не ходить детям в школы. А что детям есть нечего — это не основание. Что у них обуви нет — тоже не основание. Теплой одежды нет — тоже пустяки. Сорок шесть процентов! Неправда, школы посещают едва десять процентов всех детей, да господам фашистам не хочется в этом признаваться!

— Главная причина — не обувь,— сказала Татьяна,— а то, что родители не хотят, чтобы детям вдалбливали фашистские взгляды, я так думаю.

— Да, да, ты права! — тотчас согласился Лев Николаевич.— На днях был приказ: сдать все русские учебники для исправлений и дополнений. Воображаю, что за исправления!

Татьяна чему-то улыбнулась.

— Да, исправляют двое учителей. Я их знаю. У них училась. Самые отъявленные черносотенцы. Теперь они у немцев — первые особы. Да вот беда: там, где эти изменники вписывают в учебники, скажем, о доблести германских войск и о варварстве русских, ученики пишут одно только слово поверх: «Брехия!» Целая группа старшеклассников работает над этим словом. Учебников-то много!

— А ты откуда знаешь? — с беспокойством спросил Лев Николаевич.— Ты что? Уже связалась с партизанами?

— Ну какие же это партизаны? — искренне удивилась Татьяна.— Партизаны — это те, кто взрывает поезда, а мы...

— Ах, «мы»! — удивился старик.— И ты, значит?

Татьяна промолчала, славно улыбаясь. Лев Николаевич любил эту Танину улыбку: и веселая, и хитрая, и добродушная. «Как бы не попалась она фашистам!» — с отчаянием в душе подумал Исаков.

В комнату, не постучавшись, вошла Софья. Это поразило Льва Николаевича: девушка была всегда вежлива и деликатна. Старика потрясло еще больше ее лицо: бледное, какое-то неживое.

— Лену расстреляли...— с порога сказала она беззвучным голосом.— И мужа. Еще вчера. Пришла бумага:

можете взять трупы для похорон. Оба умерли от болезии сердца, так сказано...

Она опустилась на пол, закричала:

— К маме, к маме идите! Она умрет!

Человек многое может перенести. Он ходит, ест, заиимается домашними делами. Он может даже иной раз улыбнуться. И все же это уже ие прежний человек. В нем что-то прибавилось нлн, возможио, убавилось.

Марья Васильевна после казни и торопливых, безлюдных похорон дочери и ее мужа по-прежиему занималась домашним хозяйством, беспоконлась, если оставшиеся у иее три дочерн или какая-ибудь из них опаздывали вериуться домой, добывала для иих пнщу в очередях, продавая иа толкучке домашние вещи. Однако Лев Николаевич, лучше всех знавший ее, замечал в глазах старой женщнны что-то остановнвшееся. В душе старик ожесточнлся. Ему в голову ие раз уже приходила мысль, что, мол, хорошо было бы совершить что-то героическое, что-то особенно чувствительное для иемцев. «В конце коицов,— думал Лев Николаевич,— я уже так стар, что вот-вот умру. Но я не хотел бы умереть в постелн. Я даже инчем особенио и ие рискую, бросив гранату или застрелив иу хотя бы главного полицейского охраиной полиции Стоянова. Да, да, имеино его!»

Начальинк тагаирогской полицни Б. В. Стоянов[1] был хорошо извеستеи Льву Николаевичу еще в те времена, когда Стояиов студеитом приезжал иа каиикулы к отцу — чиновнику таможни, лучшему шахматисту города, к которому ие раз приходил нграть в шахматы Лев Ннколаевич — старый любитель этой игры. Молодой, розовощекий херувим — таким запомиился Борис Стояиов Льву Николаевичу. И вот теперь ои — активнейший пособник фашистов, вешатель русскнх людей, получивший, как сказаио все в том же «Новом слове», германскнй знак отличия 2-го класса — серебряиый ордеи с мечами. Можио ли терпеть, что такой иегодяй ходит по русской земле?!

Не удивительио, что при таком все возраставшем и укреплявшемся настроении Лев Николаевич иеожидаиио

[1] Расстрелян по приговору советского трибунала в 1946 году.

для дочерей Марьи Васильевны спокойно и даже одобрительно отнесся к очень странному разговору, состоявшемуся у него в кабинете. Пришли, и притом сохраняя какой-то таинственный вид, и Оля, и Софья, и Татьяна, и тотчас в дверь постучали.

Татьяна, выпорхнувшая навстречу, впустила высокого и худого молодого человека лет восемнадцати, в котором Лев Николаевич признал сына известного ему таганрогского жителя — инженера Кобрина, расстрелянного в первые дни нашествия фашистов.

— Это Витя Кобрин,— сказала Татьяна, краснея и запинаясь.— Вы, дедушка, разрешите нам... Мы просто хотим поболтать тут о всяких пустяках...

Говоря так, Татьяна чуть подталкивала старика к двери, ведущей в его спальню. Неожиданно Лев Николаевич сказал:

— Слушайте, вы, дети! Если вы что-то задумали, ну что-то против фашистов, то имейте в виду, что с моей помощью вам это будет сделать легче!

Молодые люди переглянулись:

— Ничего особенного...— нерешительно сказала Софья, делая вид, что не замечает негодующих взглядов остальных ребят.— Мы просто хотим, чтобы сообщения советского радио становились известными населению... Ну, что вы на меня уставились? — сердито закричала она сестрам и помрачневшему юноше.— Дедушка... Лев Николаевич — не такой человек! И если он сказал... Нам с ним выгодно работать вместе! Я хотела сказать — не выгодно, а удобно, что ли. У него пишущая машинка, и Таня сможет печатать... Сколько экземпляров берет машинка?

— Если тонкая бумага, то все десять,— объяснил Лев Николаевич.— У меня есть тонкая, листов двести. Вот!

Он по-молодому быстро подбежал к высокому старинному шкафу и, присев на корточки, с трудом вытянул туго ходивший нижний ящик. Там лежала нарезанная бумага.

— А копирка? — деловито спросила Татьяна.

— Есть копирка! — весело ответил Лев Николаевич, поднимаясь.

Татьяна села за пишущую машинку и сделала закладку. Вошло под каретку даже не десять, а одиннадцать экземпляров. Витя Кобрин молча протянул ей текст сегодняшней передачи Совинформбюро, и Таня принялась

перепечатывать, сильно ударяя по клавишам. В этот момент в кабинет вошла Марья Васильевна. Лев Николаевич поймал себя на том, как болезненно сжалось у него сердце. «Она стала горбиться. Этого совсем недавно еще не было»,— подумал Лев Николаевич.

Марья Васильевна быстро оглядела комнату и, видимо, сразу поняла, что означает это сборище. Она обратилась к хозяину кабинета:

— Лев Николаевич, как же вам не стыдно...

— Да ничего тут страшного нет...— оправдывался смущенный Лев Николаевич.— Просто перепечатываем содержание передач советского радио. Как только в дверь постучат, унесем вон!

— Нет, я толкую о другом,— тихо ответила Марья Васильевна.— Как же это? Почему вы меня не позвали и не сказали мне? Разве я не могу раздавать ваши листовки... ну, на базаре, где я бываю и где я не так брошусь в глаза, как, если, скажем, туда придет молодежь!

Татьяна вскочила и бросилась к матери. Но еще раньше ее нежно обняла, заплакав, Софья. Лев Николаевич смущенно молчал. Так вот что! Если уж дело дошло до того, что запуганная и несчастная старуха готова рискнуть головой,— а распространять листовки — это риск мучительной смерти,— то, значит, дело зашло далеко! Ему надо торопиться с собственным решением!

Примерно через час, когда все разошлись с напечатанными Татьяной сообщениями Совинформбюро, Лев Николаевич, оставшись один, ходил по тесной квартире, обдумывая свое решение. Он хорошо знал из многолетней своей судебной практики, что часто замысел убийства срывается из-за какого-нибудь пустяка. Лев Николаевич ясно представлял свой путь: он пойдет на прием к начальнику полиции Стоянову, тот его, как адвоката, зарегистрированного в надлежащем порядке, по всей вероятности, примет. Войдя в кабинет, Лев Николаевич будет держать в левой руке заготовленное прошение и, таким образом, беспрепятственно дойдет до стола, за которым восседает этот выродок. Тогда Лев Николаевич выхватит из кармана — правого кармана — пиджака бутылочку с серной кислотой и отработанным движением плеснет кислотой в глаза негодяю. Лучше бы выстрелить или бросить гранату. Но откуда ее достать? Это долго и малонадежно, к тому же Лев Николаевич не умел обращаться с

оружнем. А плеснуть из бутылочки с достаточно широким горлом он, по всей вероятности, сумеет. Конечно, и тут остается сомнение: известно из судебной практики, что Вера Фигнер, стрелявшая в генерала Трепова из револьвера в упор, не сумела убить его. Всяко бывает. Будем надеяться, что на этот раз замысел удастся. «Если на свете есть бог, удастся!» — подумал под конец Лев Николаевич, не совсем и к старости потерявший былую веру, но тотчас упрекнувший себя, что вмешивает бога в столь земные помыслы. Да, а серная кислота? Попрошу у аптекаря Адамова — старый знакомый. Скажу — надо отмыть ванну...

Повеселев, Лев Николаевич захотел выпить чашку кофе. Как все таганрожцы, он был предан кофе, напитку, веселящему и бодрящему и молодых и старых. А он сейчас нуждается в бодрости! Лев Николаевич подошел к маленькому столику с замысловатым кофейником — подарком клиента, у которого Лев Николаевич почему-то отказался взять гонорар, чиркнул спичку, зажег маленькую спиртовую горелку. Фитилек бесшумно вспыхнул синим огоньком.

В этот момент в дверь несильно постучали. У Льва Николаевича дрогнуло сердце, но он успокоил себя мыслью: «Это вернулся кто-то из Омельченко».

Лев Николаевич пошел, открыл дверь, и в комнату ввалился, тяжело дыша, давешний юноша — Витя Кобрин. Только на этот раз все краски сошли с его лица. Он дышал хрипло. Видимо, ему пришлось бежать.

Юноша с трудом произнес:

— Засыпался с листовками... За мной гонятся... Спрячьте!

На улице послышался треск мотоцикла. За дверью раздались грубые, быстрые шаги, и кто-то с силой постучал.

— Я пропал! — сказал довольно спокойно Витя. Он повернулся к двери, кажется собираясь ее открыть. Лев Николаевич молча, с неожиданной силой потащил юношу в спальню. Здесь он распахнул окно, выходившее в глухой переулок. С той же неизвестно откуда взявшейся у него силой он подсадил парня на подоконник.

Квартира Исакова находилась на бельэтаже, под ним был подвал. Прыгнуть вниз для юноши не составляло особой трудности.

— Прыгай! — прошептал старнк.

— Но как же вы?..— тревожно спроснл Витя.

Стук в дверь уснлнвался.

— Прыгай! — он толкнул Витю.

Мальчик спрыгнул на пустынный тротуар н, прнгнувшись, побежал. В одно мгновенье он скрылся в воротах соседнего дома. Лев Николаевич хорошо знал: двор другим концом выходит на Митрофановскую улицу, что едва ли могли знать преследователн. Но тут дверь поддалась, и в квартиру ворвались два эсэсовца.

— Где малшик? — крикнул один из них, прнставив пнстолет к груди старика.

Лев Нниколаевич хотел ответить: «Не знаю», но невольно поднял голову и ответил по-немецкн, задорно н громко:

— Вы его не увиднте, как...

Он хотел сказать «как своих ушей», но от волнения забыл, как произносится слово «ушн» по-немецки...

Эсэсовец нажал спусковой крючок.

— Убернте!..— брезглнво сказал он вбежавшей на выстрел Марье Васильевне.

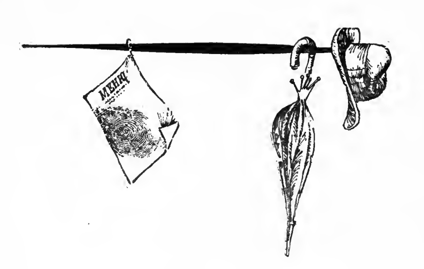




Омоложение доктора Линевича



Повесть



Показание профессора Н. И. Орловского

Мне, ректору медицинского института, руководителю терапевтической клиники, доктору медицины и профессору, человек, подсевший к моему столику в кафе, был абсолютно ясен. Робкая мина, слегка дрожащий голос и пергаментный цвет лица — пергаментный цвет лица в особенности,— как весь этот комплекс типичен!

Надо сказать, я вообще не люблю, когда меня отвлекают от еды посторонними разговорами. Ну, когда речь идет о приятном и нужном собеседнике или, скажем, о прелестной собеседнице, куда ни шло. А этот старикашка с большим кадыком и седой щетиной на впалых, бледных щеках... Да, мне, как геронтологу, пергаментный оттенок кожи более чем понятен.

Размышляя впоследствии над причинами, вызвавшими в моей подкорке вредное раздражение в то утро, я пришел к заключению, что не один его внешний вид виноват в моих отрицательных эмоциях. Ведь я его хорошо знал, бывшего ассистента нашей клиники. Да, вечного ассистента, не имеющего ученой степени, Петра Эдуардовича Линевича. В течение, по крайней мере, десяти лет я отвечал в коридорах клиники на его приветствия, а иногда даже подавал ему руку и спрашивал: «Как де-

ла?» Ои отвечал иеразборчиво, ио всегда уважнтельио. Да, он поннмал всю огромиую дистанцию, отделявшую его, не сумевшего защнтнть диссертацию иа степень каидндата, от меня — человека с ученым именем!

Я знал, что после обязательных часов работы в палатах он попроснт моего разрешення «поработать в лабораторин» н потом долгими часамн будет производить какие-то опыты иад ткаиями разлнчиых органов.

— Петр Эдуардовнч,— говорнл я ему нногда, находясь под влиянием положительиых факторов в благодушном настроеннн,— ну охота вам экспернмеитировать! Для экспернментов нужиа серьезиая теоретическая подготовка, а нначе — это эмпнрика, далекая от наукн. Что вы ищете? Философский камень?!

Обычио старик (кажется, он и десять лет иазад был уже стар!) что-то смущенно бормотал в ответ, вроде: «Я — так, ничего особеиного... Изучаю отдельные ткаии...» А однажды он мне ответнл непривычно холодно н, я бы даже сказал, нахально:

— Свон великие открытия на благо человека Пастер сделал даже и не будучн медиком. А я — врач!

Помню, я тогда с удньленнем взглянул на него. Ишь, Пастер какой выискался! Мне хотелось его одернуть, но ои вдруг сразу сжался н втянул седую голову между плеч, точно опасаясь удара. Я уннчтожающе взглянул иа него н пошел своей дорогой. С этого дия я как-то иевзлюбил его, н, призиаться, когда вознрк вопрос об увольнеинн Лииевича на пеисию, я стал иа стороиу меиьшннства, рекомендовавшего увольиеиие.

— Странно, что некоторые работннкн кафедры диагностики внутреиинх болезией,— строго сказал я,— почему-то настаивают иа сохраиенни ассистента Линевнча в ниституте. Неужелн вы ие внднте, товарнщн, что ои совершенио неперспективный человек? За трндцать лет работы он даже не сумел стать кандидатом! Особенио плохо то, что он даже н не пытался нм стать. Видимо, ие чувствует призвания!

— Ну и что же? — позволнл себе возразнть доцеит Котов (для того лн я его провел в доценты, чтобы он мне грубнл?!).— Он любнт науку, и любнт ее бескорыстио! И вообще... не все кандидаты делают открытия!

— Тем более не все просто врачи их делают тоже! — по-моему, довольно остроумно отпарировал я и объявил обсуждение законченным.— Врач Линевич с первого числа будет уволен как перешедший на пенсию!

Перед уходом Петр Эдуардович пришел ко мне прощаться. Это было ненужно и тягостно. Я принял его вежливо (я считаю это обязательным со всеми и во всех случаях) и даже очень внимательно выслушал несколько бессвязную просьбу.

— Я хотел бы закончить опыты... Уже близок к завершению...— невнятно бормотал он.— Очень важно... Приходить в биологическую лабораторию... Еще месяц... Без зарплаты!

Я даже не сразу понял его. А когда понял, с трудом сдержал себя:

— Как?! Вы собираетесь ставить какие-то опыты в нашей лаборатории, не находясь на государственной службе в институте?!

— Я готов,— как всегда, невнятно сказал он.— Я готов... объяснить направленность моих опытов. Обратимость жизненных процессов в тканях и сосудах...

— Ах, эликсир молодости! — иронически воскликнул я.— Ну нет! Я не могу быть соучастником шарлатанства!

Тут я заметил, что обычное выражение растерянности и даже виновности вдруг слетело с лица посетителя. Он выпрямился, метнул в меня испепеляющий взгляд — подумать только! — и, сухо поклонившись, вышел. Я, признаться, сильнейшим образом расстроился от сознания собственной мягкотелости. Да надо было попросту выгнать наглеца!

И вот спустя несколько месяцев он приплелся в наше кафе, в которое, в сущности, не имел теперь права заходить, и уселся за мой столик, наверно выследив меня перед тем. Всегда неприятно быть предметом слежки, а оказаться выслеженным этим дрожащим от старости субъектом — тем более.

— Я закончил опыты,— живо сказал он. Я сразу обратил внимание на эту живость и на более, чем обычно, строгое лицо. Неужели он стал пить? По-моему, именно так выглядят еще не втянувшиеся в пьянство после принятия первых доз, но уже ставшие на этот губитель-

ный путь люди. А он продолжал: — Некая модификация прежних поисков. Я искал этот универсальный стимулятор свыше четверти века — и теперь нашел!

— Чепуха! — искренне заявил я, внимательно глядя ему в глаза. Да, ошибки не может быть. И глаза блестят у него именно как у алкоголика!

А он, не смущаясь (это тоже убийственный симптом для человека, всегда смущавшегося даже от неодобрительного взора!), продолжал:

— Я испробовал на себе... микродозу. Ну, не буду о подробностях. Важно, что открытие сделано. Но я отдаю себе отчет: кто поверит моему утверждению? Здесь требуются ученое имя и ученая репутация, доступ в академию, да мало ли что! И всего этого у меня нет.

Я продолжал пристально, по-врачебному, всматриваться в моего собеседника. Что, собственно, здесь происходит? Вокруг снуют люди: кто-то завел радиолу, официантка с розой в волосах принесла мне цыпленка-табака, а я, вместо того чтобы наслаждаться любимым блюдом, занимаюсь разглядыванием пьяненького субъекта! Почему у меня никогда не хватало решимости оборвать вымогателя?!

— Послушайте,— строго сказал я, опасаясь, что цыпленок остынет,— послушайте...

— Одну минуту! — властно прервал меня этот жалкий пенсионер.— Я сейчас закончу. Вам дается единственный шанс в жизни. Сами вы ничего не откроете и не изобретете, я вас знаю! — От бешенства у меня перехватило дыхание.— А я прихожу к вам со своим открытием, которое перевернет вашу жизнь. От вас требуется только изучить под моим руководством метод действенного омоложения и заняться его продвижением. Все! Слава и деньги! Лауреатство всех существующих в мире премий! Лавры академика всех стран и континентов! Так сумейте же преодолеть ваше заскорузлое мышление и выслушать меня спокойно и непредвзято!

— Вон! — негромко сказал я.— Немедленно вон, иначе я позову милицию.

Еще с минуту он подумал и сказал то ли мне, то ли самому себе:

— Я так и знал, что надо начинать с ошеломляющих фактов, а не с разговорчиков!

Он встал и, бросив особенно возмутительно: «До

скорого!», ушел. Несмотря на охватившее меня негодование, я успел заметить, что он как будто меньше волочит ноги.

Видно, мне не было суждено в этот день позавтракать спокойно. Тотчас подошел доцент моей кафедры, Котов, сорокапятилетний человек спортивного сложения. С некоторых пор он стал раздражать меня. Вольно или невольно я видел в нем, так сказать, своего законного наследника. Умри я сегодня, он, конечно, займет мою кафедру завтра. Да, я сам его вырастил, но что из этого? Все равно неприятно ежедневно встречать человека, который, конечно, мечтает о твоей скорой смерти.

— Видели Линевича? — спросил Котов.— Он выглядит гораздо бодрее, чем когда работал. А еще говорят, что пенсионеры быстро линяют!

Почему-то и слова Котова пришлись мне не по душе. Я сделал вид, что мило ему улыбаюсь, продолжая грызть мягкие косточки цыпленка. А Котов, заметив, видно, во мне что-то странное, отошел от моего столика.

Прошел еще месяц. После лекции для студентов шестого курса, часов в 11 утра, я отдыхал в своем кабинете на втором этаже. Увы! Я стал быстро утомляться. Да, великая была бы штука — найти метод быстрого возвращения к началу, к молодости, к силам, бьющим через край!

Тут я невольно вспомнил маньяка идеи омоложения Линевича. Вспомнил и усмехнулся: бедняга воображает, что можно достигнуть вершины науки, не будучи ученым. А между тем я вот — профессор и не сегодня-завтра заслуженный деятель науки — и не какой-либо науки, а именно геронтологии, той самой, которая призвана открыть золотым ключом охраняемую природой (а может быть, ей и неведомую?) тайну... И что же? Я сегодня так же далек от искомой цели, как и желторотый студент первого курса, с трепетом входящий впервые в прозекторскую. Я! А этот несчастный старец воображает, что нашел философский камень. Скорее всего, это у него старческий психоз, подготовленный многими годами бесплодной работы...

Я встал, пытаясь отогнать мысли о старом чудаке. В этот момент дверь бесшумно открылась (я обязал завхоза строго следить за тем, чтобы дверь не скрипела: скрип дверей всегда раздражает человека, тем более не-

молодого). На пороге стоял какой-то нескладный молодой человек с огненно-рыжей шевелюрой. Он глядел на меня в упор и, как мне показалось, недружелюбно.

«Наверное, какой-нибудь неуспевающий студент четвертого... нет, второго или даже первого курса,— подумал я,— пришел просить о переэкзаменовке, вот и злится».

— Заходите, товарищ,— сказал я, заставляя себя быть приветливым.— Что у вас? Схватил двойку, парень, а?

Я сделал шаг к посетителю, тем временем прикрывшему за собой дверь, и поднял руку, чтобы дружески похлопать юношу по плечу, но он как-то странно улыбнулся и, боюсь, подмигнул мне. Моя рука повисла в воздухе, потом бессильно опустилась, так и не тронув его плечо. Я вдруг не то увидел, не то почувствовал в фигуре, манере себя держать и в этом упрямом изгибе губ что-то донельзя знакомое. В то же время я готов был поклясться, что никогда не видел этого студента. Да и как я мог запомнить всех студентов! А может быть, он уже приходил ко мне? Или я встречался с ним в коридоре института и его немного странная внешность, эти рыжие волосы и худое лицо аскета запомнились мне бессознательно?

Я с удивлением смотрел на молодого человека, который пришел к профессору, к тому же — и ректору, и вот,— стоит и молчит. Но молчит не от растерянности, не от смущения и благоговения перед ученым, что было бы вполне понятно и извинительно, а молчит как-то вызывающе, с дерзкой улыбкой, подбоченясь.

— Что, учитель, не узнаете? — заговорил он наконец, и я задрожал от испуга: голос Линевича! Да, в этом не было сомнения.

А посетитель как бы наслаждался моим явным смущением, вернее — испугом. Я почувствовал дрожь в коленях и опустился — рухнул в кресло. Уже снизу вверх я смотрел на своего безжалостного врага. Да-да! Я чувствовал в нем именно врага, а такое ощущение никогда не обманывает человека.

— Вот он я, ваш бывший ассистент Петр Эдуардович Линевич, пенсионер по возрасту! — отчеканил посетитель и неумело захохотал, видимо стараясь подражать смеху Мефистофеля в опере. Во всяком случае, я воспринял эти «ха-ха-ха» как удар по моим несчастным нервам.

Кто-то из нас двоих был сумасшедший — это-то ясно. Может быть, оба? Какой-то дешевый трюк со стороны обиженного мною человека, или, вернее, считающего себя обиженным. Загримировался? Нет! Старик не может на расстоянии двух-трех шагов выглядеть и в гриме юношей двадцати лет. Тогда — нанятый для сеанса мщения артист? Нет! Этот голос, бесспорно, принадлежит старику Линевичу, а на свете нет двух людей с одинаковыми голосами. Студент вдруг приблизился ко мне, наклонился и зашептал над моей головой:

— И все-таки, если хотите, я введу вас в курс своего метода. Вы видите, он действует без промаха! Но я продолжаю нуждаться в таком помощнике, как вы, с вашими знаниями и с вашими связями...

Вероятно, я на минуту-другую потерял сознание. Когда я пришел в себя, вокруг меня суетились Котов и другие врачи нашей клиники. Я огляделся и спросил голосом, который даже мне показался совсем слабым:

— А где этот... омоложенный?

Я заметил, что врачи переглянулись между собой, и Котов встревоженно сказал:

— Здесь нет никого чужого, Николай Иванович, не бойтесь. Лежите спокойно!

Показание доцента Котова

Я и ординатор Валуева Анна Сергеевна шли по коридору второго этажа института и, поравнявшись с дверью кабинета профессора, услышали глухой удар, как будто человек упал на пол. Одновременно или почти одновременно до нас донесся слабый стук захлопнувшейся двери: видимо, кто-то вышел из кабинета через секретариат, расположенный за углом коридора. Но тогда мы этот стук двери зарегистрировали в своем сознании чисто механически. Мы вбежали в кабинет и увидели Николая Ивановича распростертым на ковре с безжизненно остановившимися глазами. «Инсульт!» — подумал я и, опустившись на колено, положил ладонь на грудь профессора. Я услышал слабое биение сердца. В открытые двери заглянул еще народ, и мы перетащили бесчувственного Николая Ивановича на диван. В общем, довольно скоро нам удалось привести его в себя, и он еле слышным голосом рассказал, что его посетил кто-то донельзя по-

хожий на недавно уволившегося ассистента Линевича, ио только лет иа сорок моложе. Я попытался возразить, уж эта разница в возрасте делает невероятным большое сходство, Николай Иваиович настаивал, стал раздражаться, что в его состоянии было опасио, и все посылал меия поехать к Линевичу на квартиру и там убедиться, что он и в самом деле омолодился. Предоставив учителя заботам врачей клиники, я поехал. Бред Николая Ивановича в его же иитересах надо было разрушить!

Я знал, где жил Лииевич: мне пришлось иесколько раз посещать его, когда он болел. Надо прямо сказать: безрадостиая у него была обстаиовка! Маленькая комиата с окном иа пустырь — откуда он только взялся в большом городе? Перенаселенная квартира. Довольно долго я и на этот раз добирался к дому в Сиротском переулке, где он жил. Уже за парадной дверью я услышал громкий говор, вернее, перебраику. Выделялся пискливый жеиский голос, выкрикивавший одно и то же слово «аферист». Кто-то мне открыл дверь, и я оказался в темиом коридоре.

Шесть или семь жильцов и жилиц, преимущественно пеисиониого возраста, построившись полукругом — так, как обычио строится хор в опере,— выкрикивали какие-то немузыкальные фразы бранного звучания в лицо растерянио стоящему в дверях молодому человеку с ярко-рыжими волосами. Мне почему-то тотчас пришел на ум рассказ Конан-Дойля «Союз рыжих». Да, человек с такой шевелюрой мог бы, конечно, украсить это странное сообщество. Но сейчас ему было явно не до того. Он переводил взор с одной соседки на другую, беспомощно моргая рыжими ресиицами. Слышались выкрики:

— Куда девал старика, говори!

— Откуда ты взялся?

Всех перекрикивал пискливый голос приземистой, тучиой крашеной блондинки:

— А может, ои его убил?! Милицию позовите!

Я стоял у стены, от души дивясь наружности осажденного юноши. У иего и в самом деле, при всей разнице в возрасте, было удивительное сходство со стариком Лииевичем!

Взволноваииые дамы ие обратили на меня иикакого виимания. Я уже было решился пробраться к комнате атакованиого молодого человека и вступить с иим в не-

посредственное общение, но тут в коридоре появилось новое действующее лицо: участковый уполномоченный милиции. Это был немолодой человек с внимательными глазами и тяжелой походкой.

— Что здесь происходит? — негромко спросил он, и тотчас шум и выкрики затихли.

Крашеная блондинка, кокетливо сложив губы в бантик, пропела:

— А вот и Степан Демьянович. Как это было некультурно с нашей стороны вызывать его по своим домашним делам. Он так занят!

Участковый и бровью в ее сторону не повел. Внимание его было занято рыжим молодым человеком, по-прежнему стоявшим в дверях и сейчас, при виде человека в милицейской форме, отступившим внутрь комнаты. Однако милиционер шагнул и придержал дверь, уже готовую закрыться.

— Предъявите документы, гражданин,— сказал он недобрым голосом.

Из тихих и сдержанных реплик, которыми стали с приходом участкового обмениваться жильцы, я понял, что доктор Линевич исчез. Ага! Но куда он мог деться? У него не было ни знакомств, ни наклонности бесцельно ходить по улицам. Может быть, вышел в магазин и упал, скошенный сердечным тромбом? Частый конец пожилых людей!

— Значит, паспорта у вас нет? — сухо отметил участковый.— Может быть, какой-нибудь другой документ? Студенческое удостоверение?

Все замолчали, с любопытством наблюдая странную сцену. Молодой человек поник рыжей головой.

— Нет у меня документов,— тихо произнес он и почему-то добавил: — И не может быть!

Последние слова не произвели на участкового ни малейшего впечатления.

— Значит, нет,— повторил он, не повышая голоса, и так же ровно спросил: — А где хозяин комнаты, врач Линевич?

Молодой человек молчал, явно смутившись. Краской залилось его юношеское веснушчатое лицо. Представитель милиции слегка ухмыльнулся:

— Не знаете? А как же вы сюда, в его комнату, попали? Он вас сам пустил?

Последнее прозвучало явно иронически, но молодой человек простодушно ответил:

— Да! Именно он и пустил.

— А потом? — терпеливо вел допрос участковый.— Потом куда он делся? Ушел, что ли?

— Нет, не ушел,— на этот раз твердо ответил молодой человек. Видно было, что терпение у него на исходе и что он уже готов на все, лишь бы избавиться от глазеющих соседей и от навязчивого любопытства участкового.

— Не ушел? Значит, он здесь?

Кругом подхалимски захихикали. Юноша сверкнул глазами и громко сказал:

— Да, он здесь!

— Где же? — потерял на минуту свою невозмутимость участковый. Он оглядел комнату, может быть ожидая увидеть труп исчезнувшего старика.

Юноша глубоко вздохнул, как бы собираясь нырнуть, и отчетливо ответил:

— Это я — доктор Линевич. Понятно?

Продолжение показаний Котова

Мой шеф и учитель Николай Иванович Орловский унаследовал кафедру терапии от выдающегося русского ученого и медика К. Старожилы нашего института утверждают, что в молодости Николай Иванович покорил сердце своего профессора смелым участием в экспедиции на Восток, в местность, пораженную бубонной чумой. Честь и хвала врачу Орловскому, два года прожившему среди чумных, облегчавшему их страдания и вырвавшему многих из когтей черной смерти!

Конечно, я в ту пору его не знал, да по возрасту, естественно, и не мог его знать. Мне кажется, что он всегда был вот таким—седым, морщинистым, сутулым. Нет спора, он — знаток своей области медицины и превосходный учитель: терпеливый, настойчивый и заботливый. Вот только в самые последние годы я стал замечать в нем новые черты: завистливость к успехам других и даже — собственных учеников, какое-то недоброжелательство и подозрительность к людям, легко наступающую раздражительность. Я помню, как меня больно задела его не-

справедливость к старику Линевичу. Николай Иванович удалил его из клиники только потому, что Линевич бесил его своими дилетантскими изысканиями.

Я понимаю: эта проблема не нова, над ней билось человечество и тысячелетия назад. Сам премудрый царь Соломон искал рецепт омоложения! И недаром великое поэтическое произведение «Фауст» написано о том же. И все же и сегодня мы так же далеки от разрешения задачи, как и средневековые алхимики. Геронтология, наука, в которой работает сам Николай Иванович, конкретизирует задачу. Она почти идеально объясняет процесс старения, а это уже большой шаг вперед: мы знаем, в чем заключается старость, залог того, что будет найден путь обратного развития. Я хочу думать, что далеко шагнувшая методология «замены частей» человеческого организма, вплоть до замены сосудов и сердца, почки и пищевода, явится великим нашим союзником. Но пока...

Впрочем, так всегда говорят перед великим открытием. «Пока» не летали — а вот же полетели! «Пока» за тысячи километров не видели и не слышали — а вот же вошли в повседневный быт и радио и телевидение! Наверно, так же будет и с омоложением, со сказочным превращением старца в юношу.

Честь и хвала смелым разведчикам будущего, которые годы и десятилетия пытаются преодолеть, казалось бы, неодолимые трудности. Конечно, русский врач без степени и без звания Петр Эдуардович Линевич — один из этих безвестных героев. Свыше четверти века он, мужественно перенося насмешки, но и ощущая сочувствие многих товарищей, работал в лаборатории в поисках самостоятельного решения задачи. Тысячи опытов, десятки тысяч догадок и разочарований! И все же он не оставлял надежды. И вдруг — может быть, за час, за день, за месяц до финиша он лишается рабочей комнаты, его выставляют из привычной биологической лаборатории института!

Что же в этой связи произошло? Линевич, придя в отчаяние, покончил с собой? Это не исключено, но ничем не доказано. Появление юноши, чья внешность схожа с внешностью исчезнувшего врача, я не берусь объяснить, но и в превращение старика в юношу я не верю.

Показания гр-ки Апфельгауз-Титовой

Да, у меня двойная фамилия, и, если хотите, я имею право на тройную. Сначала я была замужем за Измаилом Хусаиновым, он был иранским подданным и держал при нэпе бубличную. Но я не люблю вспоминать за эту полосу в моей жизни, как очень удачно сказано одной шикарной дамой в заграничной картине «Я, моя любовь и собачка». Я только Апфельгауз (он был кустарем без наемной силы) и только Титова (зубной техник). Я с ним по его вине в разводе.

Знала ли я покойного доктора Линевича? А как я могла не знать, если уже тридцать пять лет он живет в соседней комнате? Удивляюсь: во-первых, он даже не кандидат, когда кругом — кандидаты и доктора, я уже не говорю — профессора. Во-вторых, никто от него не слышал громкого слова, что за мужчина?! Не пьет, на нас, женщин, не смотрит. То есть я не знаю, что он делает в рабочие часы, может быть, он тогда и ухаживает, но разве не удивительно, что вдовый мужчина за тридцать пять лет ни разу не скажет своей соседке, тоже свободной — дважды вдове и к тому же — разводке, три-четыре хороших слова?!

Нет, детей у него нет. К нам в дом он вселился еще не старым, я тогда временно была замужем за доктором... Ну, не доктором, так медицинским братом. Я никогда не понимала, как это — медицинский брат? Он мне говорил, что это — почти фельдшер. А я была у него почти жена. Фамилия его — Олешкевич. Ян Олешкевич. Нет, этой фамилии прибавить к своей я не могла. Мы же не были зарегистрированы! Олешкевич приходил к доктору Линевичу и играл с ним в шахматы. Хорошенькая история! Тут у него живет молоденькая женщина — это я, а он приходит к соседу играть в шахматы! И что же? Он еще долго ходил к доктору, ну и попутно навещал меня. Потом Ян уехал в Польшу.

В общем, скажу прямо: доктора Линевича убили. Почему я так думаю? А если его не убили, так где он? Это был не такой человек, чтобы загулять, или запить, или вдруг поехать в дом отдыха. И потом — я же знаю — когда наш дорогой участковый инспектор потребовал паспорт от этого паршивца, который нахально занял комнату доктора, то что сделал рыжий захватчик? Он предъ-

явил паспорт покойного доктора Линевича! А как к нему попал паспорт, он объяснил?! Нет! У покойного вещей было мало, и, кажется, они все на месте. Только исчез выходной костюм, в котором доктор был перед убийством. Наверно, этот малолетний преступник убил доктора тяжелым предметом... Почему тяжелым? Потому что легким никого не убьешь, даже пенсионера, который уже почти десять лет получает пенсию по старости. Убил и труп куда-то спрятал. Куда? Если бы я знала, так участковым инспектором была бы я, а не ваш уважаемый Степан Демьянович. Знаю ли я, когда и каким образом рыжий дьявол проник в комнату Линевича? Конечно, влез в окно. Видела ли я? Нет, я не видела, но как иначе он попал?

А почему он не скрылся, я уже объяснить не могу. Человек, который это объяснит, может рассчитывать, когда он состарится, на персональную пенсию. Что я еще знаю по делу? Я все знаю, только спрашивайте!

Протокол, составленный участковым

20 мая 196... года я, участковый уполномоченный 7-го отделения милиции С. Д. Дымов, составил настоящий протокол в следующем. По переулку Сиротскому, в доме № 5, квартира 12, произошло происшествие, а именно: жилец квартиры, пенсионер по старости врач Петр Эдуардович Линевич исчез вчера, где его видели соседи. А потом уже не видели и подозревают неблагополучие. В комнате гражданина Линевича оказался гражданин молодого возраста рыжей наружности, одетый в пиджачную пару ношеную. На мое предложение предъявить паспорт гражданин вынул из внутреннего кармана пиджака паспорт серии ЧШЩ, номер 67778, выданный 7-м отделением милиции 12 января 1950 года на имя исчезнувшего доктора Линевича Петра Эдуардовича, года рождения 1897, прописанный по вышеуказанному адресу 15 января того же 1950 года.

На мой вопрос, не хочет ли он выдать себя за гражданина Линевича, он отвечал утвердительно, сказав: «Да, я и есть доктор Линевич, Петр Эдуардович, года рождения 1897, а что касается моей видимой молодости, то это результат моего омоложения по моему собственному методу».

Он тут же предложил объяснить этот метод и даже дерзко заявил, что будто бы мне омоложение — в самый раз.

Ввиду явного наличия присутствия хищения паспорта исчезнувшего гражданина Линевича и подозрения в убийстве такого, я подверг неизвестного задержанию и препроводил в 7-е отделение милиции, а оттуда — к прокурору, в чем и составил настоящий протокол.

Запись беседы районного психиатра в присутствии прокурора с гражданином, называющим себя Линевичем Петром Эдуардовичем

Прокурор. Вот это — доктор Шустов, он поможет нам разобраться.

Шустов. Вы продолжаете утверждать, что вам шестьдесят семь лет и что вас зовут Петр Эдуардович Линевич?

Юноша. Да, продолжаю. Но ведь это так просто! Прошу вас, выслушайте меня, и вы, как врач, тотчас меня поймете.

Шустов. Не будем вдаваться в научные подробности. Какой сегодня день?

Юноша. 20 мая 196... года, пятница.

Шустов. Какой был счет у команды «Динамо» (Москва) с СКА (Ростов)?

Юноша. Простите, я не помню... Я...

Шустов *(прерывая)*. Если вы даже это забыли, то неудивительно, что не помните, как вас зовут и сколько вам лет!

Прокурор. Простите, но... *(К юноше.)* Если вам, по вашему утверждению, сейчас 67 лет, то сколько вам будет через год?

Юноша. Не больше двадцати двух.

Прокурор. А может быть, все же вспомните, что вы сделали с врачом Линевичем?

Юноша. В сущности, я его уничтожил.

Шустов. Задушили?

Юноша. Н-не совсем. Просто он перестал существовать. В известном, конечно, смысле. А вообще я сам и являюсь законным продолжением его существования. Позвольте же мне рассказать о моем методе. Видите ли...

Шустов. Нет, не нужно. Мы пришли не на лекцию о том, как Фауст делается молодым человеком. *(К прокурору.)* Я думаю, достаточно.

Юноша. Нет, не достаточно! Вы еще ничего не знаете. Поймите же, мой метод...

Шустов *(встал)*. Нет, это ни к чему.

Юноша *(вспылил, кричит)*. Как — ни к чему? Работа всей моей жизни — ни к чему? Проклятые бюрократы! Да я до министра дойду!

Шустов. Вот, выпейте. Успокойтесь.

Юноша. Оставьте меня!

Прокурор. В самом деле, оставьте его.

От автора

Начиная эту повесть, автор предполагал, что приводимые им документы полностью осветят странное исчезновение доктора Линевича. Однако, по мере того как автору приходится касаться ряда деталей, он убеждается в необходимости перейти к обычному авторскому описанию.

Кто-то из жильцов опознал, говоря милицейским языком, костюм покойного (для простоты изложения читатели разрешат именно так называть бесследно исчезнувшего Петра Эдуардовича). На молодом человеке с рыжей шевелюрой был единственный приличный костюм Линевича... В общем, жильцы не пустили его в комнату, и он провел ночь, сидя на табурете в кухне.

Наутро 21 мая его снова вызвали к прокурору. Там речь сразу пошла о костюме.

— На вас одежда доктора Линевича? — спросил прокурор.

— Странный вопрос! — отозвался задержанный.— Я в своем костюме, зачем бы мне надевать чужой?

— Значит, вы продолжаете утверждать, что вы и Линевич — одно и то же лицо?

— Неужели вы до сих пор этого не поняли? — как будто искренне удивился рыжий юноша и наставительно добавил: — В этом и заключается рутинерство. Человек не умеет взглянуть на явление с новой точки зрения.

Прокурор хотел задать еще вопрос, но в кабинет вошел эксперт-психиатр Шустов. Экспертиза вменяемости задержанного, предпринятая вчера прокурором, привела

к неясным результатам. Эксперт-псхиатр Шустов сказал, когда испытуемый по просьбе прокурора вышел из кабннета:

— Одно из двух: или он сумасшедшнй, илн хитрый преступннк, прикндывающнйся изобретателем.

Прокурор с неудовольствием заметнл, что, собственно, в этом н заключается весь вопрос. Речь как раз н ндет о том, является ли рыжий молодой человек убийцей старого врача, или же он симулнрует сумасшествие, называясь нменем убнтого, нли же н то и другое.

Решенне не состоялось, н прокурор распоряднлся взять у неизвестного подпнску о невыезде.

— Может быть, он даст след,— объяснил прокурор сослуживцам.— Да н кроме того... мы обвнняем его в убнйстве, а какне, собственно, основання счнтать Лнневнча убитым? Где труп?

Некоторое затрудненне возннкло в момент, когда юноша подпнсывал обязательство не покидать город: он подписался — П. Лнневнч, ясно и четко. Следователь, отбнравшнй подписку, только вздохнул. Три рубля четырнадцать копеек, оказавшиеся при Лнневнче, юноше вернулн, но паспорт Лнневича прокурор оставил прн деле. Юноша только дернул плечами и ушел. После его ухода прокурора вдруг осенило: он задумал сделать каллнграфическую экспертнзу подпнси молодого человека и сравнить ее с почерком покойного доктора.

— Не понимаю,— скрнвился следователь.— Вы что же, допускаете идентичность почерков задержанного и покойного старнка?

— Ннчего я не допускаю,— почему-то рассерднлся прокурор.— Я хочу лишь ясности в этом деле!

Подписку о невыезде прокурор тут же передал в крнмналнстнческую лабораторию. Для сравнення почерков эксперту предоставнлн паспорт покойного с имеющнмся там образцом подписн.

Петр Эдуардович ушел из прокуратуры взволнованный. Он на ходу шевелнл пальцамн, неестественно улыбался, передергнвал плечами. Ему было до последней степени неприятно. Он чувствовал себя шарлатаном, не будучи им. Ко всему у него мучительно заболел зуб, коренной зуб справа. Петр Эдуардовнч осторожно потро-

гал его двумя пальцами и убедился, что зуб шатается. Застарелая пиорея, ухудшившаяся к старости, давала о себе знать.

Ухудшившаяся к старости? Да, старый доктор Линевич еще раз убедился в том, что омолаживающее средство — вовсе не омолаживающее в полном смысле слова. Несомненно, в случае с Фаустом дело обстояло лучше. Едва ли Фауст, превратившись в молодого человека, объяснялся Маргарите, ощущая во рту корешки распавшихся от старости зубов. Но факт оставался фактом: при несомненно активнейшем и благодетельном воздействии стимулирующего средства на весь организм, и особенно на кровеносные сосуды и мышцы Линевича, зубы отнюдь не стали у него как у юноши. Да и нелепо было этого ожидать; не могли же корешки вдруг выпасть и замениться новыми зубами. К сожалению, человек потерял счастливую способность к регенерации зубов — способность, сохранившуюся, например, у рептилий.

Начав с месяц назад опыт самоомоложения, Линевич предвидел, что какие-то частичные неудачи более чем возможны. Он даже не был окончательно уверен и в том, что средство вообще как-то подействует. Несколько лет назад он делал над собой примерно такой же опыт, но тогда сыворотка эффекта не дала. Правда, ныне лекарство сделано иначе, с привлечением новых элементов, но кто мог поручиться, что не будет срыва?

Однако уже через неделю после первой инъекции Линевич заметил, что внешность его начинает меняться. Собственно, заметил не он, а старик парикмахер, у которого он стригся каждый месяц лет пять подряд. Обычно мастер занимал его во время стрижки разговорами о футболе, а на этот раз он только пристально взглянул на клиента, усадил в кресло, обмотал пеньюаром и стал молча щелкать ножницами. Линевич наслаждался непривычным покоем. Внезапно парикмахер шепотом спросил:

— Женьшень так действует или же чесночком пользуетесь?

«Значит, уже заметно»,— несказанно обрадовался Петр Эдуардович, вглядываясь в щербатое зеркало. В самом деле, перемена в его внешности была! Стало меньше морщин, слегка порыжели волосы.

Прошла еще неделя, и Линевич изо всех сил старал-

ся не попасть до поры до времени на глаза соседям, а в особенности соседкам. Он все надеялся, что, достигнув максимума наглядных результатов, он явится к профессору Орловскому, и тот, побежденный его омоложением, предоставит и лабораторию и все нужные реактивы...

И вот какие странные последствия удачи! Он бездомен, в институте профессор упал в обморок, прокурор подозревает убийство, а тут заныли проклятые зубы...

Линевич прямо из прокуратуры побежал в зубную поликлинику своего района. Здесь, в окошечке, он назвался, и девушка быстро нашла карточку. Она уже собиралась протянуть ему очередной номерок, но внезапно взор ее упал на графу с обозначением возраста, и она прочитала вслух: «Пенсионер, 67 лет». Девушка поглядела на дышащую молодостью физиономию Линевича и с негодованием сказала:

— Вы — пенсионер по старости?

— Да,— сказал Линевич, потерявший от зубной боли ясность мысли.

Девушка фыркнула и отвернулась. Сидя к Линевичу вполоборота, она сказала в пространство:

— Не перевелись еще на свете нахалы!

Линевич, ощущая с каждой минутой все более острую боль в зубе, со стоном поспешил в платную зубную поликлинику.

Заветная трешница в кармане делала его уверенным в себе. Заплатив за предстоящее кровопролитие, омолодившийся доктор сидел в хирургическом страшном кресле, откинув голову назад. Миловидная хирургесса сделала укол, укоризненно покачав головой:

— Вот что значит не следить за своими зубами. А еще молодой человек!

Выйдя на улицу, Линевич остановился и задумался. Беспомощность его положения представилась ему вдруг с особенной ясностью. Без паспорта, бездомный, подозреваемый не то в убийстве, не то в похищении самого себя, отпущенный под подписку о невыезде, он оказался без всяких средств к существованию. Пенсия? Нет, кто же выплатит цветущему юноше пенсию по старости?! Поступить на работу? Прекрасно, но на какую и как именно, не располагая документами? Больше того: не располагая биографией! В самом деле: что он о себе скажет, поступая на работу? Что он врач с большим ста-

жем? Но ведь ему на вид лет 20—22! Когда же он успел кончить медицинский институт?! Хорошо поступить разнорабочим, скажем, на стройку. Но без документов и там не примут!

И вдруг блестящая мысль мелькнула в рыжей голове старого доктора: писать диссертации! Вот спасение! Да, именно диссертации, а не диссертацию.

Как было известно Линевичу, в городе безбедно жил пожилой человек, специализировавшийся на писании диссертаций для жаждущих ученых степеней. Специалистом небывалой профессии был старый юрист Фисташков, отставший от юриспруденции. Он здорово набил себе руку в правке, исправлении и в переписке наукообразным стилем диссертационных работ. Больше того! Если ему принести первичные данные, то есть статистические таблицы, цитаты, текст научных работ на ту же или близкую тему, Фисташков мог и самостоятельно составить диссертацию. Он насчитывал на своем счету уже 42 кандидатские и 4 докторские работы. Многие из них провалились, и заказчики безуспешно требовали деньги обратно. При всем том еще не было в мире такого энциклопедиста.

Надо сказать, Фисташков отличался завидной скромностью: все его помыслы были направлены к тому, чтобы не добыть популярности... в официальных органах. Этих вредных последствий он старался избегнуть, и, надо сказать, пока не без успеха. Да, но не ровен час! Эта мысль не давала ему покоя.

Петр Эдуардович отлично знал адрес Фисташкова, да и был знаком с ним. Надо ему рассказать обо всей этой истории с омоложением, и нет сомнений, что старый знакомый посочувствует, пойдет навстречу и передаст ему, Линевичу, одного-другого диссертанта. Нет, он не станет писать за своих учеников, но лишь честно поможет им овладеть наукой!

Переночевав на вокзале и истомившись от второй бессонной ночи, он пошел к Фисташкову...

...Сквозь дверную щелочку на доктора Линевича глянула лысая голова борца за ученые звания. Хитрые подслеповатые глазки усиленно заморгали:

— Вам кого?

— От доктора Линевича,— уклончиво сказал Петр Эдуардович.

Фисташков вдруг заулыбался и, открыв дверь не во всю ширь, но все же достаточно, чтобы худой человек мог пролезть, сказал приветливо:

— Сынок Петра Эдуардовича? Удивительное сходство! Входите же.

Линевич плелся за хозяином, передвигавшимся чрезвычайно медленно. Впрочем, Фисташков так поступал не из-за старческих немощей. Медленно двигаясь, он тем временем соображал, зачем именно пожаловал к нему сынок этого не очень ему симпатичного старого врача-чудака? В представлении Фисташкова Линевич был бессребреником, а такая аттестация в его глазах была наихудшей. «Вы говорите, он умный человек? А где его деньги?!» — вот так он обрывал тех, кто с уважением отзывался о людях типа Линевича. «Оказывается, у него сын. Вот не знал! Но зачем сынок к нему забрел? Может быть, мечтает, в отличие от отца, об ученой степени? Но это стоит денег, молодой человек. Или, может быть, вы желаете добиться кандидатского диплома горбом? Так при чем тут я?!»

Они миновали прихожую, длинный коридор и в конце концов оказались в большой светлой комнате Фисташкова.

На письменном столе лежала открытая толстая рукопись. Должно быть, это был очередной вклад Фисташкова в науку.

— Прошу, присаживайтесь, милый юноша,— елейным голосом сказал Фисташков, запахивая длиннополый пиджак, надетый на ночную сорочку. Он опустился на стул и захлопнул открытую рукопись: осторожность прежде всего.

Подслеповатые глазки внимательно и беспокойно глядели на Линевича минуту-другую. А Петр Эдуардович, оказавшийся в роли собственного сына, растерянно молчал. Фисташков уже с явным беспокойством (на людей с нечистой совестью молчание собеседника действует сильнее всяких слов) спросил:

— Чем могу служить, дорогой юноша?

Линевич простодушно сказал:

— Мне хотя бы одну диссертацию. Конечно, по медицине. Я бы поработал с диссертантом... Помог бы ему... Очень нужны деньги. Папа сказал, что ваша ставка от

двухсот до трехсот, а я бы и за сто... Даже за пятьдесят.— Набравшись храбрости, он добавил: — И небольшой задаток. Совершенно, знаете ли, нет денег!

Пока Линевич, меняясь от волнения в лице, произносил свою тираду, Фисташков неотрывно глядел на него, слегка открыв рот. Самые неприятные мысли возникли у него в эту минуту. «И почему я вообразил, что он — сын старого дурака Линевича! Теперь я вижу: никакого сходства! Да и не было у него сына. А почему же он упомянул о докторе Линевиче? Возможно, что это просто «заход». Сомнений нет! Этот рыжий черт пришел меня поймать, но дело не выйдет! А что касается задатка, то почему не дать? Дать всегда полезнее, чем не дать».

— Здесь какое-то недоразумение,— мягким и нежным баском пророкотал Фисташков, делая круглые невинные глаза ребенка, ошибочно заподозренного в краже пирожного.— Какие диссертации? Понятия не имею!

И, как бы в подтверждение сказанного, он ловко сжал правую руку Линевича, оставив на его ладони сложенные пополам деньги.

«...Плохо дело,— уже через минуту уныло думал Фисташков. Посетитель швырнул деньги и выбежал вон.— Плохо! Ясно — надо идти с повинной... Опередить этого хлюста!»

У памятника Пушкину Петр Эдуардович остановился и, глядя на склоненную голову поэта, с горечью задумался над собственной судьбой. Да, в какой-то степени омоложение удалось. Конечно, располагай он возможностью продлить лабораторные опыты, нет сомнений, что результаты были бы полнее. Он слишком поторопился, надеясь привлечь внимание крупных ученых к достигнутому и добиться постановки новых научно обоснованных опытов. Петр Эдуардович оторвался от созерцания величавого лица и, вздохнув, зашагал в редакцию газеты. «Там отнесутся иначе! — оживая, решил он.— Там помогут мне!»

В редакции Линевичу пришлось немного подождать: заведующий отделом писем беседовал с какой-то шумливой парочкой. Из-за двери кабинета доносились возбужденные голоса: «Мы дом строили на трудовые денежки!.. Я получаю шестьдесят да она сорок пять, живем

скромно... Ну что же, что машина? А может, мы ее выиграли?»

Потом наконец открылась дверь, и из кабинета вышли высокий мрачный мужчина и худая как жердь женщина, очевидно его супруга. У обоих недобрым огнем горели глаза. Женщина, натянув на голову монашеский платочек, на ходу сказала злым шепотом спутнику:

— Я тебе говорила — не надо машину покупать. Зачем? Девочек возить?!

Мужчина презрительно поджал тонкие губы и промолчал. Видно было, этот умел сдерживать свои чувства!

Странная парочка вышла, а Линевича пригласили в кабинет.

За столом сидел молодой человек, привыкший уже к самым разнообразным обращениям в газету. К нему приходили отвергнутые изобретатели, отцы, ищущие сыновей, и матери, жалующиеся на свое чадо; изобличенный газетой жулик, полный «благородным негодованием» и требующий опровержения; разоблачители, которые на поверку оказывались разоблаченными; красноречивые жалобщики, рассчитывающие на доверчивость журналиста и вдруг теряющие свое красноречие; нерешительные посетители, на первый взгляд ничем не примечательные рядовые люди, оказывающиеся носителями новых хороших человеческих черт,— словом, разнообразнейшие характеры, способные заполнить не один список действующих лиц драм, комедий и водевилей, проходили чередой перед письменным столом журналиста большой газеты.

Заведующим отделом вот уж два года был Вячеслав Дмитриевич Беседин, человек, окончивший юридический факультет и вдруг в последнюю минуту отказавшийся от лестного назначения в прокуратуру, сменивший, так сказать, меч на орало. Впрочем, и здесь, на газетной работе, приходилось иногда обнажать меч. Беседин пробовал свои силы в труднейшем газетном жанре — фельетоне. В первое время фельетонист браковал его почти подряд. С мрачным видом — как и полагается юмористу — тот говорил ему:

— Юмористом можешь ты не быть, но публицистом быть обязан. Понял?

— Нет,— вскипел Беседин, нервно комкая, возвращенный ему опус.— Не понимаю!

— А вот это-то и плохо, что ие понимаешь,— наставлял фельетонист.— Читатель фельетона должен не столько смеяться, сколько негодовать. Ясно?

Постепенно это становилось молодому журналисту ясным. И вот настал день, когда он развернул газетный шуршащий лист, и сердце у него сладко замерло: он увидел свой фельетон и свою подпись. Это совершенно непередаваемое чувство. Слаще первого поцелуя любимой девушки!

Да, но в жизни журналиста случаются не одни лишь поцелуи...

Вот и сейчас, выслушивая несколько сбивчивую речь рыжего молодого человека, Беседин задавал себе тревожный вопрос: что это? Бред? Нет, не похоже, парень рассуждает здраво. Однако скорее всего авантюрист. Подумаешь, какой Фауст! Омолодился, говорит. Придется, конечно, проконсультироваться с кем-нибудь из медиков, но в общем это блеск! Так и назову фельетон: «Фауст из Сиротского переулка». Неслыханная авантюра! Да, но что он преследует? Какую именно жульническую цель? Неясно! Ведь он не пытается продавать свое средство!

— Слушайте,— обратился Беседин к Линевичу, уже в общем закончившему рассказ.— А если ваше открытие признают? Что тогда? Я хочу вас спросить, как это отразится на вас? Ну, я понимаю, вы говорите — остались без жилья, паспорт забрали и тэ дэ и тэ пэ, а дальше?

Линевич с удивлением посмотрел на Беседина. В сущности, они были почти сверстниками (если, конечно, считать годы Петра Эдуардовича на новый счет). Но почему этот журналист задает ему такой вопрос?

На Линевича испытующе смотрел молодой человек, сидевший по ту сторону письменного стола, заваленного бумагами. У журналиста был самый обыкновенный вид, ничем не выдающий его высокое, по мнению Линевича, призвание: округлое лицо, чуть вздернутый нос, юношески полные губы, аккуратно подстриженные каштановые волосы.

— Странный вопрос,— раздражаясь (удивительное дело: у омоложенного Петра Эдуардовича остался раздражительный характер), сказал посетитель.— Разве не

достаточно, что я смогу офнцнально объявнть о своем способе? То есть, я хочу сказать, если вы об этом напншете!

«Ага,— смекнул настороженный журналист,— он хочет нспользовать газету для саморекламы. Ну, а дальше он уже не растеряется. Так-так».

— Хорошо,— заключил беседу Беседнн.— Я подумаю и... В общем, мы вас уведомнм. Оставьте только адресок.

— Но в том-то н дело, что у меня нет адреса! Я бездомен! — почтн закричал Лнневнч.— Я ведь с этого н начал!

— Ну хорошо, тогда заходнте ко мне... Ну, скажем, через два дня.

Беседнн рассчнтывал, что за два дня он успеет посоветоваться с учеными, да, пожалуй, н с прокуратурой, о которой здесь толковал рыжнй парень.

— А где я буду находнться эти два дня?! — горестно спроснл Лнневнч.— Без паспорта, без денег?

Беседнн вдруг подумал: «А что, если он говорнт правду? Какнм дураком и сволочью я буду выглядеть?!»

Немного покраснев, Беседнн полез в карман н, вытянув десятку, протянул ее посетнтелю. Во второй раз за сегодняшний день ему предлагают деньгн!

— Вот... возьмите. Перебейтесь, а там, может, что-нибудь и придумаем.

Лнневнч страшно смутился, но неожиданно для самого себя деньги взял.

— Спаснбо. Отдам при первой возможности,— пробормотал он и, почему-то не прощаясь, вышел из кабинета.

В приемной у двери уже стоял очередной человек с деревянной ногой и «морской» бородой, начинающейся с подбородка и не доходящей до ннжней губы.

— Неудобно заннмать столько временн,— недружелюбно сказал он и без того растерянному Лнневнчу.

Оказавшнсь на улнце, Петр Эдуардовнч, уже не чувствуя зубной болн, захотел есть. Он зашел в подвернувшуюся столовую. Насытнвшнсь, Лнневнч, как это бывает с очень нервными людьмн, тотчас успоконлся. Будущее начало ему казаться не столь страшным.

«Дело обстонт не так уж плохо,— думал он, бодро шагая по улнце.— Да какой черт плохо?! Как-никак я превратился из немощного старика в молодого челове-

ка... Ну, правда, не совсем: что-то у меня не сработало. Нет, не зубы, хотя как я мог о них не подумать с самого начала?! Не зубы только, а что-то в психике, что ли. Кстати, а сколько мне сейчас лет? Так сказать, физиологически? Скажем, двадцать... Нет, в этом возрасте я чувствовал себя иначе, да и мир воспринимал по-другому. Веселее, что ли? Не знаю. И головная боль осталась. Неужели сыворотка бессильна именно против старения центральной нервной системы? Это было бы совсем плохо. Да нет же! Тут все дело сводится к тому, что я не довел до конца эксперимент с включением в материал также и стимулятора подкорковой области...»

Им овладело страстное желание вот сейчас же пойти и продолжать оставленные опыты. Он вдруг почувствовал, что на улице, несмотря на май, стало прохладно. А он был лишь в костюме. «Ничего, у меня есть вполне приличное пальто»,— подумал было он, но тут же вспомнил, что и пальто, и — что было поважнее — все записи и заметки лежат в его комнате. Надо было во что бы то ни стало отправиться домой, и если уж не поселиться там, то хотя бы взять необходимое!

Ехать в троллейбусе ему предстояло немало, и по дороге Линевич придумал план, который показался ему гениальным. Соседи не пускают его в комнату? Отлично! Он привезет им разрешение, написанное рукой старого доктора!

Линевич вышел на остановке и огляделся, куда бы ему зайти, чтобы написать записку-пропуск в собственную квартиру. На углу он увидел скромное кафе.

— Чашечку кофе,— попросил он официантку, заняв единственный свободный столик.

Тотчас в кафе зашла девушка в синем костюме и, беспомощно оглядевшись вокруг, видимо, решилась. Она подошла к столику Линевича и смущенно спросила:

— Можно?..

— А? Что? — вскинулся Линевич, обдумывавший текст записки.— Да-да, пожалуйста! — спохватился он.

Девушка уселась напротив Линевича и, стараясь не смотреть на него, попросила официантку.

— Пожалуйста, чай и пирожное с заварным кремом... Нет, два, пожалуйста! — И кинула быстрый смущенный взгляд в сторону Линевича: как-то этот странный рыжий парень отнесся к ее заказу?

Линевич вежливо сказал:

— С заварным — это очень вкусно.

Девушка покраснела, не зная, как ей следует поступить: одернуть этого юнца, вздумавшего с ней разговаривать, или пропустить реплику мимо ушей.

Она от смущения сделала неверный ход, ответив на сделанное замечание, так сказать, по существу.

— Если так, почему себе не закажете? — спросила она.

— Я? — удивился Линевич.— Старики не едят пирожных!

Он вдруг спохватился: как он мог забыть, что у него внешность не старика, а юноши? Что подумает эта милая девушка? Может быть, примет его за пьяного?

Но девушка звонко рассмеялась. Ей показалось, что ее сосед — веселый шутник и умеет отпускать шутки с совершенно серьезным лицом.

— В таком случае и я — старушка,— весело сказала она, невольно втягиваясь в разговор.— На много ли вы старше меня?!

— Если вам, как я думаю, восемнадцать, то ровно на сорок девять,— улыбнувшись, ответил Линевич. Улыбка его относилась к тому, что его собеседница примет и это заявление за шутку. Но девушка неожиданно обиделась.

— Значит, вам... шестьдесят семь? — нахмурившись, сказала она.— Вы что? За дурочку меня принимаете?!

Она даже перестала есть второе пирожное. (Первое она съела быстро, но грациозно. «Как котенок»,— подумал Линевич, с удивлением уличая себя в неожиданном интересе к этой незнакомой ему... студентке? продавщице?)

Ему вдруг захотелось рассказать ей свою странную судьбу. Даже не только рассказать — пожаловаться, увидеть на этом милом лице сочувствие, желание помочь... Но он не решился.

— Уверяю вас, я далек от шуток,— грустно сказал Линевич.— И я вовсе не хотел вас обидеть. Простите, я вот... записку...

Он огляделся в поисках, где бы добыть листок бумаги. Авторучка у него была.

Бумаги не оказалось. На столе был лишь листок с едва заметной машинописной копией меню. «А черт с

ним!» — почему-то рассерднвшнсь, подумал Лнневнч и напнсал на оборотиой стороне меню:

«Уполдома по Сиротскому пер., 5. Прошу вас пустнть моего племяиника, которого, как и меия, зовут Петр Эдуардович Лииевнч, в мою комнату. Разрешаю ему распоряжаться в ней. Я выехал на месяц. Забытый мною паспорт прошу выдать ему для отсылки мие. П. Линевич».

Дату? Дату надо поставнть для правдоподобия более раннюю. Так. Готово. Вообще здорово придумано. Он поднял глаза. На него с любопытством смотрела девушка.

— Надеюсь, вы пнщете не предсмертную записку? — весело спросила она.

У Линевича вдруг заныло сердце. Очень сладко заныло. Ага, знакомое чувство! Вот такое испытывал он давио-давно, в молодости, он тогда легко влюблялся в девушек с синими глазами. А у этой нменно синне. Кажется, редкость. Жалко уходнть. Да, но уходить надо. Предстоит нелегкое объяснение с управляющим дома н с соседками. Но, с другой стороны...

— Как вас зовут? — дрогнувшим голосом спросил Линевич.

— Майя, — ответила девушка.

Положив на мрамор стола деньги за пнрожные, она встала и, как показалось Лииевичу, с каким-то сожалением посмотрела на него:

— А вас?

— Петр Эдуардович... Петя, — сбивчиво сказал Линевнч и тоже встал. — Я в сторону Сиротского, иам по дороге?

Не отвечая, Майя пошла рядом с рыжим парнем, вызывавшим в ией любопытство. Вызвать в девушке любопытство — это большое дело для парня!

— Вы здесь живете? — спроснла Майя.

— Да... Жил, — сиова не очень увереиио ответнл Линевич.

— А теперь? Теперь где живете?

Линевнч беспомощно развел руками.

— Пока ингде.

— Вы ушли от семьи? — строго, даже сурово спросила Майя, метнув в него синюю молнию.

— Нет, что вы! — удивился Лииевнч. — У меня не

было семьи.— Он чему-то улыбнулся.— Вот разве племянник ..

— Племянник не считается,— быстро заметила Майя и вдруг решилась задать вопрос, который давно вертелся у нее на губах: — В каком институте учитесь? Я — в медицинском!

Она сказала это с гордостью.

Линевич вздохнул и сказал рассеянно:

— Я тоже кончил медицинский. Только тогда это называлось не институт, а факультет.

— Когда это — тогда? — удивилась Майя.

Линевич опомнился:

— Я шучу. Я тоже недавно поступил. Сейчас на втором курсе.

— А почему не участвуете в команде КВН вашего курса? Я в команде всех знаю: и Васю Курочкина, и Стебелькова, и Машеньку Дробязго... Но лучше всех отвечает на вопросы Леня Дутиков. Очень, очень начитанный парень,— добавила она «взрослым» голосом слова, которые она, видимо, слышала от других.— Умница.

— Умница? — спросил Линевич.— Вызубрил парочку вопросов и ответов из викторины, вот и все!

«Я становлюсь идиотом,— ужаснулся в душе Петр Эдуардович.— Я, кажется, приревновал эту незнакомую девицу к неизвестному мне молодому человеку!»

Однако Майе, видимо, понравился оттенок реплики «рыжика», так она уже называла про себя Линевича. Она милостиво сказала:

— Вы направо? Я дальше. В общем, приходите завтра на репетицию вашей группы КВН, я, наверно, тоже буду. До свидания!

И она быстро перешла дорогу. Линевич растерянно посмотрел вслед, хотел было последовать за ней, но раздумал и завернул за угол.

— Нет, это не его подпись,— глубокомысленно сказал эксперт криминалистической лаборатории прокурору.— Не тот угол в букве «е» и наклон не в ту сторону. В общем, ничего общего.

— Значит, вы даете заключение, что почерк этого рыжего малого, выдающего себя за доктора Линевича, не совпадает с почерком старика? — переспросил педан-

тичный прокурор и отвел руку с зажатой папиросой в сторону, хотя явно собирался затянуться. Выводы эксперта ему не понравились. Почему-то в глубине души он надеялся, что этот странный юноша — и в самом деле омолодившийся старик. Это было нелепое предположение, но прокурор не раз убеждался за двадцать лет работы, что чаще оправдываются именно нелепые предположения. А откуда у юноши взялся паспорт Линевича? Почему он не убежал, если и в самом деле паспорт добыт преступлением? И что за преступление совершено? Убийство? Для того чтобы захватить комнату убитого? Чепуха! На «убийце» костюм «убитого»? Тем более он не убийца: кто же выставит напоказ такую улику?!

Словом, прокурора устроило бы, окажись молодой человек и в самом деле омолодившимся стариком. Такое разрешение странной загадки устранило бы все неясности. Но тогда, надо думать, почерк юноши должен был сходиться с почерком исчезнувшего старика. Хотя... почему, собственно? Разве с годами почерк не меняется? Не становится к старости дрожащим и нечетким?

Да, конечно. Выводы эксперта, собственно, ни к чему не ведут, разве только лишний раз подтверждают, что на свете все меняется, в том числе и почерк.

Прокурор наконец поднес ко рту папиросу и с наслаждением затянулся. Эксперт подумал, что тот именно такой экспертизы и ждал. Эксперт и на этот раз ошибся. Впрочем, дальнейшее нормальное течение сцены и выяснение взаимных позиций собеседников было прервано стуком в дверь кабинета и появлением Степана Демьяновича. Он был сумрачен, на его чисто выбритом, несколько отекшем лице застыло привычное уныние.

— Разрешите доложить,— отнюдь не молодцевато начал с порога участковый,— новая неприятность от этого... рыжего гражданина, не знаю, как его величать.

Прокурор вопросительно на него смотрел.

— Явился в квартиру с запиской... Вот!

Участковый протянул записку, написанную на оборотной стороне меню.

— Биточки по-казацки, сорок пять копеек,— прочел прокурор и без улыбки обратился к эксперту: — Недорого, ведь верно?

— Просьба читать на обороте,— сказал участко-

вый,— записка, должно быть, писалась в столовой номер пять нашего района.

— Догадка обоснованная,— иронически заметил прокурор, разглядывая записку.— Тут и штампик столовой. Ну, а что на обороте?

Он прочел вслух записку Линевича и свистнул:

— Вот это здорово! Вот все и стало на свое место. Сходство семейное, бывает, что племянник больше похож на дядю, чем на отца. Надо вот только сравнить эту записку с образцом подписи доктора Линевича. А ну-ка, Антон Дмитриевич. Будьте так добры.

Эксперт с любопытством, составлявшим главную его особенность, взял бумажку, повертел и вышел в соседний кабинет-лабораторию. Тем временем участковый приблизился к прокурору и доложил тихим голосом (онто знал любопытство эксперта и его чуткий слух!).

— Соседи бунтуют, не признают! — уныло произнес Степан Демьянович.— Говорят, отроду доктор никуда не выезжал, почему бы именно теперь ему выехать? И почему им ни слова перед отъездом не сказал? Да и вообще вел себя в последнее время престранно: избегал людей, отворачивался при встречах...

— А что, племянник с этой запиской приходил на квартиру? — спросил прокурор.

— Именно. Да он и сейчас там. Меня вызвали, я записку взял — и сюда. А он ждет моего возвращения. Говорит, пустите меня в комнату, дядя обещал мне стол и дом, я потому и приехал. И насчет паспорта: отдайте, мол, мне паспорт, я дяде отошлю, он человек рассеянный, с него Маршак книжку писал!

— Тут другое интересно,— задумчиво сказал прокурор,— почему молодой человек оказался без документов?

— Забыл вроде,— вздохнул участковый.— У нас, говорит, забывчивость — это семейная черта.

Разговор был нарушен появлением эксперта.

— Да, он прав! — возбужденно воскликнул эксперт.— Вот это уж бесспорно почерк доктора Линевича! Тот же наклон букв, те же углы у «е» и «к». Да, эту записку писал доктор Линевич!

Эксперт протянул прокурору записку, написанную на обороте меню. Прокурор взял листок и еще раз кинул на него взгляд.

— Позвольте!— сказал он.— Записка датирована пятнадцатым мая, а в меню столовой ясно видна дата — двадцать второе. Так что же это выходит: доктор Линевич располагал пятнадцатого мая меню, написанным через неделю!

Эксперт перегнулся через письменный стол и впился в бумажку, которую продолжал держать перед собой прокурор. Да, дата меню не оставляла сомнений: двадцать второе мая. Почему же на обороте записан текст, датированный пятнадцатым? Любопытно, черт возьми, крайне любопытно!

— Вот что,— решительно сказал прокурор.— Записка, бесспорно, написана рукой доктора Линевича, владельца комнаты. Дату — проверим. Нет никаких разумных оснований оставлять его племянника на улице. Вы, Степан Демьянович, велите парня пустить в комнату. Если он у нас будет, так сказать, под руками, это даже облегчит решение всех загадок. Может быть, они окажутся так же просты, как и главная загадка — появление молодого человека с паспортом старика. Кстати, вы не спрашивали, почему он оказался в костюме дяди?

— Спрашивал,— ответил участковый.— Говорит, дядя подарил мне перед своим отъездом. Уж очень, мол, я ходил оборванным, пожалел дядя.

— А откуда он приехал? — не утерпел сгоравший от желания принять участие в расспросах и расследовании интересного дела эксперт.

— Говорит, из Северогорска.

— А где это?

— Наверно, где-нибудь на Севере,— предположил эксперт.

— Вы удивительно догадливы,— заметил прокурор и сказал участковому, возвращая ему записку:— Передадите управляющему домом и пустите парня в комнату Линевича. Да возьмите с него подписку, что все в комнате к приезду его дяди будет в целости и что он не претендует на жилплощадь. А Северогорск запросим. Все!

Если бы автор этих строк был поэтом, он обязательно сложил бы поэму в честь участкового: право же, многосторонняя его деятельность этого заслуживает.

Как много значит для человека человеческое обращение! А человеческое обращение — это прежде всего отсутствие формалистики. Да, конечно, законность преж-

де всего, но ведь недаром римляне, эти знатоки права, утверждали, что там, где применено слишком много законов, налицо беззаконие. Степан Демьянович не упоминал параграфы и статьи обязательных постановлений, нарушенных молодым рабочим, которого для смеха напоили дружки постарше в первый раз в его жизни. Участковый приходил рано утром на квартиру к родителям плохо проспавшегося парня и тихо вел разговор и с отцом, и с матерью, и отдельно с сыном. Он не говорил грубых или обидных слов, он говорил, как должен был бы говорить отец парня. Да вот беда: у отца накипело, ему тяжело и стыдно, он не может говорить спокойно. А Степан Демьянович может. И он через час уходит, оставив если не полностью утихомиренную атмосферу в квартире, то, во всяком случае, внеся изрядное успокоение.

Словом, хорош Степан Демьянович при тихой погоде. Не шелохнет, не прогремит.

Но на этот раз погода была совсем не тихая. Перед участковым стояла задача: объяснить многочисленным жильцам (это было еще не так трудно) и жилицам (вот тут-то и закавыка!), что молодой человек с рыжей шевелюрой никакой не авантюрист и не убийца, а законный племянник уехавшего на курорт дяди и что им надлежит не чинить препятствий к проживанию молодого человека в дядиной комнате.

Участковый подошел к дому, где ему предстояло произвести нелегкую операцию, и увидел у входной двери понурую фигуру Линевича, который, впрочем, очень оживился, завидев в свою очередь Степана Демьяновича. Он уже думал, что тот не вернется! А день клонился к вечеру, и проблема, где ему ночевать — неужели снова на вокзале?! — вырастала перед доктором с каждым часом.

— Да, они меня выставили,— ответил Линевич на молчаливый вопрос участкового.— Говорят, что в комнату не пустят!

— Слушайте, а куда, собственно, уехал ваш дядя? — спросил Степан Демьянович.— В Кисловодск?

— Да нет...— промямлил Линевич.— Он мне сказал — еду побродить с ружьем. Что-то, кажется, упомянул о лесах Белоруссии.

— Охотник, значит? — чуть оживился участковый.—

Я и не знал этого за вашим дядей. Я сам любитель. А позвольте... Сезон охоты еще не наступил.

«На каждом шагу ловушка»,— с отчаянием подумал Линевич.

— Вот этого я уж вам не скажу. Я лично не охотник. Терпеть не могу. Стрелять по невинным птицам — безобразие!

— Ну, не скажите,— возразил участковый,— если по дрофе, да к тому же если она на взлете... Впрочем, виноват,— спохватился он,— идемте в квартиру, я вас вселю.

— Да? — обрадовался Линевич.— А если они все-таки будут возражать?

— Не выйдет,— уверенно (в душе этой уверенности не чувствуя) сказал участковый, поднимаясь по лестнице.

Линевич механически вынул из кармана ключик от входной двери. Однако осторожный Степан Демьянович, подумав, попросил спрятать ключ в карман и нажал кнопку звонка.

— Входить надо с предупреждением,— наставительно сказал уполномоченный.— Особенно если противодействие.

Дверь открыла гражданка Апфельгауз-Титова. Несмотря на серьезность момента, Линевич, стоя за широкой спиной милиционера, заметил, что почтенная вдова за недолгие часы расставания успела перекрасить волосы в приятный голубой цвет.

При виде участкового она расплылась в улыбке. Тут же она заметила Линевича, и улыбка сменилась злобной гримасой, сразу же состарившей ее на десять лет, которые она тщательно пыталась многими усилиями стереть со своего лица.

— Степан Демьянович,— воскликнула она,— только не навязывайте нам этого авантюриста! Какой он племянник? Жулик он, а не племянник! Пусть скажет, куда он увез тело несчастного Петра Эдуардовича.

Она зарыдала. В коридоре появились соседи и соседки. Все обступили участкового и жавшегося к нему Линевича. Все что-то кричали. И вот тут-то Степан Демьянович и проявил себя.

— Граждане, тихо! — скомандовал он, и наступила тишина, столь же удивительная в создавшихся обстоя-

тельствах, как внезапный переход ураганного ветра в тихий, ласковый муссон.

— Прокуратура установила самоличность этого гражданина,— продолжал Степан Демьянович, легонько подталкивая упиравшегося Линевича вперед.— Установлено, граждане, что этот товарищ действительно приходится племянником уехавшему доктору (тут Степан Демьянович покривил душой, но это была ложь во спасение!) и что зовут его, как и дядю, Петром Эдуардовичем. А по фамилии — тоже Линевич. Понятно?

Никто не отвечал. Как зачарованные, все смотрели оратору в рот. Ободренный работник милиции продолжал:

— Записку писал действительно дядя. Он пустил к себе в комнату племянника. Какое же вы имеете право препятствовать? Никакого.— Он решительно кончил: — Иначе оштрафую!

Он сделал шаг вперед. Все расступились. Держа Линевича за руку, он в полнейшей тишине дошел до двери спорной комнаты и, открыв ее, втолкнул (правда, очень деликатно и скорее символически) рыжего парня, сумевшего достичь положения, небывалого дотоле: он приходился самому себе племянником и одновременно дядей.

Участковый вошел следом и закрыл за собой дверь.

— А теперь дайте подписку, что берете на себя сохранение всех вещей вашего дяди,— с облегчением вздыхая, сказал он.

Линевич сел за стол, уверенно полез в ящик, вынул листок и написал требуемую бумагу. Степан Демьянович взял ее и, аккуратно сложив, спрятал в брезентовый портфель.

— До свидания,— вежливо попрощался он.

Но в этот момент спокойное течение событий было прервано вновь возникшим в коридоре оживлением. Кто-то энергично постучал в дверь. Линевич крикнул: «Войдите!» И в комнату вошел молодой человек в плаще, в синем берете. Линевич тотчас узнал журналиста Беседина.

Происшествие с омоложенным врачом захватило Беседина. Это было чертовски интересно. Но... В прокуратуре, куда его повела ниточка расследования, прокурор ошеломил Беседина сообщением, что рыжий молодой человек — никакой не омолодившийся доктор Линевич, а просто Линевич — племянник доктора, приехавший по-

гостить и воспользовавшийся разрешением дяди пожить в его комнате по такому-то адресу. Выходило, что заведующий приемной был нагло обманут своим посетителем. А ведь этот рыжий парень так искренне рассказывал о своем бедственном положении омоложенного научного деятеля, так убедительно жаловался на равнодушие признанных ученых к его великому открытию! И эта десятка, которую он взял взаймы... Дешевый авантюрист, вот кто он! Словом, Беседин был не первый и не последний, павший жертвой внешне убедительных улик.

— Вы меня, надеюсь, узнаете? — несколько театрально спросил Беседин.

— Да, конечно,— пролепетал Линевич, сразу поняв, что теперь он пропал. В открытые двери заглядывала Апфельгауз-Титова. От острого любопытства она даже помолодела.

— Что вам угодно, гражданин? — строго спросил участковый. Но это не произвело никакого впечатления на журналиста. Он прикрыл за собой дверь.

— Это комната вашего дяди? — спросил он Линевича, оглядываясь. Письменный стол, заваленный бумагами и книгами. У другой стены — стол обеденный, на котором стояла неудобная посуда; тощая кровать аскета, прикрытая потертым одеялом, в углу — плетеная корзина с крышкой, полки с книгами и отдельно — полка с ретортами, спиртовой лампой, дорогим микроскопом и какими-то блестящими инструментами, свидетельствующими со всей убедительностью, что хозяин комнаты — старый холостяк и ученый, притом ученый, не добившийся ни высоких премий, ни признания.

— А что вы желаете? — несколько нетерпеливо спросил участковый.

Беседин протянул ему свой корреспондентский билет и сказал:

— У нас тут с товарищем должен состояться небольшой разговор. Я обожду, пока вы не кончите вашего дела.

— Я уже закончил,— несколько суетливо сказал участковый. Появление товарища из газеты его смутило. С этими газетчиками не оберешься беды! Он-то честно выполнял свой долг, но разве мало примеров, что и это не спасало от придирчивости? Такой фельетон запустят, поди потом оправдайся.

— До свидания,— неожиданно сказал Степан Демьянович и вышел, аккуратно и бесшумно прикрыв за собой дверь. В коридоре его поджидала одна лишь Апфельгауз-Титова. Остальные, видимо, примирились с вселением рыжего племянника в комнату доктора и разошлись.

— Только что приехал и уже у него гости? — сгорая от любопытства, спросила она шепотом.

Степан Демьянович сказал с несвойственным ему раздражением:

— Прошу не вмешиваться в частную жизнь других жильцов.— Немного помедлив, он закончил: — В общем... прошу не нарушать!

Очень строго посмотрев на обомлевшую вдову и четко отбивая шаг, он ушел.

А в комнате доктора происходила драматическая сцена.

— Стало быть, вы — племянник? — недобрым голосом спросил Беседин. Он уселся верхом на стул, отчего стоявший перед ним Линевич почувствовал себя пехотой, атакованной на близком расстоянии кавалерией в строю. Петр Эдуардович сжался, ожидая разгрома.— Ну, отвечайте! Племянник? Да вы не смущайтесь. Наполеон Третий только потому сделался императором, что был племянником Наполеона Первого... Может, и вам предстоит... стать Линевичем-вторым!

— Да, племянник,— выдавил из себя Петр Эдуардович.— А что мне оставалось делать?!

В его словах прозвучало искреннее отчаяние, и чуткое ухо журналиста это сразу услышало.

— То есть как прикажете вас понимать? Не хотите ли вы сказать...

— Вот именно, хочу сказать,— Линевич вдруг заговорил отрывисто и решительно.— Я вам уже объяснил. Мною после тридцати лет работы найдено такое сочетание микроэлементов... Несет мощное стимулирующее начало.— Петр Эдуардович увлекся и уже, кажется, забыл, что его приперли к стене, уличают в авантюре, в попытке втереть очки — и ради чего? Ради получения десятирублевого займа! Он уже весь был во власти своей идеи. Он уже не сидел, а метался по комнате, жестикулируя и хватаясь за голову.

Неожиданно гость прервал его, спросив не то иронически, не то всерьез:

— Омоложение все-таки? Но вы знаете...— Беседин критически оглядел Линевича: — Вы знаете? Хотя, судя по шевелюре и гладкому лицу, вам можно дать лет двадцать от силы, но... Простите, есть что-то стариковское в вашем облике.

— Походка? — Линевич круто остановился.— Да, вы правы. Я еще не разобрался. Однако ясно: склеротические явления в позвоночнике не совсем исчезли. Отсюда и шаркающая, нетвердая походка. А не угодно ли посмотреть полость рта?

Линевич разинул перед ошеломленным Бесединым рот, и тому сразу стало ясно, что это не рот юноши: там и сям торчали корешки стертых зубов, как пни срубленного леса.

— Поняли? — грустно сказал Линевич.— Зубы остались мои прежние, тут ничего не поделаешь. В общем, над проблемой обратимости надо еще много работать. И я вас об этом и прошу: помогите! Напишите об ученых-тупицах, не желающих мне помочь.

В сущности, доверие человека к другому человеку, к тому или другому явлению иногда зависит от каких-то неуловимых ощущений и часто незначительных фактов. Может быть, не присмотрись в этот момент Беседин к его шаркающей походке, у него и не возникла бы вдруг твердая уверенность в том, что этот смешной человек говорит истинную правду. В общем, вполне понятно, почему ему понадобилось выдать себя за собственного племянника! И почему он писал за подписью «дяди», то есть за своей собственной подписью, записку о том, что он просит предоставить свою же комнату самому себе. Беседин, встав, торжественно заявил:

— Я верю. Верю на сто процентов в вашу немыслимую историю. И готов помочь.

Он театрально пожал руку Линевичу и снова уселся.

— А почему бы вам не попробовать еще и еще раз поговорить с вашим народом в институте? — предложил Беседин.— Они поймут, что к чему! А поймут — стало быть, помогут довести ваше средство до ума. А?

— Что же... попробую,— ответил без всякого энтузиазма Линевич.— Вот разве Котов? Но учтите, ученые больше всего боятся быть заподозренными в ненаучности мышления, что ли. Я даже думаю, что многие великие открытия тормозились и тормозятся именно из-за этого.

— Ну, едва ли,— сказал Беседин, вставая.— Раз уж дело у нас пошло на оживление умерших да на замену сердца... Какое уж тут недоверие!

Линевич только вздохнул. Беседин простился, договорившись, что доктор будет держать его в курсе:

— Вы когда будете в институте? Завтра? Отлично, а я пойду туда позже.

— А зачем? — удивился и обеспокоился Линевич.

— Прощупаю ваш строптивый народ,— неопределенно ответил Беседин и вышел.

Уходя, он громко сказал:

— Кланяйтесь дяде!

Сразу же открылись две-три двери в коридоре. Дверь Апфельгауз-Титовой открылась первой. Любознательная вдовица подбежала к шарахнувшемуся в сторону Беседину и, захлебываясь, спросила:

— Он и в самом деле племянник? А вы его раньше знали?

Беседин на ходу солидно ответил:

— Еще бы! И дядю и племянника. Земляки!

У Апфельгауз-Титовой и двух других дам, стоявших в коридоре, вытянулись лица.

— Это интересно! Это чертовски интересно!

Котов потирал руки и то хохотал коротко, то хватал за плечи Линевича, точно опасаясь, что он убежит или растает в воздухе. Пожалуй, именно этого последнего больше всего и опасался доцент, ему почудилось что-то необычное, что-то даже не совсем реальное в, казалось бы, обыденной фигуре посетившего его рыжего молодого человека.

— Нет-нет, не требуйте от меня немедленного ответа. Верю я или не верю? Знаете знаменитую молитву историка профессора Соловьева? «Верую, господи, помоги моему неверию». Но, дорогой мой... Собственно, как вас величать?

— Линевич я,— угрюмо ответил Петр Эдуардович. По совету своего нового знакомца, веселого журналиста Беседина, он пришел сюда, в институт, чтобы попытаться договориться со своими бывшими сослуживцами...

— Слушайте! — Котову вдруг пришла блестящая мысль.— Вы можете вспомнить, какого именно больного

я демонстрировал в клинике в позапрошлом году и что за скандал получился по этому поводу? Если только «вы» — этот перевоплотившийся доктор Линевич?

Петр Эдуардович на минуту задумался, и лицо его просияло:

— Помню! Он был болен склеротическими спазмами конечностей. По крайней мере, таков был диагноз профессора. И вы утверждали, что сочетанием витамина B_1 с витамином B_{12} можно добиться улучшения. А профессор при этом сказал — и при больном! — что склероз способен только ухудшаться, что же касается улучшения, то пока никому ничего в этой области добиться не удалось. Верно?

— Да-да! — радостно подтвердил Котов. Он замялся: — Этого еще мало. Видите ли... Я отнюдь не пытаюсь выведать у вас суть вашего открытия, но я хотел бы... Надо бы... В ваших же интересах!..

— Рассказать, в чем, собственно, заключается мой метод? Вполне естественное требование, и, собственно, за этим я и приходил к профессору. Но он оказался чересчур возбудимым. Словом, я очень прошу вас выслушать меня.

— Даю слово, что не употреблю ваше доверие во зло! — несколько книжно воскликнул Котов, но Линевич, собираясь с мыслями, как будто даже и не слышал его.

— Собственно, первое слово сказали здесь Штейнах и Воронов,— медленно начал Линевич.— Именно они, каждый со своих позиций, придали решающее значение в проблеме омоложения органам внутренней секреции. Старение — вовсе не угасание, не просто обратное развитие, а особое состояние организма, при котором, между прочим, повышается чувствительность ткани к ряду гормонов. Известно также, что некоторые фосфорные соединения и некоторые нейтропные вещества стимулируют восстановительный процесс в клетках организма. Это особенно важно! И отнюдь не мной открыто, что огромное значение и здесь имеют нуклеиновые кислоты, которые как бы складывают из отдельных кирпичей — аминокислот — сложные белковые молекулы. При старении наступают изменения в процессах синтеза белка, организм старика как бы начинает «ошибаться» и воссоздавать белковые молекулы более ломкими. Стало быть, прежде всего надо было отыскать вещества, которые

резко улучшилн бы обмен нукленновых кислот и белков. Кажется, мие это удалось, хотя... Не думаете ли вы, что было бы целесообразным зачитать доклад на ученом совете? — прервал самого себя Лииевич.

— Ни в коем случае! — быстро ответнл Котов.— Сначала иадо, так сказать, подготовить позицни...

Тут в кабииет вошел иизенький толстый человек с пышиой шевелюрой н острымн ушами, которые производнли впечатлеиие настороженного радара.

Это был проректор Курицыи; заместитель, как это нередко бывает, держал курс на занятие должиостн шефа и потому подсиживал его умело и настойчиво, соблюдая, однако, виешиее прнлнчие.

— Виноват, у вас посетнтель.— Курнцын недружелюбно покосился на Линевнча...— А, олицетворенне весны, милая Майечка!

В вошедшей следом девушке Линевич тотчас узиал знакомую из кафе. Оиа в свою очередь покосилась на Линевича, и, кажется, с иеудовольствнем.

— Папа,— сказала она Котову,— ты заият? Здравствуйте, Анатолий Степанович.

Оиа кивнула Лнневичу.

— Ты с ним знакома? — с недоумеиием спросил Котов.

— Да нет...— почему-то ужасио смутился Линевич.— Случайно оказалнсь за одним столнком в кафе.— Ои ие заметнл грозного предостерегающего взгляда синих глаз, а когда заметнл, было уже поздно.

Вероятно, у людей существует специальиая мозговая извилииа, ведающая тщеславием. У одних оиа развита меиьше, у других — больше. В иных случаях оиа глубока, как траишея для прокладкн газовой трубы, и требует, жаждет питання! Вынь ей да положь иовое высокое назначеиие, портрет в газете, лавровый веиок лауреата. Вот и Курицыи, видно, страдал гипертрофией извилииы тщеславия. В душе он это знал, зряшиая выдумка древних, будто бы человеку трудно, даже невозможно «позиать самого себя». Человек отлично зиает себе цеиу!

Курицын не мог не знать илн забыть, что обе свои днссертацин — и каидидатскую и докторскую — он отдавал «отшлифовать» Фисташкову, ие доверяя себе. Да

и область науки он избрал хотя и очень нужную, но все же скорее «гуманитарную», чем специально медицинскую,—возглавлял кафедру организации медицины. Первую свою кандидатскую работу он написал с неоценимой помощью Фисташкова на тему «Организация сети здравпунктов в районе», а докторскую — на тему «Организация сети здравотделов в области», и с той же неоценимой, но дорогостоящей помощью того же Фисташкова. Лекции же свои построил на использовании примеров из обеих диссертаций плюс статьи в ежемесячном журнале «Организация здравоохранения». В конце концов, он был человек грамотный и мог извлекать пользу из своего умения читать, писать и списывать.

Да, но не вечно же ему числиться в замах! Он хочет добиться власти ректора, пока еще не ушли его молодые пятидесятилетние силы! Орловскому пора на покой! Вот он уже и в обморок падает! А если он этого не понимает, то ему надо, так сказать, помочь. Недаром Курицын — специалист по организации, он должен организовать смену руководства в институте!

Слухи о необычайном происшествии в мединституте росли и ширились. Ректору позвонили из Москвы и сказали:

— Здравствуйте, Николай Иванович. Это я, Болотов из министерства. Как здоровье? Ага, отлично. У вас, говорят, чудеса начались? Какой-то старый врач превратился в юношу?

— Чудеса и есть,— сразу взволновавшись, ответил Орловский.— Ненаучный вздор.

— Жаль, очень жаль. Омолодиться кому не улыбалось? Но в таком случае,— голос стал суше,— этим ненаучным разговорчикам надо положить, так сказать, научный конец. Разъяснить надо молодежи!

— Обязательно разъясним, — согласился Николай Иванович.— Кстати, у нас завтра заседание студенческого общества, я и выступлю... с сообщением.

— Только действуйте без сенсации. Попроще! Ну, пожелаю вам всего хорошего, Николай Иванович. Если возникнет в том надобность, звоните, приезжайте, всегда вам рады. До свидания!

...Сразу же, взойдя на кафедру, Орловский заметил где-то в шестом или седьмом ряду рыжего парня, того самого, который заставил его упасть в обморок, и рядом

с ним — юную дочь доцента Котова. Они сидели чинно, но по тому, как они переглядывались, по той милой доверчивости, с которой она смотрела ему в глаза, а он — в ее, Орловский безошибочно определил, что это соседство — неспроста и что рыжий студент подружился с Майей. Ее-то Орловский знал еще с тех пор, когда отец в институтском саду возил ее в колясочке. От таких воспоминаний. старикам всегда грустно.

Какой, однако, вздор, будто этот рыжий субъект — новая форма существования старого чудака, Петра Эдуардовича Линевича!

Пауза несколько затянулась. Николай Иванович спохватился и приступил к докладу. С несколько излишней горячностью, точно он отвергал возводимые на него обвинения, ректор стал пространно — слишком пространно! — доказывать, что омоложение, обратное развитие старческих изменений в организме, невозможно и противоречит науке.

— Какой? — раздался в этом месте насмешливый голос из зала.

Сразу же температура собрания подпрыгнула до точки кипения. Видимо, настроение в студенческой среде было не в пользу докладчика.

— Какой? — повторно крикнул голос.— Не признающей научных открытий?

— Никакого открытия нет! — с раздражением отозвался Орловский, теряя нить. И увидел, как в шестом, нет, в седьмом ряду Майя шептала своему рыжему соседу на ухо и как тот возбужденно вскочил и крикнул что-то неразборчивое.

— Линевича! — воззвал из первого ряда тщедушный студент.

Сейчас же весь зал закричал, скандируя:

— Ли-не-ви-ча! Ли-не-ви-ча!

Линевич уже пробирался к кафедре. Николай Иванович собрал дрожащими руками листочки и бросился, точно за ним гнались, к группе профессоров и преподавателей института, сидевших у окна. Он что-то возбужденно говорил, но за общим шумом его не было слышно. А Линевич уже, стоя на кафедре, произносил первый раз в своей жизни горячую речь, почти не запинаясь и не смущаясь: омоложение — научный факт!

— Резко повысить процессы окисления в старческом организме! Значительно улучшить состояние капиллярных сосудов, применив определенные стимуляторы! Вот с чего надо было начать и с чего я начал. Никто до меня не шел по этому пути и поэтому никто не получал подлинного омоложения!

Он жестикулировал и даже стучал кулаком по кафедре. Студенты отвечали согласным криком:

— Правильно! Давай, старик!

Как ни странно, молодежь обращалась с ним, как со своим. Видимо, все-таки никто или почти никто не верил, что перед ними — старец, вдруг превратившийся в юношу. Большую часть студентов, сидевших в зале, привлекал веселый и остроумный номер, который отколол какой-то молодой тип, приехавший сюда под видом старого Линевича. Племянник он или не племянник, но получилось здорово!

Линевича проводили бурными аплодисментами.

И тут выступил проректор Курицын, дорвавшийся наконец до возможности проколоть шины в коляске своего шефа.

— Товарищи, перед вами истинное чудо науки! — закричал Курицын, понимая, что аудиторию надо огорошить сразу. Действительно, в зале наступила тишина. Курицын продолжал, надрываясь: — Консерваторы от науки не хотят видеть того переворота в геронтологии, который совершил наш дорогой доктор Линевич!

— Позор! — крикнул старческий голос.

Все смотрели в сторону ректора. Николай Иванович вскочил, красный и потный, и хотел, видимо, крикнуть еще что-то, но Котов, сидевший рядом, усадил его. Курицын, понимая, что он пошел ва-банк, взял еще более высокую ноту. Он уже утверждал, что «лично и воочию убедился» в том, что присутствующий здесь якобы племянник доктора Линевича и есть доктор Линевич, вернувшийся к юношескому возрасту, и что, в сущности, «наука давно уже ждала этого логического шага». «Если бы не доктор Линевич, то кто-то другой, вопреки консерватору от науки Орловскому,— тут Анатолий Степанович впервые назвал ректора по фамилии,— обязательно нашел бы научное средство омоложения!» — закончил он под неожиданно жидкие аплодисменты свою горячую, но очень обдуманную речь.

Сойдя с кафедры, Курнцын направнлся было к «ложе учеиых», но круто повериул и уселся в первом ряду.

Слово взял Котов. Орловский с надеждой смотрел иа иего, пока тот под возбуждеиный шум зала шел к кафедре. И окончательно сиик, когда услышал речь своего доцента.

Котов явио не взял курс своего шефа иа удар по «ненаучиым разговорчикам», он говорнл горячо и довольио путано.

— Товарищн! — сказал ои.— Зиаете, что я вычитал у Горького? «Идея бессмертня плоти явио иаучиого происхождения». А? Каково? Ннкакнх фатальных запретов, которые помешалн бы задержать увядаине человека. Вспомннм опыты нтальянца Петруччи иад выращнваиием человеческого зародыша вне тела женщины, разве это ие доказывает, что людн иаучатся выращивать в питательной среде отдельные органы для замеиы увядших? Пойдет ли наука борьбы со старостью именно этим путем или путем, предлагаемым... вот этим молодым человеком, я не знаю. На днях я прочел в одном литературиом журнале любопытные строки известиого научиого популяризатора: «Человек сможет жнть неограиичеиио долго. Старость исчезнет, а вопрос о пределе жнзни будет решаться людьмн будущего». Впрочем, это пишет неспецналист.

Котов спрятал в карман бумажку с цнтатой и продолжал:

— Какое все это имеет отношение к обсуждаемому вопросу? А то отношение, что прежде всего мы ие допустим иикакого легкомыслня в изученин проблемы. Без лишиего скептицнзма, обычно диктуемого иедоброжелательством к учеиому открытию, ио и без детского легковерня — вот то отношенне, которое я призываю проявить к заявлеиию молодого человека, именующего себя доктором Лииевичем.

Раздались сдержаииые хлопкн.

Несмотря на иеприятно прозвучавшне слова «имеиующий себя доктором Линевичем», Петр Эдуардович был иа седьмом иебе. Ои ерзал иа стуле, что-то возбужденио выкрнкнвал, вообще вел себя крайие легкомыслеиио н даже непоследовательио, что ему в бытиость доктором Лиивенчем ие было свойственио. И вдруг случилось иечто очень важиое н прнтом иеприятное. Он заметнл, что

соседка как-то сжалась, стараясь отодвинуться подальше от него.

Кажется, только сейчас Майя полностью осознала, что этот симпатичный рыжий юноша — вовсе не юноша, а старик, который по возрасту годится ей даже не в отцы, а в дедушки. Он принял обличие молодого человека? Она была готова в это верить, хотя... В это верит, к сожалению, и заместитель ректора Курицын — или лжет, что верит, а все студенты, в том числе и Майя, знали, что Курицын — карьерист. Очень странно... и подозрительно, что он вдруг стал выкладываться в защиту непроверенного дела. Ведь с такой прямолинейностью не выступил больше никто ни из студентов, ни из преподавателей. В том числе и отец. Ну конечно, все это из-за Курицына. Никому неохота записываться в союзники к подонку. Никому? А вот как будто попросил слово Игорь Григорьевич. Да, он уже поднимается на кафедру! Под аплодисменты всех студентов и некоторых из преподавателей немолодой, с бородкой, профессор патологоанатом Кирсанов. Этот скажет!

В зале пронесся приветственный шумок, когда Кирсанов, лицом похожий на Тимирязева, взошел на кафедру, выпрямился во весь свой немалый рост и сказал без улыбки:

— Так в чем, собственно, дело? Нас уверяют, что ушедший на пенсию врач-ассистент Линевич, шестидесяти семи лет,— вот он.

Кирсанов сделал жест в сторону вставшего от волнения Линевича, и все в зале повернулись в его сторону.

— Маловероятно! — продолжал оратор, внимательно вглядевшись в стоявшего, как напоказ, Петра Эдуардовича.— Но... Если обратное развитие старческих явлений действительно открыто — в чем же дело? Нам остается проверить этот метод в строго научных условиях, в одной из клиник под наблюдением профессоров-специалистов.

— А если не выйдет? — раздался чей-то взволнованный голос.

— Если не выйдет,— подхватил тотчас Кирсанов,— стало быть, чепуха. Это только о спиритизме говорили наши деды: нужны, мол, особые условия благоприятст-

вования, тогда сила спиритизма проявится. А в науке этой мистики нет. Если метод строго научен, он не должен дать осечки!

— И не даст! — крикнул задорно Линевич.

— Теперь вопрос в том, кого же подвергнуть этому... гм... лечению? — продолжал Кирсанов ровным голосом, игнорируя восклицание Линевича.— Ловить на улице стариков мы не станем.— Он строго посмотрел на засмеявшихся слушателей.— Дело это сугубо добровольное. Многие старики и не захотят повторять всю волынку сначала. Что?

Курицын увидел, что, так сказать, инициатива както уходит из его рук. Собираются производить повторный опыт... А его выступление уже забыто? Нет, не выйдет!

Он вскочил и закричал:

— Кто же из пожилых людей откажется вернуться к молодости, чтобы еще энергичнее участвовать в строительстве нашего общества?! Профессор Кирсанов проявляет неверие в инициативу масс!

Кирсанов, не оборачиваясь в сторону возбужденно машущего руками Курицына, отчетливо сказал:

— Правильно замечено. Вот я и предлагаю профессору Курицыну добровольно подвергнуться терапии омоложения!

В зале грохнул хохот. Курицын ошеломленно замолчал, потом обиженно крикнул:

— Мне вовсе незачем омоложаться! Я не старик!

— Но и не юноша,— спокойно возразил Кирсанов.— В ваши пятьдесят четыре года...

— Пятьдесят три! — крикнул разозленный Курицын.

— Ну, и в пятьдесят три организм достаточно изношен и требует омоложения. Тем более если человек собирается взвалить себе на плечи ректорские обязанности,— добавил оратор, и тотчас возникло то, что в стенограммах именуется «оживлением в зале».

— Вы же сами, Анатолий Степанович,— обратился Кирсанов к Курицыну с хорошо имитированным изумлением,— ратовали тут за метод Линевича, почему же не хотите помочь этому методу личным участием в опытах? Может быть, вы перешли на другие позиции? Может быть, возражения нашего ректора профессора Орлов-

ского с опозданием, но все-таки дошли до вас и вызвали отрицательную реакцию на мое предложение?

— Нет! — в отчаянии крикнул припертый к стене Курицын.— Я согласен!

В зале раздались бурные аплодисменты. Курицын кланялся, кисло улыбаясь.

Рабочий день районного прокурора хлопотлив и напряжен. Очередным посетителем был заведующий столовой, той самой, сидя в которой омоложенный Линевич писал сам себе разрешение на занятие комнаты.

— Скажите,— спросил прокурор,— меню у вас пишется задолго до того дня, когда оно, так сказать, входит в законную силу?

Он вынул из ящика стола и показал полученное им от Линевича измятое меню.

— Видите? Дата — двадцать второе мая, а дата письма, написанного на обороте,— пятнадцатое. На семь дней раньше. Как это могло случиться, не поможете ли понять?

Посетитель, щуплый человечек неопределенного возраста, помолчал, поморгал глазками и, вздохнув тяжело, промолвил:

— Мы, гражданин прокурор, пишем меню под копирку на месяц вперед.

— Позвольте, а даты?

— Даты мы проставляем тоже за месяц вперед. Тридцать меню, ну, мы ставим первое число, второе, двадцать второе... Проявляем заботу о посетителе.

— Ах, так! Стало быть, вы изо дня в день не меняете подаваемые блюда? — воскликнул прокурор.— Да как же так? А указания, чтобы вы разнообразили стол?! Позвольте! — Тут уж прокурор вскричал совсем сердито: — Вам-то отпускают, я знаю, и свежий творог и фруктовые соки, а здесь, в этом неизменном меню, я всего этого не вижу!

«Так и есть! — горестно подумал завстоловой.— Меню и дата — это и был крючок а я, идиот, не понял и попался!»

— Творог на базе кислый, а соки... не в спросе,— сказал заведующий охрипшим голосом. Он старался смотреть в глаза помрачневшему прокурору.

— Хорошо, идите,— сказал после паузы прокурор.— Мы еще вернемся к этому разговору...

«Обрадовал!» — подумал с горечью завстоловой, удаляясь.

Потом прокурор принимал других посетителей. Следующим был весьма пожилой человек, державшийся необыкновенно почтительно.

— Фисташков Юрий Юрьевич,— представился он с порога отчетливо. При этом он вытянул руки по швам, точно солдат.

— Заходите, садитесь,— пригласил его прокурор.

Но Фисташков счел, что представился не полностью.

— Пенсионер по старости, а в прошлом — увы, далеком прошлом — юрисконсульт хозяйственных органов.

Теперь он нашел возможным пройти внутрь кабинета и сесть на стул перед прокурорским столом.

— Нуте-с? — несколько нетерпеливо спросил прокурор, потому что пауза затягивалась.

Фисташков сказал замогильным голосом:

— Принес повинную, гражданин прокурор. Диссертации писал!

«Сумасшедший! — подумал прокурор.— Хотя, в общем... не похоже!»

— Писать диссертации, сначала кандидатскую, потом докторскую,— дело почетное,— подал реплику прокурор, внимательно приглядываясь к Фисташкову.

— Одну — это точно, притом ежели для себя,— подтвердил Фисташков.

— А вы... разве для других? — спросил прокурор.

— Сорок две кандидатские и четыре докторские,— опустил голову посетитель.— Из них шесть исторических, пять экономических, две географических, тринадцать математических, остальные медицинские... Многие провалились, но все-таки... Дикси эт анимум левави! Сказал и облегчил душу!

«Нет, он все-таки сумасшедший,— решил прокурор.— Воображает себя небывалым ученым».

— Широкие у вас познания,— оглядываясь на дверь, сказал ласково прокурор.— Вы бы пошли погулять, рассеяться... Шутка ли, сколько наук превзошли!

— И удивительное дело, ни одной юридической, хотя я именно юрист по образованию,— грустно констатиро-

вал Фисташков.— Вот что странно! Пожалуй, это потому, что юристы обычно сами хорошо владеют пером...

— Да-да, юристы — они, конечно...— поспешно согласился прокурор.— Стилисты, так сказать.

— А вот возьмите медиков,— продолжал Фисташков.— Пишут длинные предложения! Учитывая да принимая во внимание, да еще цитату приведут, и опять учитывая,— и все в одной фразе. Ну, упрощаешь, конечно, вносишь четкость, опять же абзацы проставляешь,— в общем, работы уйма. Учтите, гражданин прокурор, если вдуматься, работа эта очень дешево ценится. А ведь не спекуляция, честная работа, не правда ли?

Прокурор твердо решил соглашаться во всем, пока не подоспеет помощь. Каждую минуту к нему должна подойти секретарша с бумагами на подпись.

— Очень честная,— горячо подтвердил прокурор.— Очень!

— Вот я и говорю,— обрадовался Фисташков, не ожидавший такой сговорчивости со стороны прокурора.— А этот дурак фининспектор смотрит иначе. Ежели вы, гражданин Фисташков,— это он говорит,— занимаетесь незаконным промыслом, выправляете за деньги ученым их диссертации, то за ваш незаконный промысел я вас прежде всего оштрафую, а потом заставлю платить подоходный. Ну, подоходный — куда ни шло — я готов, хотя, конечно, учтите мой возраст и мою, так сказать, небольшую пропускную способность. А за что штраф? За мой честный труд?

— Ах, так вот в чем дело! — со вздохом облегчения воскликнул прокурор.

— Именно в этом,— несколько удивился Фисташков,— а я о чем толкую? Да я вам больше скажу: провокаторов ко мне подсылают.

— Провокаторов?

— Да-с! Намедни подъехал ко мне какой-то рыжий хлюст: я, говорит, доктора Линевича сын, не дадите ли заработать? Ну я ему: вот, говорю, бог, а вот и порог.

Прокурор откинулся на спинку кресла и больно ударился головой.

— Что? — сердито спросил он.— Может быть, племянник?

— Нет, сын,— твердо стоял на своем Фисташков.— Я его папашу знавал, и в самом деле есть сходство. Может,

н вправду сын? Нехорошнм же делом он занялся! А в общем... Я готов на общественных началах!

— Что — на общественных иачалах?

— Исправлять ученым их днссертации... ну, н пнсать для совсем отсталых. У меня всегда была общественная жнлка!

Прокурор сдержал смех и, отклонив предложение, посоветовал посетителю обратиться в финотдел, который нмеет право по закону снять штраф, еслн найдет к этому основания.

— Кто ищет, тот всегда иайдет,— грустно вздохнул Фнсташков, поднимаясь.— А кто не ищет, никогда не найдет. А собственно, зачем финотделу искать основания ие штрафовать?!

Хозяйством старого холостяка профессора Кирсанова ведала его вдовая старшая сестра, Анна Григорьевна, врач-гинеколог, уже несколько лет тому назад оставившая работу. Кирсанов относился к сестре заботливо, но частенько подтрунивал над ее чрезмерным пристрастием к научному мышлению.

В это утро Кирсанов и Анна Григорьевна сидели за утренним столом. Кирсанов пил уже вторую чашку крепкого кофе и читал третью газету. Его сестра позавтракала раньше.

— Немецкий медицинский журнал,— нарушила наскучившее ей молчание Анна Григорьевна, полная, добродушная женщина в очках, с пышной прической неестественно черных волос,— приводит мнение авторитета: кофе является частой причиной сердечно-сосудистых заболеваний и снижает среднюю продолжительность жизни.

Кирсанов покосился на сестру из-за газеты и, усмехнувшись, спросил:

— Какой журнал? Гинекологический?

Анна Григорьевна, чтобы не рассердиться, посчитала в уме до двадцати пяти и только тогда возразила:

— Ты отлично знаешь, что медицина едина и что сердечно-сосудистые заболевания — враг номер один... Кто там может быть?

Это относилось уже к раздавшемуся в парадном звонку. Кирсанов тоже прислушался. Кто-то глухо за стеной

сказал: «Дома, пожалуйте». Дверь в столовую открылась, и вошел Курицын.

— Приятного аппетита! — бодро воскликнул с порога проректор.

Он приблизился и поцеловал ручку Анне Григорьевне.

— Прошу, садитесь,— холодно сказал Кирсанов.— Или у вас секретное?

— Никак нет! — весело воскликнул Курицын.— Напротив, я очень рад, что застал вас обоих — воедино. Кажется, впрочем, точнее сказать — вкупе?

— Именно вкупе,— еще холоднее отозвался Кирсанов, особенно не терпевший ериничество «этого наглого типа».— Впрочем, чем могу?

Курицын уселся накрепко, точно собираясь пробыть здесь немало времени, и начал свою, видимо заранее заготовленную, речь:

— Самое важное для нас, ученых,— это интересы науки, не правда ли, добрейший Игорь Григорьевич?

Кирсанов промолчал, но Курицын не сбился.

— А интересы науки в данном случае требуют,— продолжал он,— научно поставленного опыта омоложения. Ведь так?

— Омоложения? — вдруг заинтересовалась Анна Григорьевна, очнувшись от задумчивости, которая после еды частенько переходила у нее в дрему.

— Да, дорогой доктор, да! — воскликнул Курицын.— Омоложения! Неужто Игорь Григорьевич не посвятил вас в нашу институтскую сенсацию? Омолодился доктор Линевич!

— Кто бы мог от него ожидать? — изумилась Анна Григорьевна.— Такой приличный, тихий человек...

— Я не вижу в этом никакого неприличия,— заметил недобрым голосом Кирсанов. Его начал всерьез злить развязный тон непрошеного гостя.

А тот продолжал разливаться соловьем:

— Ну, посудите сами, гожусь ли я для, так сказать, научной перепроверки открытия Линевича? Я и без омоложения не так уж стар, эксперимент будет не яркий, не убедительный, дорогой Игорь Григорьевич. А вот если, допустим...

Он посмотрел своими колючими глазками на Анну

Григорьевну, заставив ее заерзать от волнения и посчитать про себя на этот раз до тридцати...

— Допустим, если мы попросим дорогую Анну Григорьевну... Благоприятный эффект опыта был бы крайне убедителен. Разве нет?

— ...Двадцать! — крикнула Анна Григорьевна, хотя вовсе не собиралась этого делать. Она вновь считала про себя, борясь с новым волнением, вызванным прямым предложением ее омолодить, ей хотелось сказать: «Согласна!», но вместо этого слова выскочила цифра. Ах, склероз, склероз! Она поспешила вступить в разговор, чтобы смягчить конфуз.— Неужели Линевич в самом деле омолодился? — спросила Анна Григорьевна.— Он стал совсем молодой? Стройный?

— Да-да! — нетерпеливо воскликнул Курицын.— Так как же, Игорь Григорьевич? Неужели в угоду... гм... личным чувствам и настроениям вы предпочитаете подвергнуть меня опыту омоложения, в то время как...

— Хорошо! — твердо сказал Кирсанов.— Вы правы: успех опыта, произведенного над людьми более старыми, чем вы, дорогого стоит. Но нам интересно узнать о сравнительном воздействии способа Линевича на различные возрасты. Поэтому сделаем так: опыту сначала подвергнетесь вы, а уж потом Анна Григорьевна, если она пожелает, конечно. Ясно?

Курицын ушел взбешенный.

Именно сегодня, когда Беседин решил побывать в медицинском институте, его затерло. В сущности, посетителей собралось совсем немного, их было трое, и все они пришли по одному и тому же поводу. Однако повод оказался сложным.

Дачевладельцы обратились в редакцию с горькой жалобой на местный Совет. Деньги, предназначенные на строительство автомобильного шоссе из поселка в город, пошли на «посторонние нужды».

— На какие же именно? — поинтересовался Беседин.

У его стола сидели двое среднего возраста мужчин и дама, пожалуй, немного выше среднего возраста. Среди них верховодил, видимо, мужчина постарше, с брюшком, произнесший высоким голосом ясно и чеканно: «Подполковник юстиции в отставке Крутиков. А это — товарищ

Лобойко, в прошлом хозяйственник, и вот эта гражданочка — Елизавета Федоровна Гнушевич».

Рода занятий или социального положения дамы бывший юрист не назвал. Мадам Гнушевич, когда ее представляли, воссияла золотой улыбкой (речь идет о золоте коронок) и даже, кажется, сделала Беседину глазки, сильно подведенные и сверх того — удлиненные вправо и влево черным карандашом.

— Позвольте мне...— тотчас отозвался на вопрос Крутиков,— уважаемый Вячеслав Дмитриевич («Откуда он узнал, как меня зовут? Видно, пройра!»). Партийный журналист обязан прислушиваться к требованиям масс. Массы требуют строительства шоссе!

— Вы все-таки мне не сказали, на какие нужды местный Совет решил потратить деньги? — заметил Беседин.

— Не знаем,— развел руками Крутиков.— Так вот, позвольте дальше...

Беседин взялся за телефонную трубку.

— Кажется, на устройство детского садика,— поспешно сказал Крутиков.

Беседин положил трубку на место и внимательно посмотрел на этого гладкого, самоуверенного человека с толстой шеей и выпуклыми маловыразительными глазами. А тот, нимало не смущаясь, продолжал:

— План есть план, не правда ли, уважаемый Вячеслав Дмитриевич? А по плану, утвержденному надлежащими инстанциями, в данном случае предусмотрено именно строительство шоссе, а не садика. Такое наплевательское отношение к плановому началу в нашем социалистическом хозяйстве...

— Если бы знать — я бы и дачи там не покупал! — выпалил весь красный от душившего его негодования второй из жалобщиков, Лобойко — тот, которого Крутиков назвал бывшим хозяйственником.

Беседин спросил:

— А кстати: почему же бывший? Вы, товарищ Лобойко, далеко еще не стары, зачем же вас зачислили в бывшие?

Лобойко пошевелил пальцами коротких рук, беспомощно посмотрел в глаза насупившемуся Крутикову, помял руками свое и без того какое-то мягкое бледное лицо и, сам того не замечая, ответил почти в точности словами Чичикова:

— Миого врагов нмею. По причнне врагов вынужден был...

— Ага, так-так,— быстро сказал Беседин, ожнвляясь,— ну, что же дальше?

— Дальше от вас зависит,— несколько саркастически ответил Крутиков.— Мне кажется, любимая наша печать должна вмешаться и одернуть тех, которые...

— У вас тоже там дача? — обратился Беседин к мадам Гнушевич, которая во время разговора ерзала на стуле, явно стремясь вставнть н свое слово.

Она быстро застрекотала:

— У меня ничего, кроме любви к искусству, я — модельер дамских шляп! У моего будущего мужа действительно имеется в Дачном поселке небольшой сад, но со сторожкой, разумеется.

Беседнн не без прнсущей ему едкостн спроснл:

— А в сторожке той четыре комнаты, ванная и туалет?

Гнушевнч неожиданно сконфузнлась:

— Простите, я была у него только в гостнной.

Крутиков процеднл сквозь зубы (он, вндимо, понял, что дело не выгорит):

— Однако!

— Я не понимаю, что плохого,— в тон ему подал голос Лобойко,— если в квартире имеется гигиенический санитарный узел?! Мы все — за гнгиену!

— Святая правда,— согласился повеселевший Беседин.— Ну-с, так вот что, товарищи гнгиенисты... Детский саднк, по-моему, нужнее, чем дорога для ваших автомобилей. Ясно?

— Ясно,— недобрым голосом подтвердил, вставая, Крутнков. За ннм поднялись и остальные.— Я буду жаловаться редактору на ваше отношение к нуждам трудящнхся.

— В редколлегию! — запальчиво сказал Лобойко.

Откровенно расстронлась только Гнушевич. Показавшиеся на ее глазах слезы размазали черный карандаш.

— Выходит,— прошептала она,— опять мне с замужеством подождать.— Оиа обратилась к Беседину:— А вы мне не можете дать сейчас бумажку? Ну, о том, что хотя бы в будущем году уж наверно асфальтовая дорога будет проложена?

— Зачем вам бумажка? — искренне удивился Беседин.

— А я бы ему показала! Он говорит: вот выхлопочешь асфальт, я смогу тебя в своем «Москвиче» возить, а какая же женитьба без асфальта?

Беседин всмотрелся в несчастное лицо посетительницы, и... ему уже стало не смешно. «Искреннее человеческое горе — всегда горе, хотя бы оно и возникло по смешному поводу»,— подумалось ему.

Когда посетители ушли, Беседин задумался. Как ему лучше разведать всю историю этого бедняги Линевича? Конечно, какие-то сомнения, и, пожалуй, немалые, остались у него в душе. Омоложение до такой степени не вязалось со всем тысячелетним человеческим опытом, что полностью поверить в возвращение старика к молодости было бы противоестественным. А ведь, с другой стороны... Нет, надо, надо отправиться в институт. Линевич работал именно там! Проверить, расспросить. Только без предубеждения! Это — главное. Предубеждение погубило немало великих открытий. Даже Наполеон, выгнав изобретателя подводной лодки, лишил себя единственного шанса на победу над Англией с ее могущественным парусным флотом!

Беседин встал, взял шляпу — и в эту минуту позвонил на его столе телефон и сказал голосом помощницы редактора:

— Вячеслав Дмитриевич, вас к редактору.

В приемной редактора Беседин увидел своих посетителей. Они смотрели вбок, и только мадам Гнушевич, будучи, видимо, добродушной и незлопамятной женщиной, улыбнулась ему, как старому знакомому, и даже пыталась что-то сказать, однако сидевший рядом Лобойко толкнул ее в бок, и она испуганно замолчала.

Помощница, сдержанная и, видимо, хорошо воспитанная женщина средних лет, в очках с изящной, под золото легкой оправой, приветливо сказала Беседину:

— Входите. Степан Федорович вас ждет.

И глазами показала на трех посетителей: это, мол, по их делу.

Беседин понимающе кивнул головой и толкнул тяжелую дверь...

— У вас отличный материал,— сказал ему редак-

тор.— Вот эти трое... Обидели их! Да к тому же нарушили план. Проверьте и давайте!

— Я уже проверил,— мрачно сказал Беседин.

— Ну и что же?

— Вместо шоссейной дороги, которой будет преимущественно пользоваться небольшая группа владельцев дач,— уже разгораясь, сказал Беседин,— исполком совершенно правильно построил в районном центре детский садик, в нем ощущалась острая нужда.

— Странно,— насмешливо сказал редактор.— Странно, что вы присваиваете себе функции, так сказать, Госплана. План утвержден? Утвержден. А вы не согласны?

— Да, я не согласен,— запальчиво подтвердил Беседин.— Просто произошла ошибка, и ее исправили те самые люди, которые ошиблись. Зачем же нам их громить? Ведь они, по существу, правы...

— Допустим,— неожиданно согласился редактор.— Выходит, фельетона у нас нет?

— Есть! — неожиданно для себя очень решительно ответил Беседин.— Затерли величайшее открытие!

— Какое? — оживился редактор.

— Средство омоложения! Ученые бюрократы не дают ему ходу.

Беседин сказал это с разбега и тотчас пожалел: насмешливые глаза редактора зажглись каким-то дьявольским огнем. С полного редакторского лица вмиг слетел налет скуки, и он весь задвигался.

— Как-как?— театральным шепотом переспросил он.— Омоложение? Советский Фауст и бюрократы Мефистофели?

Неожиданно редактор захохотал. Он плакал от смеха и вытирал слезы платком. Беседин и не подозревал, что важный и всегда хмурый шеф способен так веселиться. Но это открытие вовсе не обрадовало молодого журналиста.

— Ничего смешного! — сердито воскликнул Беседин.— Мною собран почти весь материал!

— Ах, почти! — сказал редактор, пряча платок в карман.— Ну вот, когда соберете без «почти», зайдете ко мне. У меня все.

Беседин ушел, уже твердо решив писать фельетон в защиту Линевича.

В приемной навстречу Беседину поднялась вся троица в уверенности, что он к ним сейчас же обратится, но журналист прошел мимо с каменным лицом и вышел в коридор. Шаги его замерли.

К вечеру неудовольствие Анатолия Степановича предстоящим ему омоложением достигло такого градуса, когда человек уже не может оставаться бездеятельным. Надо было что-то предпринять, чтобы сорвать эту постыдную акцию! Помимо всего прочего, как посмотрят в министерстве на кандидата в ректоры, чьи анкетные данные подлежат изменению? А как же иначе? Если в его личном деле в отделе кадров значится в графе «Возраст» пятьдесят три года, то разве после омоложения не придется вносить если не изменения, то какие-то примечания? А примечания к анкете всегда мало способствуют служебному продвижению. Кроме того, не станет ли он предметом любопытства или даже насмешек, во всяком случае дурацких студенческих острот? И не отразится ли и эта сторона самым плачевным образом на его попытках занять причитающийся ему пост ректора? Нет, нет! Во всех смыслах требуется активно вмешаться в дело и не допустить опыта в клинических условиях. Но как? На этого твердокаменного Кирсанова не очень-то повлияешь, а вот разве на самого Линевича? Тот всегда был человек слабовольный. Была не была! Твердого плана предстоящего разговора нет, но, может быть, в ходе беседы что-нибудь найдется такое, на что этот чудак клюнет? Испугается? Да, да, именно испугается. Надо его взять на испуг, он не из храброго десятка!

Несмотря на поздний час, Курицын позвонил Котову и, сославшись на необходимость поговорить с Линевичем о деталях предстоящего опыта, узнал его адрес и тотчас поехал к нему на квартиру.

Сухо поздоровавшись с удивленным Линевичем и не объясняя ему причины столь позднего визита, Анатолий Степанович прошел за ним в его комнату, подчеркнуто опасливо запер дверь и сказал:

— Имейте в виду, если клиническая проверка вашего метода не даст благоприятных результатов или приведет к ухудшению здоровья испытуемых, дело ваше будет плохо!

— Садитесь, пожалуйста,— сказал, растерявшись, Линевич.— Но в каком смысле — плохо?

— Во всех,— отрезал Курицын, сразу почувствовав, что нож входит в сердце Линевича легко и беспрепятственно.— Вас будут судить за мошенничество. Словом...

Он бросил испытующий взгляд на побледневшего молодого человека, в которого превратился, на свою беду, старый врач, и веско произнес:

— Словом, я, как один из руководителей медицинского института, рекомендую вам не спешить с научной проверкой! Подумайте, очень подумайте сначала! Вы ведь видели на собрании — я ваш доброжелатель, так послушайте же меня!

И, не дожидаясь реплики хозяина комнаты, он повернулся, открыл дверь и был таков. А Линевич...

На следующее утро Линевич встал с тяжелой головой. Ноги ступали не очень твердо. «Что со мной? — подумал доктор.— Не грипп ли?» Он взял со стола круглое зеркало, служащее ему во время бритья, и, посмотревшись, испуганно положил зеркало на место. Он увидел себя таким, каким был до омоложения: седые клочья волос, вставшие во время сна дыбом, глубокие морщины, потухшие глаза, обведенные черными кругами. Он чувствовал себя, как гоголевский майор Ковалев, не нашедший у себя на лице носа. «Мне померещилось!» — подумал Линевич и снова взял зеркало. Нет, ошибки не заметно. Ни одной рыжинки в волосах, глубокая печать дряхлости на лице. Линевич застонал и без сил опустился в старое кресло у окна.

В дверь постучали. Видимо, это был женский пальчик: стук был деликатный, еле-еле слышный. Кряхтя и сутулясь, Линевич натянул на себя пиджак и пошел открывать дверь. На пороге стояла соседка Апфельгауз-Титова с большим букетом цветов в руке и со сладенькой улыбочкой на жирно накрашенных губах. Никто из них двоих не успел сказать ни слова. Увидев старческое лицо Линевича, соседка тихо вскрикнула и уронила букет. В свою очередь Линевич без слов быстро захлопнул и замкнул дверь.

«Почему это произошло? — в сотый раз спрашивал себя Линевич, лежа на неубранной кровати.— Какой-то временный, быстро миновавший эффект? Но почему временный? Неужели я постарел за неделю из-за чрезмерных переживаний, связанных с моим омоложением?! Да-да! Все эти треволнения не прошли даром. И этот Курицын... Я так быстро постарел именно потому, что слишком быстро помолодел. К тому же до меня не было тому примера, и я многих возбудил против себя...»

Он несколько раз вскакивал и подбегал к столу. Зеркала он уже не трогал, он лишь перебирал свои записи, писал какие-то формулы, но яснее случившееся ему не становилось. А через час приехал Котов поговорить о постановке широкого научного опыта в институте и, увидев Линевича, тихо охнул.

Новое заявление гр-ки Апфельгауз-Титовой

«Теперь я должна со всей ответственностью заявить, что все произошло наоборот. Явился старик Линевич, и исчез молодой человек, племянник, или сын, или кто! И потом: что значит — явился? Ни я и никто в доме не видел и не слышал, чтобы доктор вернулся. Что я хочу сказать — это то, что теперь ясно все сначала и до конца. Молодой босяк куда-то прятал своего бедного дядю (он такой же ему дядя, как я тетя). Куда? Я не знаю! Может, в корзине с бумагами. А что? Усыпил и сунул старика. Для чего ему это понадобилось? Может быть, для ограбления. Может, у старика водились деньги. Не знаю. Пускай наша дорогая милиция выяснит, раз я даю нить. Пускай идет по этой нити. Но что я хочу сказать, это то, что теперь откуда-то вынырнул старик, а молодой пропал. И как раз тогда, когда я решила быть ему старшей сестрой. Он ушел! И никто не видел, как он уходил! Теперь я обращаю внимание соответствующих органов, что на старике тот самый коричневый пиджак, который носил этот молодой босяк. Так в чем же он ушел из дому?! Нет, граждане судьи, он не ушел, он прячется где-то здесь, в квартире, и мы еще будем свидетелями кошмарной драмы. Я предупреднла старика, но он ничего не хочет слышать, лежит почти весь день на кровати. Может быть, он прикрывает собой труп молодого?! Это надо вы-

яснить. Я хотела выясиить, так ои крнкнул мие такие слова, что иевозможно выразить.

Прошу прииять меры!

К сему —

гр-ка Апфельгауз-Титова».

Одни экземпляр этого заявлеиия Титова отиесла в ннститут и отдала там Курицыну, который своей полнотой н солндиостью, да еще иепоиятиым названием должиостн — проректор — произвел иа иее наивыгоднейшее впечатлеиие. Это случилось иазавтра после визнта Котова н как раз в тот деиь, когда иакоиец Беседин собрался в институт.

В вестибюле медицииского иисститута безраздельно и самодержавно царствовал швейцар Гурейко. Это был властный старик, имевший свою собствеииую точку зреиия иа все иаучиые проблемы. В частиости, его взгляд иа возможиость продлеиия жизни при помощи иаукн был резко отрицательиым.

— Если хотите долго прожить,— говарнвал ои наставнтельио доцеиту Котову, единствеииому человеку, которого ои удостаивал беседы,— извольте исполнять три правнла: первое — курите табак, в табаке заложена великая сила против чахотки, второе — пейте водку, это и врачам известио, что спирт смывает все микробы, третье — живите в квартнре без соседей и топите печь сухимн дровамн — это чтобы иервы были спокойиые.

— Здорово сказаио,— очеиь серьезно соглашался Котов.— А вы вот объясинте: кто дольше жнвет — жеиатый нлн холостой?

— Жеиатый,— ие задумываясь отвечал швейцар.— Если он ие дурак, за иего жеиа состарнтся.

Котов трясся от хохота. Гурейко, заложив рукн назад, стоял, сохраияя полиую серьезность. Его седые солдатские усы торчали кверху, широкий подбородок был чнсто выбрит, в старчески-голубых глазах мелькало сдержанное лукавство.

Игиату Петровичу Гурейко было много лет, сколько именно, никто толком не знал. Студенты утверждалн, что Гурейко побывал иа русско-япоиской войие. Старик опрокндывал все закоиы долголетия: каждый деиь к вечеру он бывал иавеселе, а табаку иа своем веку выкурил, вероятно, целую табачную плаитацию.

— Помнится мне,— рассказывал однажды Гурейко Котову,— как товарищ Мечников изобрели простоквашу. Я тогда в Московском университете работал.

— В качестве кого?

— Не в качестве, а швейцаром. Только не согласен я с Мечниковым. Нет,— с убежденностью заключил он,— человеку столько дано жить, сколько в нем становая жила выдержит. Об этом и во всех науках сказано.

Гурейко любил раз и навсегда заведенный порядок. Появление незнакомого посетителя всегда вызывало в Игнате Петровиче неудовольствие. А тут появились сразу двое, и не посетителей, а посетительниц. Во-первых, обе были совершенно незнакомы Гурейко, а во-вторых, они были дамы, а дам мудрый швейцар особенно недолюбливал. «Визгу бабьего не переношу!» — говаривал он в минуты откровенности тому же Котову. Дамы вошли в вестибюль одновременно, хотя и не были знакомы: врач-гинеколог Анна Григорьевна Кольцова и мадам Гнушевич. Первая явилась по зову Курицына и по зову собственного сердца, а вторая что-то смутно прослышала о чудесах омоложения, которые ей были еще нужнее, чем асфальтовая дорога в Дачный поселок.

— Здравствуйте,— сказала Анна Григорьевна,— могу я видеть профессора Орловского? Скажите, врач Кольцова.

— Можно с вами? — робко спросила Гнушевич.— Я тоже к профессору. Он ведь здесь директор?

— Ректор,— мрачно поправил Гурейко.— Они — ректор. Только сегодня не приемный день.

Гурейко, читавший у окна взятую в институтской библиотеке толстую книгу с тисненным золотом названием «Танатология — наука о смерти», оторвался от чтения и глядел поверх очков на посетительниц.

— Тогда пригласите профессора Курицына,— решительно сказала Анна Григорьевна.— Или покажите, как к нему пройти. Я — врач Кольцова,— повторила она значительно, твердо веря в магическое слово «врач». Гнушевич молчала, тревожно переводя удлиненные карандашом глаза с важного старика Гурейко на свою неожиданную подругу, которая, кажется, пришла по тому же делу.

— Профессор Курицын на лекции,— сурово молвил Гурейко.

— Нет, сегодня у меня нет лекций! — раздался голос Курицына с лестничной площадки, и тотчас посетительницы увидели наверху толстенького человечка и поднялись к нему так легко и быстро, точно уже омолодились. Он в свою очередь вгляделся в Анну Григорьевну и узнал ее.

— Решились? — насмешливо спросил он.— А эта дама с вами? Тоже насчет омоложения?

— Да! — воскликнула Гнушевич.— Да! Я очень прошу... Омолодите и меня! Я слышала, тут у вас омолаживают. Так вот я... Конечно, я не стара, но... Выхожу замуж, и, может быть, все-таки лучше, если я буду помоложе?

— Несомненно,— серьезно подтвердил Курицын.— Было бы лучше. Но дело в том... Придется потерпеть. Оказывается, этот Линевич не то заболел, не то впал в хандру. А без него как-то неловко. Будем надеяться — скоро придет в себя. А пока... имею честь.

Он кивнул головой и быстро ушел. Только его и видели!

— Как это легкомысленно с его стороны,— с досадой сказала Анна Григорьевна.— Хандрит! Старческая подавленность. Какое же это омоложение?!

Она стала спускаться с лестницы.

— Что же теперь со мной будет? — бросилась за ней Гнушевич.— Вся моя надежда...

Конец фразы пропал в шуме хлопнувшей за обеими дамами дверью.

Гурейко покачал головой и снова принялся за чтение учебника танатологии. Быль или небылица это омоложение, о котором только и разговору в институте? Смотри пожалуйста, вот и две дамы со стороны явились. Говорят, будто наш Петр Эдуардович в мальчишку превратился. Будто в омоложенном виде побывал здесь, вот не упомню. Должно, принял за студента и не обратил внимания. А жаль! Уж ежели такой серьезный да непьющий человек на омоложение пошел, может, и правда это стоящее дело? Может, и самому?

Гурейко раскрыл свою книгу наугад. «Есть экземпляры баобаба,— прочел он, шевеля губами,— которые живут уже по нескольку тысяч лет. Практически это означает возможность жизни, не ограниченной временем...»

— Но ведь то баобаб,— сказал в сомнении Гурейко,— бесчувственное дерево. Да и где они растут, эти баобабы?

— Где-то, кажется, на юге,— сказал незнакомый голос.

Гурейко оглянулся. В дверях стоял новый посетитель, молодой человек в фетровой шляпе и в модном коротком плаще.

— Никаких баобабов! — высокомерно сказал Гурейко, недовольный, что незнакомец застиг его врасплох.— Что надоть?

Но этот старый прием не удался Игнату Петровичу.

— Не прикидывайтесь, папаша,— сказал Беседин добродушно,— теперь и в колхозе так не говорят — «надоть». А вы вот до баобабов уже дошли.

— Сегодня у нас приема нет,— сердито сказал Гурейко и бросился в другую крайность:— У нас сегодня научная конференция. Профессор Е. Ф. Стремилов читает доклад о высшей нервной деятельности коры головного мозга.

Но и кора головного мозга не произвела впечатления на посетителя:

— Ничего, папаша. Доложите ректору: товарищ по делу Линевича.

Гурейко так и ахнул. По делу Линевича? Еще один омолодившийся! Но этому, прямо будем говорить, от силы можно дать лет двадцать семь — двадцать восемь. Выходит, права танатология — обнадеживающая наука о смерти!

— Пожалуйте паспорт,— решительно сказал Гурейко.

Посетитель удивился, но вытащил и протянул паспорт со свежей датой выдачи. Гурейко прочел: «Беседин Вячеслав Дмитриевич, 1937 года рождения».

— А сколько вам месяц назад было? — спросил он хмуро.

— Тоже двадцать восемь. А что?

— Двадцать восемь,— с насмешкой протянул Игнат Петрович.— Я так думаю, лет семьдесят было наверняка, а то и с гаком.

«А ведь старик, кажется, того...— опасливо подумал Беседин.— Ну да черт с ним».

— Где тут кабинет ректора? — спросил он.

Гурейко растерянно ткнул рукой в сторону лестницы. Его мысли сейчас были полны одним: если уж дело доходит до того, что старики его возраста превращаются

в юношей, то... почему бы и ему не попробовать? Почему?

Выждав, пока Беседин скрылся за поворотом лестницы, Гурейко вынул из своего шкафчика в вестибюле едва начатую поллитровую бутылку водки и отхлебнул. Подумав, он отхлебнул еще раз и поставил опустевшую посуду в шкафчик. Лицо старика покраснело, из глаз пошла слеза. Этого еще не разу не случалось, чтобы он так много пил на работе!

Шагая, чтобы не заснуть, взад-вперед по скрипучему паркету вестибюля, Гурейко стал мысленно перебирать события своей молодости. Получалось что-то невеселое. Царская солдатчина? Нет, это не слишком радостные годы. О них и думать не хотелось. Ну, а потом? Потом возвращение в деревню, смрадный угол, спившаяся жена и голод, хватавший за кишки. Гурейко с содроганием вспомнил, как крадучись, ночью, чтобы не видели соседи, ушел он с женой в город, и как просил в дороге подаяние, и как покусала его господская собака возле помещичьей усадьбы. В городе ему удалось устроиться на должность гимназического швейцара. Кто только не считал себя здесь его начальником и кто только не покрикивал на него! И учителя, и классный надзиратель, и инспектор, и родители учеников. А директор гимназии? Его властный окрик еще и сейчас стоял в ушах старика. Нет, положительно, воспоминания молодости вселяли в душу Гурейко чувство, близкое к отвращению. Да, конечно, он понимал — не те сейчас времена. И тем не менее даже мысль о возвращении к молодости испугала старого швейцара. Помилуйте, сейчас у него пенсия, осенью он получит отдельную квартиру на Советской улице... Нет, извините, омолаживаться он не желает. Не желает — и баста!

Водка туманила голову, и ему уже казалось, что если он не примет меры, то все пропало...

Николай Иванович сидел в своем кабинете, глубоко задумавшись. У него по-стариковски болела голова и на душе было смутно.

Собрание оставило свой ранящий след. Как ни странно, его взволновало не выступление Курицына (он его презирал) и даже не Котова, а неожиданно возникшая мысль, которую можно было сформулировать так: а ведь

когда-инбудь это будет правдой. Да-да, вот это омоложенне. Пусть это не научно, пусть Лииевич — маньяк или шарлатан, ио, собствеиио, почему ои, Орловский, заранее осудил его, ие выслушав его доводов и ие разобравшись в деле, как это полагается ученому? Он испугался за свой пост? Нет-иет! Только ие это. Ои меньше всего озабочен желанием сохраиить должиость ректора, которая, в сущности, давио уже ему претила. Николай Иванович думал сейчас о другом: о надвинувшейся как будто незаметно старостн, о дурном самочувствии, о дурном настроении. Неужели и в самом деле будет найдена дверь из этой темиицы?..

Орловский пришел к твердому решенню: пригласить сюда рыжего молодого человека и расспросить его.

Ои даже почувствовал себя как-то бодрее, н вроде голова стала меньше болеть. Николай Иванович потянулся к звоику, чтобы вызвать секретаря н поручить ему пригласить Линевича, но тут в его кабинет вошел Котов.

— Входите, входнте! Слушайте, а я, знаете лн, все же решил еще разок потолковать с этнм... Линевнчем. Как вы смотрнте? В конце концов, я ни разу ие вошел в рассмотренне его метода подробио, тут вы правы!

Котов потупнлся.

— Неприятиость,— сказал он.— Мы собиралнсь поставить опыт, а Линевич впал в депрессию.

— В депрессию?

— Да,— неохотио подтвердил Котов.— Более того, ои вернулся, так сказать, к исходному положеиию.

— Значит, все чепуха,— почти с отчаянием сказал после паузы Николай Иванович.— Опять как в опыте Воронова!

— Не совсем так, но...

Беседин был принят Николаем Ивановичем после ухода Котова, удалившегося с неразрешенным вопросом в душе: почему шеф так ужасно огорчился неудачей Линевича? Казалось, он должен был скорее радоваться? В чем же дело?! «Нет, положительно, у старика чаще стали проявляться странности»,— грустно констатировал доцент.

А в кабинете ректора тем временем заканчивался както не вязавшийся разговор с Бесединым. Ректор был в раздражеиии состоянии и все сбивался на ядовитые слова в адрес Линевича:

— Видите ли, с точки зрения геронтологии... Бороться со старостью можно только путем профилактики. Не допускать старения! Начиная с тридцати—сорока лет систематически применять терапию противостарения. А если старость наступила, она необратима. Возможно, что этот Линевич, или кто там он в действительности, нашел средство... гм... временного подстегивания, но...

— А все-таки... утешительно, что превращение, вообще говоря, не исключено. В принципе, так сказать,— строптиво сказал Беседин.

— Да? — саркастически переспросил Орловский.— Так вот, к вашему сведению: он снова стар и немощен. Почему? Не знаю. Допускаю в числе причин также и крах нервной системы. Почему? Во всяком случае, налицо нечто вроде неудачи опыта знаменитого русского ученого-медика в Париже, профессора Воронова, он тоже изобрел средство омоложения — подсаживание человеку семенных желез обезьяны. В результате — кратковременный резкий расцвет человеческого организма, затем полное одряхление.

— Одряхление? — задумчиво повторил Беседин. «Вот тебе и фельетон!» — с насмешкой над самим собой подумал он. Орловский говорил еще что-то, но Беседин уже был в дверях.

— До свидания, профессор. Спасибо! — послышалось издали. Орловский досадливо пожал плечами.

Тут в кабинет неожиданно вошел Гурейко. Он вытянулся по-солдатски и возбужденно отрапортовал:

— Так что не желаю! Окончательно не желаю!

— Чего вы не желаете? — спросил расстроенный ректор.

— Омолодиться не желаю! — гаркнул Гурейко.— Нам это ни к чему!

И перед тем как уйти, он твердо добавил:

— Нынче омолаживать насильно не велено! Из-винитe-с!

Участковый был заботливый человек. А забота, по его мнению,— это прежде всего проверка исполнения. Вселение молодого человека, племянника доктора Линевича,

было выполнено. Но вот вопрос: а как дальше сложилась обстановка? Не притесняют ли беднягу?

Степан Демьянович уверенно, как всегда, постучал в дверь Линевича и вошел в комнату, так как ему послышалось из-за двери: «Войдите!» Видимо, хозяин комнаты сказал какое-то другое, менее приветливое слово. Во всяком случае, участковый увидел старого доктора Линевича на кровати в пиджаке и ботинках. Доктор сердито смотрел на вошедшего.

— А! — искренне обрадовался Степан Демьянович, не очень обращая внимания на детали.— Вернулись? Отохотились, значит?

— М-да,— промычал Линевич. А участковый, полный симпатии к старому доктору, продолжал расспросы:

— И много настреляли дичи?

Он осмотрелся, ожидая, очевидно, увидеть охотничьи трофеи.

— Н-не очень,— мрачно пробормотал доктор.

— Пропуделяли, значит,— заключил участковый.— Жаль! А племянничек где? Тут с ним такая история вышла, вы не представляете.

Линевич вскочил с кровати и, почти рыча, ответил:

— Нет племянника. Уехал. Навсегда.— И добавил упавшим голосом:— Ради бога, оставьте меня. Я болен.

Участковый смущенно ушел.

«В чем душа держится, а туда же, на охоту! — думал Степан Демьянович, шагая по улицам вверенного ему участка.— И племянника с досады выставил, такой приятный юноша. Вот уж не ожидал от старика!»

Участковый сидел у прокурора в несколько расстроенных чувствах. Отсюда, видимо, и докладывал он не вполне отчетливо.

— Старик появился,— коротко сказал он, сняв фуражку и вытирая лоб большим белым платком.

— Какой такой старик? — несколько раздраженно спросил прокурор, очень не любивший нечетких сообщений.

— Да доктор Линевич! А племянник исчез. Не в свой ли Северогорск подался?

Прокурор прислушался с большим интересом.

— Нет,— сказал он,— я запрашивал Северогорск, ни-

какого молодого Линевича там нет и не было. Вы говорите, он уехал? А может быть...

Не договорив, он схватил трубку телефона. Как понял участковый, разговор состоялся с кем-то из институтского начальства. Прокурор повесил трубку и сказал участковому:

— Никакого племянника и не было. Понятно? Ну, идите, потом разберемся.

Участковый хотел было возразить — как же не было племянника, если он сам его вселял в квартиру? Но раздумал. По давнему опыту участковый знал, что с начальством спорить — гиблое дело.

...Курицыну удалось добиться того, чтобы научная проверка была отложена, но... положение его все же было отчаянное. Азартный ход в пользу изобретения на заседании студенческого научного общества оказался неверным! Изобретатель омоложения скомпрометировал свой способ, впав в глубокую старость через неделю после того, как стал молодым. Видимо, в методе было что-то неладно. А он, проректор и в будущем — ректор, защищал и изобретение и изобретателя!

Курицын бросил работу и подавленный поехал домой.

Поднимаясь на лифте, он вместе с тем чувствовал, что куда-то проваливается. Открыв дверь в свою отличную двухкомнатную квартиру, Анатолий Степанович быстро разделся, лег в постель, принял снотворное и тяжело заснул.

Ему снилось, что опыт с омоложением уже произведен и над ним и над всеми кандидатами: Анной Григорьевной и над гражданкой Гнушевич. Все во сне омолодились, каждый по-своему. Анна Григорьевна превратилась в студентку — и даже не в студентку, а в дореволюционную курсистку: строгое черное платье с глухим воротником, шляпка, на носу изящное пенсне. Гражданка Гнушевич вместе с молодостью обрела неожиданные черты сходства с чеховской акушеркой из «Свадьбы».

А сам Курицын увидел себя во сне десятилетним мальчишкой. Вдобавок он набедокурил — разбил футбольным мячом окно, ну точь-в-точь как это сделал чей-то вихрастый парень вчера в доме, в котором жил Курицын. Мальчика Курицына кто-то отодрал за ухо и выругал босяком. А Гнушевич прикладывала к его уху примочку, бормоча: «Ах, как стыдно!»

«Как же я теперь буду ректором, еслн мне десять лет?» — подумал Курнцын н в ужасе проснулся.

...Курнцына особенно удручала перспектнва встретнться с ректором Орловскнм, которого он обндел публнчно. Однако в этой частн ему повезло: уже через несколько дней Орловскнй ушел в отставку, н на его место назначнлн Кнрсанова. Некоторое время — не очень длнтельное — Курнцын еще работал проректором, а потом переехал в другой город.

А что касается Петра Эдуардовнча... В последнее время он немного пршшел в себя н с помощью Котова сделал на заседанин ученого совета общнй обзор своего открытня. Ему теперь предоставлены все лабораторнн ннстнтута н даже не одного меднцннского, а н двух научноисследовательскнх. В его распоряженнн — штат сотрудников.

Усердная работа н сочувствне товарнщей подействовалн на старого врача благотворным образом. Он уже в шутку говорнт, что чувствует себя сейчас лучше и работоспособнее, чем в немногне днн омоложення, н утверждает, что наконец понял, в чем заключалась его ошнбка. Надеется создать новый препарат, значнтельно улучшенный.

Кнрсанов, н Котов, н, кажется, Орловскнй уверяют старнка, что очень на него рассчнтывают.

А Майя даже не вспоминает о странном рыжем юноше, внезапно превратнвшемся в старнка...





Содержание

Званцев Сергей
(Шамкович Александр Исаакович)

БЫЛИ ДАВНИЕ И НЕДАВНИЕ

М., «Соаетский писатель», 1974, 352 стр.
План выпуска 1974 г, № 78

Художник
В. С. Алешин

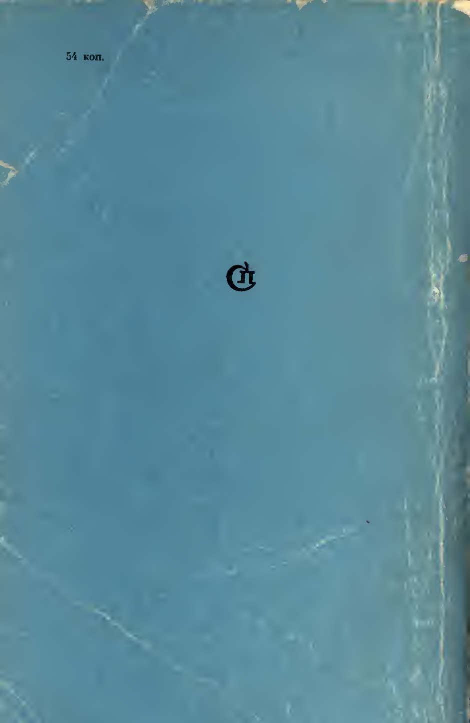
Редактор
А. А. Ланда

Худож. редактор
Е. И. Балашева

Техн. редактор
Т. С. Казовская

Корректоры:
О. В. Мудрова
и
Л. К. Фарисеева

Сдано а набор 3/VI 1974 г.
Подписано к печати 10/IX 1974 г. А 02299
Бумага 84×108$^1/_{32}$ № 2
Печ. л. 11 (18,48). Уч.-изд. л. 18,17
Тираж 100 000 экз. Заказ 425. Цена 54 коп.
Издательство «Соаетский писатель»
Москаа К-9, Б. Гнездниковский пер., 10
Тульская типография «Союзполиграфпрома»
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательства,
полиграфии и книжной торговли,
г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109.



54 коп.